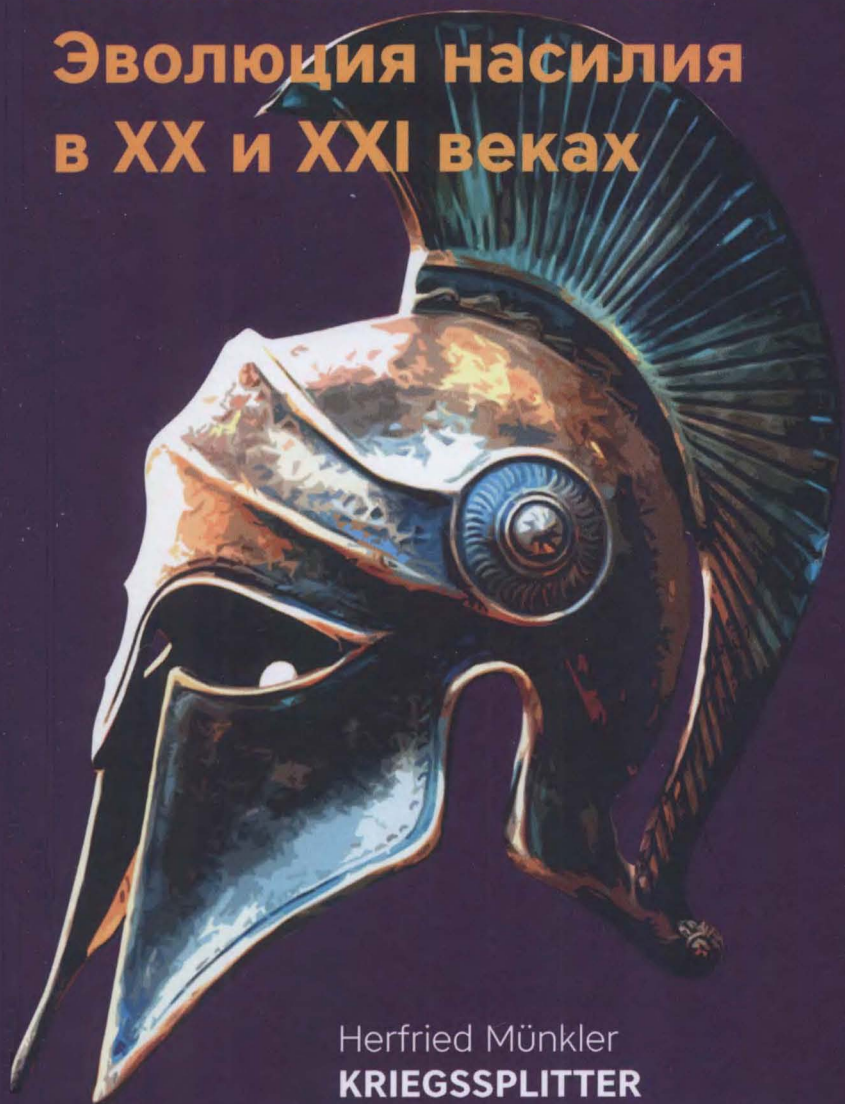


Герффрид Мюнклер  
**ОСКОЛКИ ВОЙНЫ**  
**Эволюция насилия**  
**в XX и XXI веках**



Herfried Münkler

**KRIEGSSPLITTER**

**Die Evolution der Gewalt  
im 20. und 21. Jahrhundert**



Герфрид Мюнклер  
**ОСКОЛКИ ВОЙНЫ**  
**Эволюция насилия**  
**в XX и XXI веках**

Герффрид Мюнклер  
**ОСКОЛКИ ВОЙНЫ**  
**Эволюция насилия**  
**в XX и XXI веках**

Herfried Münkler  
**KRIEGSSPLITTER**  
**Die Evolution der Gewalt**  
**im 20. und 21. Jahrhundert**

УДК 355/359  
ББК 63.3(0)  
М98

**Herfried Münkler**  
**Kriegssplitter: Die Evolution der Gewalt**  
**im 20. und 21. Jahrhundert**

**Мюнклер, Герфрид**

**М98** Осколки войны: Эволюция насилия в XX и XXI веках / Пер. с нем.  
А. И. Лоскутовой. — М.: Кучково поле, 2018. — 384 с.  
ISBN 978-5-9950-0891-0

Многое говорит о том, что эпоха классических межгосударственных войн подходит к концу или уже закончилась. Однако война никуда не исчезла, она изменилась, приняв новую форму, тем более, что современную Европу вновь охватил страх перед большой войной. На смену традиционным конфликтам пришли гибридные войны. Эта трансформация подробно рассматривается в новой книге Г. Мюнклера. Сегодня, по мнению автора, представление о пространстве в политике изменилось. Границы и территории утратили свою актуальность, а на первое место вышел контроль над потоками. И теперь эти тенденции меняют саму природу войны.

Книга предназначена для специалистов в области военного и стратегического планирования, политологии и международной политики, а также широкого круга читателей.

**УДК 355/359**  
**ББК 63.3(0)**

ISBN 978-5-9950-0891-0

© 2015 by Rowohlt Berlin  
Verlag GmbH, Berlin, Germany  
© ООО «Кучково поле», издание  
на русском языке, 2018

## Введение

### Эволюция насилия в XX и XXI веках

Страх перед большой войной вновь охватил Европу. Причиной этому стала отнюдь не затянувшаяся гражданская война в Сирии и поразительные успехи, которые в последние годы демонстрируют боевики Исламского государства\* в Леванте, а в первую очередь резкая реакция России на действия Украины, проявившаяся после того, как в начале 2014 года та в результате государственного переворота разорвала вассальные отношения с Российской Федерацией. Всегда, как только в дело вступает Россия, в памяти немедленно оживают образы холодной войны и вновь возникает ощущение нависшей угрозы. Это и есть главное отличие от реакции [европейцев] на гораздо более кровавые и жестокие события гражданской войны в Сирии. Присоединение Крыма и поддерживаемое в России противостояние с сепаратистами на Донбассе серьезно сказались на уверенности европейцев в том, что они больше никогда не станут свидетелями войны в Европе. Во всяком случае, период, охватывающий более двух десятилетий, в течение которых Европа спокойно получала свои «мирные дивиденды», определенно подошел к концу, и теперь уже никто не сможет сказать наверняка, повторится ли он когда-нибудь снова.

Беспечности в отношении политики безопасности положили конец вновь ожившие политические теории, чье время, каза-

\* Исламское государство (ад-Дауля аль-Исламия) — международная исламистская суннитская террористическая организация, запрещенная в России. — *Примеч. ред.*

лось бы, только-только прошло: это теории конкуренции крупных государств, теории о моделях проявления их силы, а также представления о сферах влияния и геополитические концепции. На фоне возникших опасений и страхов XX столетие, которое, как считалось, уже подошло к концу, проявилось с новой силой: спорным остается вопрос, было ли оно действительно тем самым «коротким XX веком», как считают некоторые историки, который можно рассматривать как единую эпоху, охватывающую годы с 1914 по 1989/1990 год. Озабоченность по поводу конфликта на востоке Украины рождает опасения, что, возможно, конец конфронтации Востока и Запада не был началом эры стабильного мира в Европе, а лишь привел нас к ситуации, в которой насилие поглощает Европу, двигаясь от ее периферии к самому сердцу.

Обманутые чаяния наступления эры стабильного мира сами по себе были основаны на чисто евроцентристском восприятии мира — после 1989/1990 годов войны по всему миру не прекратились. Даже наоборот: их количество в глобальном масштабе в какой-то момент увеличилось, а напряженность подчас была куда выше, чем у прежних, дистанционных войн между Востоком и Западом — особенно если рассматривать массовые убийства в Руанде и Восточном Конго как военные конфликты. Геноцид в Руанде по степени насилия наверняка превзошел самую жуткую войну, а количество жертв в конфликте в восточной части Конго, унесшем жизни четырех с половиной миллионов человек, стало самым большим с момента окончания Второй мировой войны. Также и война в Афганистане, которая до вывода советских войск с Гиндукуша представляла собой одну из многих дистанционных войн эпохи холодной войны<sup>1</sup>, в 1989/90 годах на самом деле не закончилась; она продолжилась при других обстоятельствах, порой даже при участии Германии, что в свою очередь повлекло за собой глубинную структурную трансформацию немецких вооруженных сил. Правда, здесь, у нас [т. е. в Германии] война в Афганистане, если не считать периода возмущений после нападений на немецких солдат, не стала серьезной темой для общественного обсуждения. Уж слишком далек от нас [европейцев] был Афганистан с географической точки зрения; преобладало мнение, что если вывести войска с этой

территории, то для нас [европейцев] проблема будет решена. В тот момент едва ли кто-нибудь мог осознать то, что в Гиндукуше Германия защищала свою безопасность, как говорил тогда прежний министр обороны Петер Штрук. Где-то в воздухе витала невысказанная идея, что если Запад решительно откажется от участия в любых конфликтах по всему миру, то эти конфликты через какое-то время урегулируются сами по себе.

Обостренный вариант мироощущения, согласно которому ключом к налаживанию мира во всем мире станет не вмешательство, а нейтралитет и терпеливое ожидание, заключается в убеждении, что почти все войны являются следствием интервенционистской политики Соединенных Штатов. В его основе лежит молчаливое предположение, что повсюду предпочтение отдается миру, а существующие конфликты могут быть разрешены мирным путем, если Соединенные Штаты не будут вмешиваться во все и вся. Не считая разнообразных оценок этих войн, сделанных через призму политических взглядов, подобная точка зрения характерна для постгероического общества, которое обобщает все царящие в нем настроения и затем выдает их за естественное поведение людей. Перефразируя Гегеля, можно сказать: кто смотрит на мир через призму постгероизма, тому и мир улыбается в ответ. Тот же, кто глядит на мир с воинствующей позиции, тому в избытке видятся войны и вооруженные конфликты, в которые он немедленно должен вмешаться, чтобы положить им конец и восстановить порядок.

Конечно, не все так просто, и поэтому необходимо сформировать совсем другую, третью позицию, в соответствии с которой зарождение постгероических настроений зависит от социальных предпосылок, которые в свою очередь подвержены весьма ограниченному влиянию со стороны политики<sup>2</sup>. Однако наблюдения в отношении самих себя достаточно сложно поддаются обобщению; проще увидеть мощные группы, существующие где-то в других районах мира, которые желают войны, ибо они на ней наживаются. Это один из центральных элементов в теории новых войн. Поэтому новые войны, согласно одному из наблюдений, как правило, не заканчиваются сами собой, а нуждаются в участии третьей стороны, которая действовала бы в качестве посредника или миро-

творца. В этом теория новых войн противоречит основным убеждениям постгероического общества, и это, безусловно, одна из причин, почему она стала предметом множества серьезных дискуссий<sup>3</sup>.

Может быть, все зависит от перспективы, как считает культуролог Бернд Хюппауф<sup>4</sup> И да, и нет. На самом деле представление о более чем двадцатилетнем периоде мира в Европе существовало лишь благодаря тому, что междоусобные войны 90-х годов в Югославии, унесшие жизни более чем 200 тысяч человек, попросту были выведены за рамки остальной Европы. Конечно, Балканы всегда играли довольно незначительную роль в развитии европейской идентичности, однако то, что они находятся в Европе и являются неотъемлемой частью европейской истории, едва ли можно отрицать. В то же время проявления жестокости и насилия в отношении гражданского населения в Боснии довольно сильно пугали и озадачивали европейскую общественность. Так называемая резня в Сребренице — убийства боснийских мусульман, — устроенная сербскими военными и членами добровольческих объединений, стала символом провала политики ООН на Балканах и позором для Европейского союза, практически «у себя на пороге» проявившего бессилие в вопросах заботы о мире и уважении прав человека<sup>5</sup>. И только активное вмешательство американских военных положило конец вооруженному конфликту в Боснии и Герцеговине и Косово, ну или, по крайней мере, влияние оказала готовность прекратить его.

Предположительно, все эти факторы — европейское фиаско, провал политики Организации Объединенных Наций и, наконец, применение военно-воздушных сил США — привели к тому, что военные конфликты на территории Югославии очень быстро исчезли из коллективной памяти европейцев либо были вытравлены намеренно. Подобное «вытравливание» неудивительно и уже не в новинку: конструирование эпохи, наделенной определенным признаком, почти всегда основано на вытеснении всего того, что не вписывается в созданный или создаваемый образ эпохи. Это лишь одна из стратегий, с помощью которых мы обретаем ориентацию и уверенность в политическом мире. Однако порой подобное упрощение действительности превращается в самообман. Вероятно, так было



и в момент политического самоопределения европейцев, стремящихся к миру, и их историко-политического обращения к обеим мировым войнам. Тем важнее объективная оценка военных действий, ведущихся с конца 1980-х годов, а также критический подход к периоду с 1914 по 1945 год как с европейских позиций, так и в контексте мировой истории. И то и другое крайне важно. При этом Первой мировой войне, как своего рода «эпохальной вехе», придается особое значение. Поэтому здесь мы будем рассматривать ее глубже и подробнее, нежели Вторую мировую войну.

Исторический подход позволяет увидеть то, что объединяет войны, ведущиеся на периферии Европы — междоусобные войны в Югославии, вооруженные конфликты на Кавказе — от Чечни до Грузии, и нынешнее противостояние на востоке Украины: все они происходят на постимперском пространстве, которое образовалось в результате распада традиционных империй Центральной и Восточной Европы — империи Габсбургов и Российской империи. Однако нового, единого национального государства на нем так и не появилось. В основном здесь стали рождаться многонациональные и многоконфессиональные «империи»\*, с одной стороны — Советская Россия (с 1924 года Советский Союз), а с другой — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев или, после Второй мировой войны, Социалистическая Федеративная Республика Югославия, которым в течение длительного времени удавалось гасить этнические и религиозные конфликты, но не устранять их. С началом распада этих «империй» конфликты запылали вновь, еще больше способствуя их распаду. В конце концов, Украина тоже относится к этому пространству; после 1991 года ей так и не удалось создать эффективное единое национальное государство; вместо этого этнические, конфессиональные и даже языковые центробежные силы положили начало гражданской войне, которая в свою очередь дала России возможность реализовать ряд своих геополитических проектов (Крым). При более подробном исследовании историче-

\* Автор почему-то опускает факт, что, кроме того, после Первой мировой войны кроме «многонациональных империй» на этих территориях возникли: Польша, Австрия, Чехословакия, Финляндия и др. национальные государства. — *Примеч. ред.*

ских глубин этого кризисного и конфликтного пространства, растянувшегося от центральных Балкан до Каспийского моря, неизбежно приходится возвращаться к итогам и последствиям Первой мировой войны. Кстати, это также касается войн, ведущихся на другом постимперском пространстве, лежащем на периферии Европы, — между Сирией и Ираком, Ливией и Йеменом.

И тем не менее, в данной книге речь идет не только об общей истории войн последней сотни лет, систематизированной на основе определенного тезиса; скорее в ней прослеживаются противоречивые события, которые, с одной стороны, способствовали формированию зон стабильного мира, а с другой — привели к образованию «военного пояса», охватывающего весь земной шар и протянувшегося от Южной Америки (в основном от Колумбии) через Африку (Мали, Нигерии и до Сомали), через большую часть арабского мира (Йемен, Сирию, Ирак и Ливию) дальше на север и идущего от мирных на данный момент центральных Балкан через Черноморский регион на Кавказ, и далее через Афганистан и Пакистан, постепенно сужаясь в районе островной части Юго-Восточной Азии. В случае этого «пояса» речь идет о *гибридных войнах*; они называются таковыми, поскольку не укладываются в бинарную систему порядка, разработанную в Европе периода Раннего Нового времени испанской школой международного права и голландцем Гуго Гроцием: такая система бинарной терминологии определяла мировой порядок посредством противопоставления двух состояний и при принципиальном исключении третьего: война *или* мир, межгосударственная *или* гражданская война, участник *или* не участник войны — третьего, как говорится, не дано. И в самом деле, система международных юридических терминов со своей структурированной ясностью повлияла на политический порядок и даже подчинила его себе.

Гибридные войны в свою очередь отличаются тем, что двоякая система классификации для них не подходит и не имеет никакого значения: по сути, это гражданские войны, которые, как правило, обнаруживают сильную тенденцию к нарушению границ, и если из них не развиваются межгосударственные войны, то в основном потому, что государства, в которых бушуют эти конфликты, — это

страны-неудачники, или несостоявшиеся государства, которые просто неспособны вести межгосударственные войны. В случае наличия у конфликта тенденции к нарушению границ, которое часто связано с колониальными разграничениями исконных территорий, можно говорить о *транснациональных войнах*, представляющих собой нечто среднее между межгосударственными войнами и гражданскими, или, точнее, их гибрид. Таким образом, определяющий признак двоичной системы «*третьего не дано*» в этих войнах отсутствует; они становятся угрозой для мирового порядка, поскольку ставят под вопрос его основные принципы.

То же касается бинарного разделения на войну и на мир, в котором нарушение границ регулировалось правовыми актами — объявлением войны и заключением мира. Таким образом создавалась ясность относительно того, в каком из двух политических состояний находилась страна — война или мир, и какие действия в связи с этим допустимы, а какие запрещены. В новых войнах все совсем не так: здесь нет ни объявлений войны, ни заключения мира; вместо них сплошные заявления и соглашения, посредством которых применение силы временно приостанавливается или сокращается, чтобы затем возобновиться или набрать обороты. Сложно определить, в какой момент начинается такая война, и еще сложнее ее остановить или констатировать ее завершение — непонятно, на каком этапе находишься. Вследствие этого невозможно с уверенностью сказать, с кем имеешь дело: с партией войны или партией мира.

Конкретный пример: во время конфликта на востоке Украины европейцы ввели против России экономические санкции, поскольку решили, что российское правительство представляет собой партию войны; однако в то же время российская сторона позиционировала себя как сторонника мира, пытающегося замирить обе воюющие стороны конфликта. Теперь этому уже нельзя верить, и есть достаточно доказательств тому, что это было не так. Но чтобы завершить конфликт или хотя бы превратить «горячую войну» в замороженный конфликт, европейцы были вынуждены сделать вид, что согласны с терминологией русских, и общаться с ними на переговорах в Минске так, *будто бы* Россия представляла партию мира.

В таком решении нашла отражение разность подходов, практикуемых правительствами при переговорах с партизанскими группами, повстанческими формированиями или террористическими организациями, которым они на самом деле хотя и отказывают в политическом признании, но, соглашаясь на переговоры, его же и оказывают. Вооруженный конфликт на востоке Украины велся таким образом, что подобные переговоры были бы возможны и необходимы; в любом случае он представлял собой пограничное состояние между открытыми военными действиями и сохраняющимся миром, потому и возможно его определение как гибридной войны. Этот термин в данном случае подразумевает под собой отрицание системы мира и войны, основанной на бинарных терминах.

Бинарность терминов, правовых статусов и политических коалиций не только определила в Европе политическую систему, но и управляла эволюцией силы. Она способствовала тому, что производство военных мощностей становилось все более затратным, и в свою очередь это привело к тому, что число задействованных в военных конфликтах сторон постепенно сокращалось: к концу Средневековья и к началу Нового времени города и аристократические союзы сменились независимыми землями, затем вместо них стали выступать союзы крупных держав, а в последнее время, в период конфронтации между Западом и Востоком, вести крупную войну было по силам лишь двум сверхдержавам вместе с их союзниками<sup>6</sup>. Правда, если бы подобная война велась бы на самом деле, это было бы равносильно концу человеческой цивилизации.

Эта ситуация породила двойную эволюционную перспективу: в Северном полушарии доминировала идея продолжительного мира на всей Земле, или, по крайней мере, такого политического состояния, в котором не ведется межгосударственных войн, а военная сила используется только для противодействия насилию, где бы на планете оно не происходило. Такое направление эволюции силы для большинства европейских стран было связано с проектом по укреплению Организации Объединенных Наций и реализацией миссии, предполагающей преобразование всех военных сил в мировую полицию. Вслед за военным социологом Морисом Яновицем я называю это «перспективой *констеблиза-*

ции»<sup>7</sup>. С момента появления угрозы самоуничтожения человечества в результате крупной (ядерной) войны еще одним направлением в эволюции силы стало поддержание военных сил в форме малых войн или так называемых *войн с малой интенсивностью военных действий* (low intensity wars); в подобных войнах бразды правления берут в свои руки небольшие государства, а крупные державы теряют свою привилегию ведения войны. Военный историк Мартин ван Кревельд назвал такое направление эволюции войн «преобладающим в XXI веке»<sup>8</sup>.

Оба предполагаемых пути развития, на первый взгляд идущие в совершенно разных направлениях и кажущиеся полной противоположностью друг друга, в конечном счете неплохо сочетаются друг с другом, по крайней мере, если расценивать *войны с малой интенсивностью военных действий* как *вызов*, а преобразование военных в полицию — как *реакцию*. Но это означает, что понятия преступления и войны, четко разграниченные и отделенные друг от друга силами европейского международного права, все больше переплетаются, и на их месте возникает новое противопоставление — преступного или же законного применения военной силы. Подобную подмену понятий можно наблюдать в заявлениях американских политиков, где те, против кого направляются американские военные силы, фигурируют в качестве «преступников» или называются «осью зла»<sup>9</sup>. При этом открытым остается вопрос, кто именно располагает *правом*, а значит *силой* классифицировать других политических деятелей как «преступников» и вести против них войну в рамках преступной парадигмы.

Проблема подмены военной парадигмы преступной заключается в том, что справедливость и сила в нее не вписываются; полномочия Организации Объединенных Наций, а конкретно Совета Безопасности, которой должен определять, кто преступник, и какие против него следует применять меры, заканчиваются либо его самоблокировкой, когда один из пяти членов СБ накладывает вето на принятое решение, либо когда некое государство или политическая группа единогласно признается преступным, но при этом никто не соглашается взять на себя полицейские функции, поскольку не видит для себя в этом личной выгоды. Противовесом служат

заявления политических сил, именующих всех, кто им негоден или стоит у них на пути, преступниками и под эгидой такой «легитимности» ведущих против них войну, выдавая ее за борьбу с преступностью. В последние два-три десятилетия в политике Соединенных Штатов наблюдаются признаки такой тенденции. В любом случае, традиционное различие между войной и миром, несомненно, становится все более размытым. Благополучные районы Севера продолжают проводить на периферии военные операции, исполняющие полицейскую функцию — в свою очередь из кризисных районов и зон военных действий они получают ответный удар, чаще всего в виде терактов.

Таким образом, существует целый ряд показателей, которые свидетельствуют о том, что эпоха классических межгосударственных войн подходит к концу или уже закончилась. В исторической перспективе кажется, будто две мировые войны первой половины XX века были последними крупными войнами этого типа, при этом обе они уже несли в себе элементы внутренней социальной войны: в Первой мировой войне за межгосударственным конфликтом, до основания пошатнувшим уклад многих стран, последовала серия гражданских войн, среди которых Гражданская война в России в 1918–1922 годах стала не только самой тяжелой и жестокой, но и имела самые далеко идущие политические последствия<sup>10</sup>. Во время Второй мировой войны во многих регионах гражданские войны велись одновременно с межгосударственной войной, и такая одновременность — наряду с тем обстоятельством, что для немцев война на Востоке имела характер идеологической борьбы — способствовала беспрецедентному преумножению насилия. Тем не менее, факт остается фактом: Вторая мировая война по своей форме была войной межправительственной, и это еще раз подтверждается способом ее завершения — подписанием Акта о капитуляции. К тому же увеличение степени ее разрушительного воздействия свидетельствовало о том, что война в качестве площадки для демонстрации противоположных политических представлений абсолютно непригодна и ведет к полному саморазрушению. На самом деле это выяснилось еще во время Первой мировой войны, и упорное стремление к миру в 1920-х годах стало политическим

выражением этого понимания. Но затем тоталитарные идеологии вновь попытались поставить войну себе на службу ради продвижения своих идеалов, завоевания территорий и преобразования общества. Исход Второй мировой войны предрешил судьбу этой тоталитарной военной идеи, и в том числе, за небольшим исключением, это касается и Советского Союза, который как раз сумел приобрести новые территории, но при этом оказался бессилён как в продвижении своих «идеалов», так и в трансформации общества и создании нового типа человека.

Однако война никуда не исчезла, она изменилась, приняв новую форму. И эта трансформация подробно рассматривается в книге. Но для начала необходимо остановиться на Первой мировой войне, её месте в истории войн и значении для развития общества, а также ответить на вопрос, была ли Вторая мировая война «войной за новый мировой порядок». Это один из основополагающих вопросов для той части книги, которая посвящена «новым» войнам, военным тактикам с использованием боевых дронов, недавним вооружённым конфликтам на востоке Украины, в Сирии и в Северном Ираке. Поскольку геополитические вопросы играют важную роль не только в определении целей и задач войны, но также в предотвращении и предупреждении военных конфликтов, в конце книги речь пойдёт об изменённом политическом представлении пространства, где границы и территории уже утратили свою актуальность, а главной необходимостью стал контроль над потоками. Такое изменённое восприятие пространства и контроля над ним (а не обладания им), как утверждается в этой части книги, в ближайшие десятилетия должно повлиять и на саму природу войны.

# Часть I

## Великие войны XX века

### 1 Лето 1914 года — века мировой истории

Обращаясь к прошлому в поисках своего места в настоящем, нельзя обойтись без исторической пунктуации — неких временных вех, что отделяют эпохи друг от друга, разграничивают новое и старое. Конечно, бывают и плавные переходы, когда современники даже не замечают, что происходят какие-то принципиальные перемены. Реально ощутимы лишь те моменты, которые связаны с радикальными переменами или судьбоносными годами (Erochenjahr). Год окончания Второй мировой войны — 1945-й — и разделения Европы на Восток и Запад был как раз таким судьбоносным годом; следующим стал год 1989-й: падение Берлинской стены, развал Восточного блока и конец холодной войны. Но неужели и 1914-й, год начала Первой мировой войны, также был судьбоносным?

У некоторых исследователей такая точка зрения вызывает сомнения: переломным моментом истории они скорее считают 1917 год, когда США вступили в Великую европейскую войну, а в России произошли две революции, вторая из которых коренным образом изменила весь мировой политический порядок на целых семь десятилетий<sup>1</sup>. Вступление в войну Соединенных Штатов, вышедших из Первой мировой войны реальным победителем — они стали единственной державой, которая по-настоящему выиграла от своего участия в войне, нарастив в результате политическую мощь и добившись экономического процветания, — положило ко-

1. Лето 1914 года — века мировой истории



нец доминированию и господству Европы. А победа большевиков в Москве и Петрограде открыла эру революционных надежд, в которой политики и политическая интеллигенция куда увереннее, чем раньше, видели себя создателями нового будущего, преобразователями частной и общественной жизни. Эта эпоха завершилась, когда неумолимая сила обстоятельств, в конце концов, оказалась сильнее творческого запала политического авангарда. Авангардисты грезили созданием нового мира и нового человека<sup>2</sup>. Художники, живописцы, скульпторы, писатели и поэты осуществили эту мечту — они создали новый образ мира и человека. Но социальным и политическим авангардистам это не удалось. Большевистский коммунизм и его сторонники в Восточной Азии, Латинской Америке и Африке к югу от Сахары мобилизовали огромные ресурсы, но оставили после себя лишь выжженные пустыни истощенных обществ.

Так разве не логично было бы считать лето 1914 года концом старой Европы, а 1917 год — началом новой эпохи в мировой истории? Ту веку, коей стала Первая мировая война в истории, в таком случае можно было бы датировать не только моментом начала войны, но и всей ее протяженностью, и решающую роль в такой датировке сыграла бы эскалация насилия. Как правило, в момент начала крупных и радикальных войн невозможно предугадать, как долго война продлится и какие долгосрочные последствия будет иметь. Так было в 1618 году во время дефенестрации чешскими сословиями имперских наместников в Пражском Граде, то есть в тот момент, когда началась Тридцатилетняя война. То же касается вторжения прусской и австрийской армий в революционную Францию, в результате чего военные походы продолжались еще на протяжении более чем двух десятилетий. После этого политическая ситуация в Европе изменилась коренным образом.

Историк Эрик Хобсбаум, сформулировавший понятие «долгого XIX века», установил для него временные рамки с 1789 по 1914 год, таким образом, установив единый истори-

1. Лето 1914 года — веха мировой истории

ческий период с момента Великой французской революции и до начала Первой мировой войны. Предложенная Хобсбаумом периодизация была охотно перенята как публицистами, так и представителями академической науки<sup>3</sup>. Но почему? Разве не логичнее было бы датировать конец этой эпохи, начавшейся с буржуазной революции, 1917 годом — годом успешно завершившейся революции социалистической? Или, если уж измерять историю войнами, разве 1815 год, ознаменовавшийся проведением Венского конгресса и утверждением на нем нового европейского миропорядка, не стал бы более подходящей датой для начала эпохи, которая в 1914 году закончилась уничтожением этого порядка?

Для датировки исторических периодов важна не только очевидность поворотных моментов, но и убедительность лигатур, объединяющих множество разнообразных событий, которые сами по себе могут показаться историческими вехами. Подобного рода лигатуры могут иметь социально-исторический, историко-культурный, исторически-ментальный, но также и историко-политический характер. Последний вариант, конечно, самый претенциозный и наиболее сложный, поскольку здесь необходимо следить за непрерывностью и продолжительностью структур и организационных моделей, которые находятся в постоянном изменении. Политическая история по определению является областью постоянных изменений. Стоит только начать искать в ней поворотные моменты, чтобы немедленно найти их в избытке; однако в поисках лигатур придется немало потрудиться.

Определение поворотных моментов и нахождение исторических лигатур — довольно деликатный процесс, ибо он отражает наше политическое самосознание вместе со скрытыми в нем ожиданиями будущего. Анализируя и классифицируя историю, мы проецируем на нее наши собственные ожидания и опасения. Историческая пунктуация, внесенная нами в историю, практически всегда не является результатом объективного наблюдения, а скорее отражает наши

разочарования или надежды на то, что все могло быть иначе — так, как хотелось бы нам. Многие представители немецкой интеллигенции, среди них выдающийся писатель Томас Манн, философ Макс Шелер, социолог Георг Зиммель<sup>4</sup>, приветствовали начало едва разразившейся в 1914 году войны, называя ее поворотным моментом в мировой истории и надеясь, что новые времена сотрут с лица земли пагубные явления последних десятилетий: господство материализма, власть денег, превратившихся из средства в цель жизни, и, не в последнюю очередь, все более заметную социальную эрозию. Интеллигенция глубоко заблуждалась: все, от чего она хотела избавиться, война лишь усилила — по крайней мере, если рассматривать длительный период развития. Они возлагали свои политические и культурные надежды на начало войны, таким образом, приписывая ей некий смысл, который оправдывал ее и даже «освящал».

В отличие от них, французская и британская интеллигенция считала 1914 год не столько прорывом, сколько закономерным продолжением истории. Сразу после начала войны представитель философии «жизненного порыва» Анри Бергсон, читая лекцию во Французской академии, предложил следующую аргументацию: эта война призвана защитить цивилизацию от варварства<sup>5</sup>. Таким образом Бергсон вплеп войну в длинную историческую цепочку, берущую свое начало в противостоянии Римской империи германским племенам. Для него 1914 год был не переломным моментом, а лишь новой главой бесконечной борьбы за самоутверждение цивилизации древних римлян с ордами варваров, наступающих с востока, из азиатских степей и германских лесов. Часто обсуждаемое противопоставление «глубины» немецкой культуры «поверхностной» французской цивилизации, предложенное Томасом Манном, становится понятным лишь в контексте реакции на высказанное Бергсоном толкование войны как защиты цивилизации от варварства. Бергсон задал идеологическое направление: защита латинской цивилизации от периодически наступающих с северо-востока варваров. То-

мас Манн противопоставил этому свое видение: защита немецкой культуры от французской цивилизации. Артиллерийский огонь с самого начала сопровождался словесной войной.

Англичане, подобно Бергсону, называли немцев гуннами, от которых нужно отбиваться и обороняться. Свою лепту в утверждение подобного прозвища, определенно, внес кайзер Вильгельм II, когда в 1900 году, провозжая немецких морских пехотинцев, отправлявшихся из Бремерхафена на подавление Боксерского восстания, пожелал им, подобно гуннам под предводительством Аттилы, прославить свое имя в Китае<sup>6</sup>. Именно в результате этого неосмотрительного заявления германского императора немцы в английском восприятии превратились в гуннов. Впрочем, эта «гуннификация» немцев отчасти была связана с историческим эпизодом, когда в середине V века оборонительному союзу, возглавляемому Римом, в сражении на Каталаунских полях удалось дать отпор нашествию варваров. Это еще одно звено исторической цепочки, имеющее особый смысл.

Сравнение немцев с варварами также объяснялось немецким вторжением на территорию нейтральной Бельгии и жестокостями со стороны германских военных в отношении бельгийского гражданского населения, позднее получившим название «изнасилование Бельгии»<sup>7</sup>. Также можно предположить, что западные интеллектуалы постоянно подчеркивали варварство немцев, поскольку сами они, а точнее Франция и Великобритания, состояли в союзе с царской Россией, которая в западноевропейском сознании была классическим примером варварской империи. Двумя десятилетиями ранее подобный союз был бы просто немыслим: либеральные, демократические и революционные традиции Запада с политической и культурной точек зрения представлялись полной противоположностью репрессивно-авторитарным структурам Центральной и Восточной Европы, нашедшим воплощение в Российской империи. Отождествление немцев с варварами или гуннами означало некую преемственность в битве за цивилизацию, которая должна была замаскировать глу-

бокий политический кризис союза. В то же время этим прикрывался тот фактор, что в союзнической политике Франции и Великобритании геополитические интересы приобрели больший вес, нежели верность политическим отношениям или идеологическая близость. Возможность взять своего соперника Германию за жабры имела решающее значение.

Если не брать в расчет состязаний европейских интеллектуалов в вопросах самоопределения, то в чем же именно 1914 год стал поворотным моментом для всей мировой истории? Еще задолго до начала войны многие проницательные современники предполагали, что крупная война сможет не только в корне изменить глобальную политическую ситуацию, но и полностью перевернет социальный уклад и культурное самосознание европейцев. Малые войны, наподобие итальянских и немецких войн за объединение, ограниченных территорий и временем, Европе не помеха, чего нельзя сказать о войне, охватившей весь континент и затянувшейся на долгие годы. От такой войны предостерегали и Фридрих Энгельс с Августом Бебелем от имени социалистов, и польский банкир Иван Блюх, и английский журналист Ральф Норман Энджелл, говорящий с позиции экономического либерала, и Гельмут фон Мольтке (старший), легендарный военачальник, одержавший победы в битвах при Кёнигсгрэце и Седане, признанный авторитет в милитаристских кругах Европы<sup>8</sup>. Соответственно, Генеральные штабы обеих сторон старались выстраивать свои планы с расчетом на краткую войну и решающие сражения. Когда осенью 1914 года эти расчеты провалились — война продолжалась, залпы орудий не смолкали, а промышленное производство пришлось перестраивать под нужды длительной войны, — самые умные и прозорливые участники и сторонние наблюдатели отчетливо осознали, что Европу ждут коренные изменения как изнутри, так и в ее международном политическом положении. Интуитивно немецкие интеллектуалы, признающие значимость поворотного момента, оказались куда ближе к истине, чем английские и французские авторы, видевшие в происходящем преемственность исторических процессов.

Война не созидает экономических ценностей, а наоборот, пожирает их в невероятном количестве в надежде на политические дивиденды, которые принесет ее окончание. Индустриализация войны лишь способствовала увеличению потребления ресурсов — все больше и больше государственных и частных состояний исчезали в ходе войны. 1914 год, как и следующие четыре года войны, стали настоящей трагедией для европейской буржуазии, видевшей в войне шанс на обретение политической гегемонии и разрушившей себя в социальном и экономическом плане в попытке реализовать эту возможность<sup>9</sup>. За время войны буржуазия в первую очередь сменила свои политические координаты: с позиции социального и политического центра она переместилась вправо. Таким образом активизировался процесс поляризации политических сил, жертвой которого во многих европейских странах в 1920-е и 1930-е годы пали не только демократия, но и сами основы правового государства. Лишь спустя несколько лет европейцы сумели вновь открыть для себя те политические возможности, которые были утрачены в 1914 году.

Поворотный момент, наступивший в 1914 году, как уже говорилось, стал результатом политических решений, важную роль в которых подчас играл случай. Любая случайность, ее отсутствие или ее иная оценка политически значимыми фигурантами — и все могло бы сложиться по-другому. Неужели цепочке событий, в которых определяющую роль играло стечение обстоятельств, можно приписывать значение мирового переломного момента? Безусловно. Ибо поворотные моменты не создаются умышленно, они, как правило, являются непредсказуемым результатом взаимодействия множества факторов.

В 1914 году также закончилась эпоха прогрессивного оптимизма, рассматривавшего войну как нерациональную форму урегулирования конфликтов и распределения ресурсов и ожидавшего, что со временем на смену военной силе придет индустриальная мощь. В тот момент люди верили в постепенное исчезновение войны из истории, или, по край-

ней мере, в то, что война будет вынесена на обочину «цивилизованного мира», ибо индустриальное общество Европы становилось слишком уязвимым, чтобы вести крупные войны наподобие войн 1618–1648 или 1792–1815 годов. К тому же индустриальная революция наглядно показала, что работа создает гораздо больше ценностей, чем можно захватить в войне. Этот прогрессивный оптимизм был полностью истреблен в 1914 году; насилие снова стало считаться основным потенциалом политической власти. Прошло почти целое столетие, прежде чем европейцы снова достигли того, что имели к 1914 году. Потому, по крайней мере, в некоторых областях эпохальный 1914 год определенно можно считать поворотным моментом, заслуживающим особого внимания.

## 2

### **Эскалация насилия: от Июльского кризиса 1914 года до политики «распространения революционной заразы»**

То утихая, то вновь набирая обороты, в Германии продолжают споры о Первой мировой войне, основу которых с начала 1960-х годов составляют тезисы гамбургского историка Фрица Фишера<sup>1</sup>. Однако эти дискуссии скорее перефокусировали, чем расширили политические взгляды на войну 1914–1918 годов и ее последствия. Обсуждение войны в этих дебатах в основном сводилось к ее предыстории и Июльскому кризису 1914 года, в то время как само течение войны, так и слившиеся в ней властные и геополитические конфликты особенно не обсуждались. Пренебрежение темой самой войны привело к тому, что насильственный характер европейской истории 1-й половины XX века, по сути, объяснялся борьбой за власть немецкой элиты и рассматривался как моральный вызов со стороны немцев. И то и другое небезосновательно: роль, которую немецкое руководство сыграло

как в начале Первой мировой войны, так и в момент развязывания Второй мировой, оказалась роковой — правда, оба случая следует рассматривать отдельно, ибо сценарий в них был совсем разным. Анализируя события 1914 и 1939 годов, можно, конечно, говорить о преемственности немецкого руководства и делать это с полным основанием, но все же такой подход лишен настоящего анализа, в котором каждый случай считается самостоятельным событием и рассматривается отдельно, а не в контексте предполагаемой преемственности.

И тут сразу же возникают упреки и оговорки: то, что бесконтрольные действия элиты являются в большей степени политическим обвинением, нежели моральным, не берется в расчет, ибо вопрос о причинах войны 1914 года обсуждается с позиции *вины*, а не *ответственности*. И все же со всей ответственностью за насильственный характер XX века, возложенной на руководство Германии, следует отметить, что его действия накануне 1914 года отличались от маневров, предваряющих год 1939-й. Именно это служит опровержением утверждений Фрица Фишера, поскольку он проецирует преднамеренность действий на пути к войне 1939 года на предысторию Первой мировой войны, тем самым искусственно конструируя преемственность немецкой политики, которой на самом деле не было. Распечатать пломбы, поставленные Фишером и его учениками на тему Первой мировой войны, помог живущий в Великобритании австралийский ученый Кристофер Кларк<sup>2</sup>.

Для переосмысления войны как «пракатастрофы XX века» (Джордж Ф. Кеннан), конечно, недостаточно остановиться лишь на ее причинах; необходимо исследовать дальнейший ход войны со всеми политическими и стратегическими решениями и соответствующими последствиями. Изучением Первой мировой войны, ее истоков и развития движет отнюдь не академический интерес, для нас это в первую очередь источник опыта и знаний. Эти исследования раскрывают ту политическую область, которая может иметь большое значение для решения проблем XXI века. Возмож-



но, именно это в настоящее время стало причиной возросшего интереса к Первой мировой войне, как и вопрос о том, может ли сегодня, спустя почти сотню лет, повториться то, что произошло в 1914 году?

### **Первый конфликт: борьба за европейскую гегемонию**

Первая мировая война относится к тем войнам в европейской истории, которые приводят не только к изменениям границ, но и к новой организации политического пространства и модификации стандартов политики. В этом ее можно сравнить с Наполеоновскими войнами и Тридцатилетней войной — на основании этой аналогии войны 1914–1918 и 1939–1945 годов часто называют новой Тридцатилетней войной<sup>3</sup>. С самого начала войны масштабы ее не были понятны; они обозначились лишь в ходе войны, заняв затем свое место в истории. Анализ войны также должен прояснить, каким образом конфликт, который, как предполагалось, должен был ограничиться территорией Балкан и проистекать подобно Балканским войнам 1912 и 1913 годов, превратился в мировую войну.

Политическая конъюнктура довоенного времени характеризуется тремя крупными конфликтами. Первым из этих конфликтов, обозначенным как «большой конфликт» (*grosser Konflikt*), ибо он, подобно магниту, притягивал важных политических игроков, ставя их перед жестким выбором — за или против, — было противостояние Франции и Германии, которое с 1871 года, то есть с момента подписания Франкфуртского мира, вертелось вокруг вопроса, кому принадлежат Эльзас и Лотарингия — Германии или Франции? В принципе, Франко-германская война 1870–1871 годов, завершившаяся провозглашением Германской империи в Зеркальном зале Версальского дворца, по сути стала пересмотром некоторых итогов Тридцатилетней войны и соответственно положений мирных соглашений, подписанных

в Мюнстере и Оснабрюке, согласно которым Эльзас и лотарингские епископства Мец, Туль и Верден окончательно отходили Франции<sup>4</sup>. Однако спор за Эльзас-Лотарингию был лишь частью более широкого конфликта, в котором в конечном счете речь шла о гегемонии в Западной и Центральной Европе: какие из держав европейской пентархии имели право слова в политически важных вопросах, а какие должны были лишь подчиняться? Этот конфликт в свою очередь обладал еще большей исторической глубиной, чем вопрос Эльзас-Лотарингии, и некоторые историки — представители обеих держав — даже находили его корни в разделении империи Каролингов в IX веке, тем самым добавляя ему национального колорита и превращая в «родовую вражду».

С момента политического подъема национальной идеи в конце XVIII — начале XIX века французско-немецкое противостояние стало гораздо интенсивнее: с одной стороны, в Париже его выражением стала наполеоновская идея подчинения Западной и Центральной Европы, которое сводилось к вторжению на населенные немцами земли. Ей противостояла геополитическая модель, политическим центром которой была Германия, а все бразды правления принадлежали Берлину. С началом промышленной революции это противостояние политических моделей дополнилось экономическими интересами в соответствующих сферах влияния. Доступ к сырью и вопрос обеспечения рынка сбыта сыграли в этом ведущую роль, что в результате привело к тому, что конфликт, поначалу ограниченный территорией Эльзас-Лотарингии, перекинулся и на Африканский континент. Только теперь речь шла не о власти, а об имуществе и богатстве.

Невероятно сильную динамику конфликт черпал в национальных идентификациях, которые выходили далеко за рамки политических и экономических расчетов европейских лидеров. Разные и подчас противоречивые *интересы* обеих сторон можно было бы перевести в политическое и экономическое сотрудничество, в котором игра в «у кого больше нулей» только пошла бы на пользу общему делу, лишив кон-

фликт его оснований. В случае столкновения национальных идентификаций такое не представлялось возможным. Самосознание, основанное на национальной идее, получило особенно широкое распространение среди представителей среднего класса, и довоенный период был отмечен увеличением их политического влияния. Политика, ориентированная на национальные интересы, изобиловала представлениями о национальной славе и национальной чести. Характерным понятием того времени стал *престиж* — во всех француско-немецких кризисах, предшествующих Первой мировой войне, речь шла именно о нем. При этом, оставаясь неким буфером для национальной идентификации, престиж служил важной валютой в международной политике. Это придавало конфликту остроту и делало его ход непредсказуемым.

И все же в начале лета 1914 года конфликт между Францией и Германией, соперничавших за европейскую гегемонию, был достаточно латентным и отнюдь не острым. В тот момент война не могла разразиться из-за него одного. В конечном итоге политическую и экономическую разрядку этого конфликта можно было бы представить себе в виде француско-немецкого примирения, произошедшего полвека спустя, в эпоху Аденауэра и де Голля. Необходимость двух крупных войн для возможности такого примирения — не самый убедительный аргумент. Попытки в этом направлении предпринимались и до 1914 года: Германия, ведущая промышленная держава, испытывавшая значительный недостаток средств, и Франция, известный экспортер капитала, имела массу взаимовыгодных возможностей для сотрудничества. Недоставало лишь обязательного в таких случаях взаимного доверия, уверенности в том, что альянс будет иметь форму равноправного партнерства, а не дискриминирующего доминирования одной стороны над другой.

При этом важную роль сыграли быстрый подъем Германии и относительный упадок Франции. К этому добавилась тенденция, никак не зависящая от политических обстоятельств: по статистике, во Франции с 1890-х годов среднее

количество детей в семье сократилось с трех до двух, в то время как в Германии оно осталось неизменным — в среднем три ребенка в семье. В результате демографическая ситуация в обеих странах, до этого демонстрировавших практически равнозначные показатели, поменялась: Франция переживала демографический спад, в то время как Германии удалось его избежать<sup>5</sup>. Там, где немецкая сторона видела для себя опасность военной изоляции, французы чувствовали угрозу устойчивого снижения населения, а следовательно, значительного ослабления политической власти.

Вместо сотрудничества с Германией Франция стремилась к союзу с Россией, и вероятность такого союза, основанного на геостратегических расчетах, а не на общих ценностях, породила в Германии страх изоляции, результатом которого стала политическая директива, предписывающая «разрушить кольцо окружения» либо, по мнению одних, с помощью превентивной войны, либо посредством политики, вносящей противоречия в Антанту. «Каролингский вариант», а именно тесное сотрудничество между Германией и Францией, таким образом, становился все более отдаленным. Время, столь необходимое в условиях проводимой Германией политики, уходило; французы в свою очередь опасались того, что русские передумают и вновь решатся на традиционное сближение с Германией или Пруссией. Во время Июльского кризиса 1914 года все страхи и опасения обоих фигурантов подтвердились<sup>6</sup>.

### **Второй конфликт:**

#### **борьба за новый миропорядок**

Второй крупный конфликт предвоенного периода соединил в себе две долгосрочные тенденции: относительное экономическое отставание Великобритании и утрата ею своего монопольного положения, а также выпадение некоторых европейских стран из ряда великих держав. Таким образом, к страху изоляции, определявшему политические настроения не толь-

ко в Германии, но и в Австро-Венгрии и Италии, добавилась боязнь упадка, особенно сильно проявившаяся в Австро-Венгрии, а также в Великобритании и России. Для противостояния немецкому флоту в Северном море Великобритания была вынуждена отозвать часть своих морских сил из стран Карибского бассейна и северной части Тихого океана, в результате чего позиции, которые в течение многих столетий занимали британцы, были незамедлительно поделены между США и Японией<sup>7</sup>. В свою очередь Россия опасалась, что после поражения в войне с Японией (1904–1905) другие державы уже не смогут принимать ее всерьез, и этот страх определил российскую политику в боснийском аннексионном кризисе 1908 года<sup>8</sup>. На повестке дня стоял вопрос о роли каждого участника в мировом порядке XX века. В данном случае нехватка времени не была настолько критичной, как в ситуации с опасениями изоляции, однако боязнь упадка также оказывала на политику существенное давление.

Политическая и экономическая глобализация поставила под вопрос мировое превосходство пяти европейских держав. С момента обновления состава великих держав, произошедшего в XVIII веке, когда его покинули Швеция и Испания, сформировалось своеобразное пятивластие, представленное Великобританией, Францией, империей Габсбургов, Пруссией (а затем Германией) и Россией. Наполеоновские войны временно нарушили эту структуру, но благодаря Венскому конгрессу она в значительной степени была восстановлена<sup>9</sup>. Великобритания в силу своего особенного геостратегического положения, то есть будучи островным государством, получила решающую роль в мировом сценарии, что сделало англичан гарантом (а также выгодополучателем) европейского равновесия, которого они добились благодаря сдержанности в действии политических союзов и прозорливой политике поддержания баланса сил. В то же время Великобритания распространила свое влияние на всю Европу, став основой мировой (торговой) системы. Однако роль, которую британцы играли в XVIII и XIX веках, была поставлена под сомнение ко-

лониально-политическим взлетом Франции, произошедшем в XIX веке, а также активными действиями России в деле покорения Центральной Азии. Фашодский кризис 1898 года стал кульминацией англо-французского соперничества в деле раздела Африки. Эта конкуренция играла важную роль в войне за Северную Америку XVIII века и в Наполеоновскую эпоху.

В свою очередь выражение «Большая игра» (Great Game) отражало соперничество русского медведя с британским львом — Российской и Британской империй — за господство над пограничной областью в Южной и Центральной Азии. Таковы были классические геополитические конфликты, в которых участвовали англичане. К ним также добавился экономический вызов, брошенный Великобритании Германией и США, которые оставили англичан далеко позади по основным экономическим показателям, таким как производство стали, а также в области электротехники и химической промышленности. Было очевидно, что Великобритания в XX веке уже не может сохранить ту роль, которую она играла в течение почти двух столетий. Но кто займет ее место? Или многополярная система Европы распространится и на новый миропорядок? И кто же войдет в эту систему? Накануне 1914 года эти вопросы вызывали беспокойство у европейских держав и все больше занимали США и Японию.

В своей книге «Рывок к мировому господству», о которой уже говорилось ранее, Фриц Фишер говорит о стремлении Германского рейха к статусу мировой державы. Однако подобное заявление слишком поверхностно. Если немецкое руководство и задумывалось о мировом господстве, то не более чем о его части, а не об абсолютной гегемонии. Князь Бернгард фон Бюлов, предшественник Бетмана-Гольвега на посту рейхсканцлера, говоря о «месте под солнцем» для Германии, не имел в виду обладание всеми территориями или ключевыми позициями. Хотя Германия определенно претендовала на достойное место, подкрепляя свою претензию строительством военно-морского флота, который представлял опасность для Великобритании<sup>10</sup>.

Мировое влияние основывается на морском господстве — так утверждал американский адмирал Альфред Тэйер Мэхэн<sup>11</sup>, а Вильгельм II, как и адмирал Альфред фон Тирпиц, занимавшийся развитием и строительством германского военно-морского флота, были его последователями — мэхенистами. С точки зрения державной политики для немецкой стороны стало роковой ошибкой то, что к конфликту с Францией за внутриевропейскую гегемонию она добавила глобально-политический конфликт с Великобританией. Проблеме такой переоценки собственных сил нельзя было решить за счет обычного бахвальства в стиле «Чем больше врагов, тем больше чести». Канцлер Бетман-Гольвег осознавал всю сложность ситуации и именно поэтому в 1911 году сделал ставку на политику разрядки с британцами<sup>12</sup>. Хотя, с другой стороны, Германия, ставшая теперь индустриальной державой, зависела от доступа к морским путям, а честность этого «мирового жандарма» с учетом жесткой экономической конкуренции с британцами и многих антинемецких высказываний со стороны Великобритании нередко подвергалась сомнению. К тому же сама Великобритания оказалась под сильным давлением. Изначально она настаивала на маркировке «сделано в Германии» для немецких товаров, поступающих на мировой рынок, которая в противовес английским товарам должна была указывать на второсортность продукции; добившись явно противоположного эффекта, Британия подставила под удар превосходство своих товаров. Конфликт между Великобританией и Германской империей подогревался манией величия немцев и страхом англичан перед упадком.

Начиная с 1911 года Германия сбавила свои обороты в военно-морской гонке: отчасти оттого, что Бетман-Гольвег решил на урегулирование отношений с англичанами, а также в связи с тем, что армия Германской империи отчаянно нуждалась в финансировании<sup>13</sup>, а финансовые ресурсы Третьего рейха были ограничены. Ввиду того что Франция увеличила срок военной службы с двух лет до трех, а русская армия быстрыми темпами наращивала численность, немцы почувство-

вали необходимость большего инвестирования в оснащение своих сухопутных войск. К этому добавилось опасение, что Германия больше не может полагаться на Италию как партнера по Тройственному союзу; Италия не собиралась выставить двенадцать дивизий, как предусматривалось в случае вторжения Франции на Эльзасском фронте. Для возмещения предстоящей потери итальянских дивизий Генеральный штаб потребовал увеличения численности армии, но его запросы были удовлетворены лишь частично. Таким образом, гонка вооружений на суше в предвоенные годы исходила не только от Германии. По сути, немцы в это время скорее отвечали на подготовительные военные действия своих противников, нежели сами задавали темп гонке вооружений. И лишь в отношении флота дело обстояло несколько иначе, что в свою очередь постоянно надолго ухудшило отношения с британцами.

Англичане, примерявшие на себя роль «мирового жандарма», считали, что не только Германия бросает им вызов; США и Япония также все более открыто и убедительно озвучивали свое право на участие в управлении миром. К началу XX века стало понятно, что обе эти неевропейские державы будут играть одну из центральных ролей в будущем мироустройстве, в свою очередь это означало, что некоторым европейским странам придется смириться с утратой власти и престижа. То, что в первую очередь это коснется империи Габсбургов, было очевидно — но кто последует за нею? Россия, потерпевшая поражение в Русско-японской войне 1904–1905 годов и ставшая первым европейским государством, проигравшим крупную войну против неевропейской державы\*? Или Франция, которая в силу снижения демографических показателей, наблюдаемого с 1890 года, была вынуждена прикладывать колоссальные усилия, чтобы продолжать идти в ногу с другими участниками? А может быть, Германия,

\* Автор ради подтверждения своей теории игнорирует не подходящие под его концепцию факты, например, поражение Великобритании в Войне за независимость США, а также Испании в войне с США в 1898 году и др. — *Примеч. ред.*



которая хоть и имела значительный вес ввиду своей экономической мощи и стабильного прироста населения, но из-за своего геополитического положения была ограничена в доступе к мировому океану, а значит, рисковала оказаться зажатой между Россией и Францией?

В связи с неопределенностью относительно будущего мироустройства многие конфликты казались участникам более драматичными, чем они выглядят сегодня. В оценке политической ситуации и возможных вариантов действий преобладала нервозность<sup>14</sup>. Конечно, динамика в борьбе за место в новом мировом порядке к лету 1914 года не сделала англо-германский конфликт — как и в случае с конкуренцией между Германией и Францией — более острым. За два-три года до войны ситуация в мировой политике не была напряженной. В 1914 года она не могла быть причиной начала войны.

### **Третий конфликт: судьба многонациональных и многоконфессиональных империй Востока**

Самое любопытное в этом конфликте — это то, что противоречие, образующее его основу и сыгравшее большую роль в приближении войны, не нашло конгруэнтного отражения в позиции союзов во время войны, а наоборот, во многом мешало им. Речь идет о противоречии между национальным государством и империей, то есть между политическим образованием с четко выраженными территориальными границами, призванными максимально точно отражать политическую идентичность нации и ее пространственное распространение (национальным государством), и весьма гибкой с пространственной точки зрения организационной моделью, в которой национальная, этическая или религиозная принадлежность не имела значения для политического присоединения или отсоединения территории (империей)<sup>15</sup>. Идея национального государства все глубже проникала в Европу, постепенно

двигаясь с запада на восток. Во время Первой мировой войны оказалось, что модель национального государства с точки зрения лояльности, способности мобилизации и жертвенности своих граждан превосходит многонациональную, многоязычную и многоконфессиональную империю. В ходе войны были разрушены или сами распались три великие империи Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока: империя Габсбургов, Российская и Османская империи\*. В отличие от них Германская империя хотя и оказалась к 1918 году на стороне проигравших, благодаря тому, что осознавала себя как национальное государство, все же сумела выстоять войну и не распалась на части, из которых была собрана почти за столетия до этого. В итоге Первая мировая война наглядно продемонстрировала победу национального государства над имперской моделью.

В случае многонациональных империй Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока война не только повлекла за собой смещение границ, как это было на Западе, но и спровоцировала возникновение принципиально новой организационной модели, в которой одна часть была ориентирована на западноевропейскую модель национального государства, а другая — на особенности строя, основанного на национальных и религиозных общностях. Такое сплоченное устройство теперь, однако, зиждилось не на правителе, выступающем символом и воплощением имперского порядка, а объединялось скорее политическими идеями и принципами. Примером национального государства стала Польша, в то время как организованное единство южных славян в виде Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, а также идея пролетарского интернационализма, задавшая рамки для образования Советского Союза, представляли собой другой вариант

\* В то же время не произошло распада Британской империи, также многонациональной и многоконфессиональной, а в войне успешно приняли участие австралийские, новозеландские и индийские части. Автор не оговаривает подобного парадокса, поскольку он ставит под сомнение его теорию. — *Примеч. ред.*

организационной модели. Таким образом, в рамках этого пространства добиться политической стабильности не удалось. Но эта проблема стала актуальной лишь в послевоенный или, по крайней мере, межвоенный период.

Тем не менее макрополитическая идея идентичности нации и государственности в начале Первой мировой войны имела большое значение, ибо на ней основывались мотивы покушения в Сараево, организаторы которого мечтали об образовании великого национального сербского государства и желали разрушить империю Габсбургов, представлявшую собой крупную многонациональную державу, добравшуюся и до Западных Балкан. Правительство в Вене расценило убийство наследника престола как посягательство на свой политический престиж и на устои *австрийского мира* на Западных Балканах, решившись нанести удар по Сербии, который стал в результате искрой, зажегшей пламя Первой мировой войны.

В исследованиях, посвященных Первой мировой войне, значение этого убийства довольно долго недооценивалось; авторы, пользуясь удачной терминологией, предложенной греческим историком Фукидидом, как правило, называли ее лишь «поводом войны», ища «объективную причину» в двух конфликтах, описанных ранее: в борьбе за гегемонию в Европе или в глобальном соперничестве за власть и влияние. Роль, выпавшая третьей области противоречий, вместившей в себя борьбу за господство в Центральной и Юго-Восточной Европе, а также в Малой Азии и в арабском пространстве, существенно преуменьшалась. Историк Кристофер Кларк изменил этот подход, вновь обратив внимание на роль Сербии и Австро-Венгрии в развязывании Первой мировой войны, а американский ученый Шон МакМикин провел такую же параллель в отношении России и ее интереса к наследству Османской империи<sup>16</sup>. В такой смене парадигм Югославские войны 1990-х годов, приведшие к распаду государства, определенно играли важную роль. Оглядываясь на эти войны, ограниченные как в пространстве, так и во времени и не

вызвавшие дальнейшей эскалации, зададимся вопросом, не мог ли подобный сценарий повториться и летом 1914 года<sup>17</sup>?

Временная и пространственная ограниченность войн, происходящих в Европе, была одним из основных политических требований XIX века. Войны за объединение Италии и Германии руководствовались концепцией, согласно которой военные действия должны были по возможности сводиться к одной крупной «решающей» битве, после которой стороны могли приступить к мирным переговорам. Такой подход предотвращал возможное вмешательство третьих сторон, угрожающее увеличением масштаба конфликта. Подобный план сработал в Крымской войне, когда Великобритания и Франция заступились за обессиленную Османскую империю и тем самым (временно) перекрыли России путь к Восточным Балканам, Черноморским проливам и Эгейскому морю. Если бы Пруссия и Австрия, традиционные союзники России в борьбе с «Западом», позволили втянуть себя в эту войну, то в середине XIX века разгорелась бы настоящая «мировая война». Однако обеим державам удалось устоять, и поэтому война была ограничена в основном территорией Крымского полуострова\*.

Такой же концепцией, подразумевавшей максимальную локализацию конфликтов, европейская политика руководствовалась в трех войнах, происходивших непосредственно перед Первой мировой войной: в Ливийской войне 1911 года, когда Италия напала на турецкие владения по всему побережью Средиземного моря и превратила провинции Триполитанию и Киренаику в итальянские колонии; в Первой Балканской войне 1912 года, когда союз Балканских государств, воспользовавшись военным бессилием Османской империи, истощенной в войне с Италией, напал на оставшиеся турецкие владения на территории Восточных Балкан и за-

\* Приводимый автором пример неудачен: во-первых, он не упоминает широкомасштабные действия на Кавказском фронте, во-вторых, войну, продлившуюся с октября 1853 по март 1856 года, сложно назвать быстрой. — *Примеч. ред.*

хватил их; и в 1913 году, когда прошлогодние победители перессорились друг с другом и начали войну за передел владений и господство на территории Балканского полуострова. Во всех трех случаях войну удалось закончить до того, как в нее вмешались другие стороны, то есть европейские державы. Так почему летом 1914 года все было по-другому?

**Лето 1914 года:  
слияние трех конфликтов  
в рамках плана Шлиффена**

Летом 1914 года главной задачей немецкой, но также и британской политики, должно было стать предотвращение катастрофического слияния трех вышеописанных конфликтов. Однако серьезные просчеты и определенные объективные обстоятельства привели к тому, что все получилось ровно наоборот. Англичане недооценили динамику недавнего Балканского кризиса — они были слишком заняты проблемой Ирландии, — а когда поняли, что на Балканах дело идет к большой войне и выступили в качестве посредника, то было уже слишком поздно, поскольку Вена больше не собиралась продолжать переговоры с Сербией, ибо не надеялась выйти из них мирным путем без серьезной потери своего политического престижа. Берлин, разумеется, также не желал утраты престижа Австро-Венгрией, его последним и единственным союзником. Таким образом, британское вмешательство оказалось безрезультатным.

Неприятие английского посредничества Берлином также было связано с подозрениями, появившимися в процессе русско-английских переговоров о военно-морской конвенции<sup>18</sup>. В отдалении Германии от Лондона также проявилось разочарование реакцией англичан, встретивших немецкие усилия по урегулированию отношений отнюдь не с распростертыми объятиями, на которые рассчитывали в Берлине; в этом немцы видели четкую антигерманскую направленность

внешней политики Великобритании<sup>19</sup>. Главным поводом для нового витка недоверия стало не столько содержание военноморской конвенции, сколько способ, которым англичане отреагировали на соответствующий немецкий запрос. Морская конвенция, помимо всего прочего, включала в себя договоренности о том, что в случае войны британские линкоры, пройдя через пролив Зунд в Балтийское море, прикроют высадку российских морских пехотинцев на Поморском берегу, создав таким образом третий фронт против Германии\*. Об этом соглашении германское руководство узнало через своего агента в русском посольстве в Лондоне; немцы попытались обсудить с руководителем британского Форин Офис сэром Эдуардом Греем эти планы, отмечая, что такого рода действия могут создать угрозу для Германии, однако Грей отрицал не только содержание соглашения, но сам факт проведения переговоров. В свое время Бетман-Гольвег взял курс на налаживание отношений с Великобританией, теперь от его политики остались одни руины. Депрессивно-меланхоличное состояние, в котором он пребывал в июле 1914 года, во многом было связано с развитием англо-германских отношений. Все это привело к росту влияния начальника Генштаба Гельмута фон Мольтке (младшего), который как раз делал ставку на войну, нежели на политику разрядки и сближения. Он был убежден, что дело и без того идет к войне, и считал, что для Германии эта война была выгоднее именно в тот момент, а не позже.

Основной причиной невозможности территориальной локализации войны летом 1914 года было изобретенное опытным начальником германского Генерального штаба графом Шлиффеном решение двух проблем, с которыми немцы, как предполагалось, должны были столкнуться: проблема ведения войны на два фронта и длительный и изнурительный характер

\* Данная конвенция так и не была заключена, и уже на уровне переговоров возникли серьезные трудности, поскольку в Великобритании многие влиятельные политики считали ее «фантастической». В связи с этим столь большое значение, которое придает ей автор, необоснованно. — *Примеч. ред.*

войны. Несмотря на разнообразные модификации, внесенные в план преемником Шлиффена Гельмутом фон Мольтке (младшим), основной замысел плана, сводившийся к объединению конфликтов в Европе и не к их территориальной локализации, был сохранен. В научной литературе, посвященной плану Шлиффена, в основном говорится о проблеме войны на двух фронтах, однако масштаб этой проблемы становится ясен лишь в контексте необходимости победоносного завершения войны в течение всего нескольких месяцев<sup>20</sup>. Ведь в противном случае для ведения военных действий на два фронта можно было бы выбрать оборонительный вариант, а если следовать принципам Клаузевица, то только так и нужно было сделать.

В своем сочинении «О войне» Клаузевиц определил оборону как более сильную форму ведения войны с более локальной целью, а наступление — как более слабую форму с более крупной целью<sup>21</sup>, следовательно, чтобы позволить себе стратегическое наступление, нужно обладать превосходством военных сил, и лишь затем можно преследовать более крупные цели. С точки зрения силы Германия уступала своим противникам, но с 1871 года она перестала считать себя обязанной преследовать политические цели с помощью войны. В таких условиях выбор в пользу стратегической обороны казался логичным. Когда в 1905 году в Генеральном штабе происходила смена руководства и подбиралась кандидатура преемника Шлиффена, вопрос выбора тактики на случай войны — оборонительной или наступательной — снова вышел на повестку дня: Кольмар фон дер Гольц, составлявший серьезную конкуренцию Гельмуту фон Мольтке (младшему), был сторонником оборонительной концепции и, вероятно, в случае своего назначения провел бы серьезный пересмотр плана Шлиффена<sup>22</sup>.

Однако существовала одна проблема, решить которую посредством оборонительной стратегии не представлялось возможным: по мнению всех компетентных участников и наблюдателей процесса, Европа не могла, по крайней мере, не должна была позволить себе длительной войны, ибо такая война грозила саморазрушением для всего континента.

В случае оборонительной стратегии вероятность затяжной войны резко возрастала. Германия в силу своего геополитического положения не могла позволить себе длительных конфликтов. Со времен Венского конгресса войны, ведущиеся на территории Европы, как уже упоминалось, были ограничены во времени и территории; они практически сразу достигали кульминации в решающей битве, а затем прекращались. Длительные войны были опасны, поскольку в происходящее могли вмешаться другие государства; кроме того, экономика и общество в таком случае требовали перестройки под нужды войны, а этого с точки зрения политических последствий желательно было избегать любыми силами. Ограничение во времени и пространстве считалось общепринятым условием для успешного политического исхода войны.

В результате Генеральные штабы всех государств континентальной Европы разрабатывали наступательные планы войны. Русские трудились над Планом-19, который предусматривал атаку из Царства Польского в направлении силезских промышленных районов, а затем, после устранения угрозы со стороны Восточной Пруссии и Галиции — наступление на Берлин и Вену. Генеральный штаб Австро-Венгрии работал над различными наступательными планами, в том числе направленными против Сербии, которая уже давно воспринималась как угроза; также начальник штаба Конрад фон Гётцендорф планировал выступить против превосходящей по численности русской армии, чтобы одолеть ее в одиночку. Французы выработали свой План-XVII, в рамках которого планировалось наступление через территории Лотарингии, занятые немцами, а после успешного прорыва — марш-бросок до Рейна и затем нападение на Рурскую область. Наконец, немецкий план Шлиффена делал ставку на концентрацию сил на Западе и обходной маневр, в котором войска планировалось провести широким флангом через Бельгию вокруг французских укреплений, затем окружить французов с флангов и тыла, оказывая давление на оборонительную систему с обратной стороны; одновременно силы на Восточном фрон-



те должны были оставаться в стратегической обороне до самой победы немецких войск на западе.

Таким образом, в построении наступательных планов немцы ничем не отличались от своих противников и союзников. Единственная особенность, выделяющая план Шлиффена на фоне завоевательных планов других держав, заключалась во вторжении войск на территорию нейтральной страны — Бельгии; кроме того, немецкое наступление на Западе происходило в условиях жесткого цейтнота, поскольку Восточный фронт оставался, по сути, неприкрытым — в результате все три европейских конфликта неизбежно сливались воедино, вместо того чтобы быть разделенными. Несмотря на угрозу конфликта с Россией, первое нападение было совершено на ее союзника Францию. Атака сопровождалась захватом Бельгии, которая с большой долей вероятности должна была обратиться за военной поддержкой к Великобритании. Косвенное, а не прямое нападение на Францию через Бельгию стало вынужденной мерой в условиях острой нехватки времени, связанной с необходимостью недопущения войны на истощение. На границе с Германией французы возвели серьезные оборонительные укрепления, и из этого Шлиффен сделал вывод, что именно в этой области в ближайшее время планируется нападение. Таким образом, он задумал обойти кольцо укреплений, чтобы решить исход войны в серии сражений на открытой местности. То, что нападение на Бельгию будет иметь далеко идущие политические последствия, Шлиффена не волновало. По его мнению, ведение войны на двух фронтах и недопущение продолжительной войны были лишь техническими проблемами, для которых, как он считал, он нашел очень удачное решение.

План Шлиффена мог оказаться замечательным военным решением проблемы ведения войны на два фронта и проведения быстрой победоносной войны, но с политической точки зрения он был просто катастрофичным, ибо не оставлял немецкой политике никакого пространства для маневров. Ради быстрого завершения войны план предусматри-

вал значительное увеличение военного пространства и в то же время, в связи с жесткими временными рамками, существенную эскалацию, ставящую необходимость военных решений выше политических расчетов: с момента объявления мобилизации дальнейшие действия немецкой стороны определял график переброски войск. В этих условиях остановка на пути к войне была так же невозможна, как и ограничение территории конфликта на Балканах, или, по крайней мере, на юго-востоке Европы.

И все же нельзя сказать наверняка, могла ли война принять иной политический и военный оборот, если бы немцы сделали ставку на оборонительную стратегию. В случае если немцы остались бы на западе в обороне, не объявили войну Франции и не напали бы на нее, то французы в соответствии с союзническими обязательствами России, скорее всего, атаковали бы Германию, осуществив свой собственный военный план\*. Сложно сказать, вступили бы англичане в этих условиях в войну. Политических возможностей у немцев было бы тогда куда больше, и превосходство политики над военными действиями, провозглашаемое Клаузевицем, могло сохраняться гораздо дольше. Все это могло значительно расширить пространство для политических маневров всех участников конфликта, и его использование помогло бы существенно уменьшить напряжение, вызванное нехваткой времени, на последнем этапе Июльского кризиса. Кроме того, если бы Великобритания в начале августа не вступила бы в войну против Германии, то в конфликте мог появиться влиятельный посредник, регулирующий действия участников войны и направляющий их к перемирию. Вопрос о том, насколько значимой была роль британцев и могли ли страны Центральной Европы, с учетом накала страстей в тот период и накопившегося раздражения, встретить усилия Великобритании с необходимым доверием, остается открытым. Все эти пред-

\* Не совсем понятны данные логические построения автора, поскольку они не учитывают тот факт, что войну России (а затем и Франции) объявила именно Германия, а не наоборот. — *Примеч. ред.*

положения относятся к области альтернативной истории, о познавательной ценности которой можно поспорить.

И все же, оценивая возможные варианты действий, в данном случае для немецкой стороны, можно определенно констатировать бесконечно глубокое доверие, которое политики и значительная часть общества испытывали к армии, к навыкам планирования и командования генерального штаба и к способности вооруженных сил также точно эти команды исполнять. На карту основанного лишь на предположениях плана Шлиффена было поставлено буквально все, и все верили в то, что план сработает. В результате с начала 1914 года немецкая политика превратилась в заложницу военных сил, и особенно Верховного главнокомандования, и до осени 1918 года ей так и не удалось освободиться от этой зависимости. После провала плана Шлиффена единственным выходом из сложившейся ситуации стала непрерывная эскалация войны. Проблема, стоящая перед Германией, заключалась в том, что даже эта эскалация не помогала, пока не было найдено решение важной задачи: достигнуть блестящих военных результатов, чтобы принудить противника, явно превосходящего немцев в своих ресурсах, к политическим переговорам. Но как объяснить своему народу, что после целого ряда побед мирные договоры будут заключаться на условиях «статус кво анте», то есть закреплять положение, существовавшее до войны? К чему тогда все эти жертвы?

### **Роковая проблема немецкой политики: победа ради мирных переговоров**

Примерно в середине ноября 1914 года, когда так называемый «Бег к морю» зашел в тупик и даже отчаянные атаки немецких резервных полков на Ипре, в том числе под Лангемарком, не могли изменить положения, генерал Эрих фон Фалькенгайн, новый глава Верховного командования сухопутных войск (OHL), сменивший на этом посту Мольт-

ке (младшего), заявил рейхсканцлеру Бетман-Гольвегу, что наилучшим исходом этой войны для немцев станет неопределенность — (*partie remise\**)<sup>23</sup>. Было понятно, что такая «неопределенность» не может возникнуть в результате прямого военного столкновения, а появится только после дипломатических переговоров — переговоров, в которых противоборствующие стороны согласятся на возврат к довоенным границам. Но как можно заставить Антанту, явно превосходящую Центральные державы в человеческих и материальных ресурсах, принять участие в таких переговорах, да еще и согласиться на подобный результат? Уже было очевидно, что Антанта при любом раскладе выиграет войну, которая после провала стратегии блицкрига превратилась в войну на истощение<sup>24</sup>.

Фалькенгайн, которому по складу его характера был ближе холодный расчет, нежели импульсивность<sup>25</sup>, считал, что немцы должны нанести по войскам Антанты мощные удары, на фоне которых противник, несмотря на свое военное превосходство, согласится начать переговоры. Немцы должны были побеждать, побеждать и побеждать, чтобы в результате получить преимущество на переговорах. По мнению Фалькенгайна, этого можно было добиться, вынудив одну из стран выйти из состава Антанты. В 1915 году подходящим кандидатом на эту роль Фалькенгайн считал Россию: с политической точки зрения империя трещала по швам — это наглядно показала революция 1905 года; и хотя русские солдаты-крестьяне сражались храбро и отчаянно, они не могли до конца понять смысл и необходимость этой войны — об этом говорило большое количество российских военнопленных. И вот наконец осенью 1914 года русские, добившись определенных военных успехов в сражениях с австро-венгерскими войсками, заняли стратегически незащищенные позиции, которые практически напрашивались на контратаку. Сражение при Горлице-Тарнове стало началом активного наступления немцев,

\* Отложенная партия (англ.). — *Примеч. пер.*

в ходе которого русские войска были вынуждены отступить более чем на четыреста километров, до самого Буга, потеряв большую часть своего тяжелого вооружения и несколько сотен тысяч солдат, оказавшихся в немецком плену. При таком исходе можно было предположить, что в сложившихся обстоятельствах царь согласится на сепаратный мир, который, скорее всего, будет достаточно выгодным для него. Очевидно, Николай II какое-то время обдумывал такую возможность, но после отказался от нее\*. Осенью 1915 года Россия осталась под влиянием партии войны. Для Центральных держав 1915 год стал самым успешным в военном отношении, но с политической точки зрения, кроме уменьшения военного давления на Австро-Венгрию, он ничего не принес<sup>26</sup>.

Что могло заставить царя Николая II продолжить войну после тяжелых поражений в боях с немцами? Множество факторов могли сыграть в этом свою роль, но решающим обстоятельством, вероятно, стала военная обстановка на русско-турецком фронте, которая складывалась достаточно благоприятно для русских и давала им основания надеяться на достижение в войне своих целей, к которым они безуспешно стремились в течение целого столетия. В первую очередь речь идет о контроле черноморских проливов, открывающих путь к Эгейскому морю. Такое положение представляло собой дополнительную проблему для немцев: недостаточно было нанести противнику поражение на его фронте, нужно было разбить его по всем фронтам, чтобы он утратил всякую надежду на хоть сколько-нибудь выгодный для него мир. В случае России такое не представлялось возможным, поскольку немцы свели воедино разные конфликты, происходящие в Европе и на ее периферии. Они оказались в ловушке выбранной ими *большой стратегии*, которая и привела к смешению отдельных конфликтов, а не их разделению.

\* Каких-либо документально подтвержденных данных о том, что Николай II действительно серьезно рассматривал вопрос о возможности заключения сепаратного мира с Германией, пока не опубликовано. Возможно, автор пользовался закрытыми источниками. — *Примеч. ред.*

В 1916 году Фалькенгайн задумал реализовать план, не сработавший в отношении России, во Франции: заставить противника нести настолько тяжелые потери, что либо окончательно уничтожит его морально, либо принудит его выйти из войны по политическим соображениям. К этому моменту Франция понесла гораздо большие потери, чем Германия\*, и этот урон имел огромное значение в свете резкого падения демографических показателей. Фалькенгайн сделал ставку именно на это: он планировал втянуть французскую армию в сражение на истощение, в результате которого из-за непомерно большого числа убитых и раненых армия либо распалась бы сама, либо была бы выведена из войны французскими политиками, стремящимися предотвратить развал своих вооруженных сил. В основе битвы при Вердене лежал именно такой план, но и здесь он потерпел неудачу: несмотря на то что французские потери при Вердене были значительно выше германских\*\*, ни армию, ни народ сломить не удалось. Вероятно, это было связано с той поддержкой, которую оказали им Британский экспедиционный корпус на реке Сомме и русское наступление на южном участке Восточного фронта. Во всяком случае, стратегия Фалькенгайна, состоявшая в том, чтобы принудить страны Антанты к мирным переговорам посредством ослабления одной из ее участниц, не была реализована. В августе 1916 года Фалькенгайн был смещен с должности.

Возможность реализации подобной стратегии с политической точки зрения, даже в случае успешного выступления

\* Скорее всего, автор имеет в виду, что баланс потерь во время боев французов с немцами был в пользу последних, поскольку общие потери немцев, сражавшихся не только с французами, были значительно выше. За годы войны Франция потеряла убитыми 1,3 млн человек, а Германия — более 2 млн. Преимущество Германия имела лишь при пересчете потерь на тысячу жителей: если она потеряла 31 человека на тысячу, то Франция — 34. — *Примеч. ред.*

\*\* Потери французской армии в Верденском сражении составили 337 тысяч человек, в т. ч. 162 тысяч убитыми, немцев — 337 тысяч человек, в т. ч. 143 тысячи убитыми. Это не дает возможности утверждать, что французские потери были «значительно выше», скорее, можно говорить о некоем паритете. — *Примеч. ред.*

Фалькенгайна против России или Франции, все равно остается под вопросом. Поскольку серьезная проблема заключалась именно в том, как можно было объяснить немецкому населению, понесшему такие большие потери, что военные победы, какими бы крупными и блестящими они ни были, не будут трансформированы в территориальные приобретения Германского рейха, а станут лишь фактором принуждения противника к мирным переговорам. В отличие от Фалькенгайна, Бетман-Гольвег неоднократно задумывался об этой проблеме, находясь под давлением множества аннексионных и экспансионистских требований, поступавших ему в виде меморандумов. Чем больше было военных успехов у немецкой армии, тем больше становилось надежд на победу и на трофеи, которые эта победа должна была принести. До самой своей отставки весной 1917 года рейхсканцлер так не нашел решения этой проблемы.

**Стирание границ войны:  
«распространение революционной заразы»  
и неограниченная подводная война**

Раскол или распад трех многонациональных, многоконфессиональных и многоязычных империй на Востоке во время Первой мировой войны перевернул политическую структуру этого пространства с ног на голову: последствия этих революционных изменений европейцы испытывают на себе и по сей день<sup>27</sup>. В контексте *политической* истории Первой мировой войны роль обеих сторон конфликта в революционной трансформации Центральной и Восточной Европы нельзя не принимать во внимание. Как правило, этот вопрос обсуждается только в рамках «Четырнадцати пунктов» президента США Вильсона; при этом упускается из виду тот факт, что поддержка национальных движений за независимость со стороны немецких политиков была спланированной военной хитростью, направленной на ослабление Великобритании и России, и что

этот маневр играл большую роль в планах 3-го Верховного командования сухопутных войск (ОНЛ), руководимого наследниками Фалькенгайна — Гинденбургом и Людендорфом. В случае Российской империи немцы ускорили приближение политической революции, одновременно выступив в качестве сдерживающей силы в том же процессе в Османской империи и таким образом воспрепятствовав планам России, Великобритании и Франции по разделу и освоению Ближнего Востока. Военные действия на Кавказе, в Месопотамии и Палестине, а также крупное сражение за контроль над морскими проливами, состоявшееся на полуострове Галлиполи, считаются в немецкой историографии недооцененными эпизодами Великой войны<sup>28</sup>.

Изначально политика «распространения революционной заразы» была частью оборонительной войны немцев. Она входила в сценарий предполагаемой войны на истощение, а при проведении молниеносной войны, предполагающей быстрое достижение победы, дело до нее в силу нехватки времени дойти было не должно. При этом в случае ведения войны на истощение военную оборону должно было дополнить политическое наступление — здесь Кольмар фон дер Гольц, самый талантливый среди немецких генералов представитель оборонительной концепции, исходил из того, что господство белого человека за пределами Европы подходит к концу, и хотел использовать это обстоятельство простив Антанты. Именно фон дер Гольц сразу после начала войны вынудил султана объявить джихад, что вызвало среди солдат-мусульман, воюющих в рядах британской и французской армий, ропот и нежелание воевать. Однако провозглашение священной войны мусульманами, ставшее первым этапом осуществления немецкой политики «распространения революционной заразы», не дало желаемого эффекта. Ни крупных восстаний, ни массовых отказов повиноваться командирам эта мера не вызвала.

Стратегия «распространения революционной заразы» также включала в себя поддержку национальных движений



за независимость путем поставок немецкого вооружения, как это было во время Пасхального восстания 1916 года в Ирландии, а также при подстрекательстве к восстанию финских, прибалтийских и польских частей, которые должны были бороться за независимость своих народов от России. Поначалу немецкая сторона вела себя довольно сдержанно в отношении второго этапа «распространения революционной заразы», ведь ее последствия в любой момент могли обернуться серьезными трудностями для союзной Австро-Венгрии.

Летом 1916 года в результате Брусиловского прорыва и вступления Румынии в войну на стороне Антанты положение Центральных держав значительно ухудшилось. В поисках стратегической альтернативы действовавшей концепции ведения войны новый дуэт, возглавлявший ОНЛ — Гинденбург и Людендорф — в свете провала планов Фалькенгайна, отчаяния решился на розыгрыш карты национальных революций. Австро-Венгрия более не являлась сдерживающим фактором для этой тактики, поскольку постепенно утратила свои позиции в качестве надежного союзника — такое отношение вполне соответствовало взглядам Людендорфа, у которого за время его нахождения на Восточном фронте (1914–1916) развилась глубокая неприязнь к австро-венгерской армии: союзник без конца обращался к Германии за помощью и сыпал упреками, если она не поступала немедленно. Таким образом, в ноябре 1916 года немецкий генерал-губернатор «Русской Польши» провозгласил в Варшавском замке создание самостоятельного Польского государства\* — правда, без четких границ и без правителя. Тем самым Людендорф преследовал цель создания подконтрольной армии Польши, с помощью которой он мог бы со временем сгладить отставание

\* Имеется в виду марионеточное Польское королевство, которое не имело собственной государственности и фактически находилось под управлением все той же германской военной администрации. Тем не менее формально бесправный Регентский совет (не имевший права выбора монарха) считался на этой территории высшим органом власти. — *Примеч. ред.*

Центральных держав в численности вооруженных сил. Одновременно этот шаг положил начало курсу на инициирование выхода всех возможных национальных меньшинств из состава Российской империи: от финнов на севере до украинцев и грузин на юге. После того как русский царь отклонил предложение сепаратного мира, с его империей нужно было бороться революционными методами. Чего нельзя было получить военными средствами, надо было добиваться политикой.

Выступление президента США Вудро Вильсона в поддержку права наций на самоопределение изначально стало лишь реакцией на политическое преимущество, которого немцы добились с помощью обещаний национальных свобод в Центральной и Восточной Европе. Союзники России Франция и Великобритания не заслуживали особого доверия в этом вопросе и не могли повлиять на ситуацию своими планами политического переустройства и разделения Ближнего Востока и Средней Азии на зоны влияния. И только Соединенные Штаты, присоединившиеся к войне довольно поздно и не участвовавшие в комбинациях, образуемых европейскими державами, смогли дать отпор немцам посредством новых обещаний.

Для дальнейшего развития событий решающим обстоятельством стало то, что немцы, находясь в условиях крайней нехватки времени, не могли рассчитывать на постепенное накапливание и активизацию национальных ценностей. Им нужно было как можно быстрее инициировать распад Российской империи. Такая возможность представилась благодаря революции, которая в феврале 1917 года положила конец царскому режиму и привела к власти в Петрограде буржуазное правительство. Однако новое правительство желало продолжения войны и не собиралось заключать сепаратный мир с Центральными державами: они чувствовали себя в долгу у западных держав Антанты и не хотели отказываться от добычи, которая после поражений Турции на Южном фронте становилась вполне реальной. В этой ситуации ОНЛ и германское министерство иностранных дел в сотрудниче-

стве с СДПГ решили переправить в Петроград лидера большевиков Ленина, томящегося в эмиграции в Цюрихе, а также ряд его сподвижников. Их доставили через Германию в Засниц-на-Рюгене, откуда на шведском пароме они отправились напрямиком в русскую столицу. Транспортировка лидера в немецком железнодорожном вагоне стала более чем дружественным жестом в адрес России: Ленин должен был пробудить в жителях России мирные настроения, а для пущей убедительности его речей его снабдили несколькими миллионами золотых марок, чтобы он мог превратить подпольную «Правду» в массовую газету<sup>29</sup>. Уже пытавшиеся сыграть в рамках своей стратегии «распространения революционной заразы» на джихаде и национализме, немцы на этот раз пустили в ход социал-революционную карту — и выиграли.

В результате к кардинальной трансформации политического устройства Центральной и Восточной Европы привели не столько «Четырнадцать пунктов» президента Вудро Вильсона, сколько политика загнанной в тупик Германской империи, неоднократно оказывавшейся по ходу войны на грани поражения. Поскольку в вопросе людских и материальных резервов у Германии не было шансов против Антанты, которая, по большому счету, могла использовать ресурсы всей планеты, а доблести немецких солдат и оперативного потенциала Генштаба было недостаточно для достижения решающего перевеса на поле боя, немецкий офицерский корпус, прежде считавшийся крайне консервативным, в этот раз решил сделать ставку на политическую стратегию, призванную разрушить существующие государственные структуры Центральной и Восточной Европы изнутри.

Вероятно, немцы были уверены, что смогут сохранить контроль над ситуацией и вернуть революционного джинна, выпущенного из бутылки для борьбы с врагом, на место после своей победы. С точки зрения всемирной истории также казалось, что немцы могли выиграть фактически уже проигранную войну: покуда Троцкий в надежде на скорую революцию в Берлине проводил в Брест-Литовске политику задер-

жек и проволочек, немцы начали свой завоевательный поход, не встретив сколько-нибудь заметного сопротивления: старая армия буквально растворилась<sup>30</sup>, а вооруженные силы большевиков были не способны на противостояние закаленным в боях немецким частям. Так в течение нескольких недель Белоруссия, Украина и часть Кавказа\* оказались в руках у немцев. Таким образом сложилась необъятная «Восточная империя»<sup>31</sup>, и ресурсы, доставшиеся государствам Центральной Европы, оказались достаточными для того, чтобы на долгое время избавиться от давления британской морской блокады на систему жизнеобеспечения населения и немецкую экономику.

В надежде военного разрешения ситуации на Западном фронте Гинденбург и Людендорф сделали ставку на высвободившиеся на Востоке военные части. Однако прорвать оборону противника не удалось, несмотря на крупный тактический успех в самом начале операции; руководство планировало разорвать фронт противника на границе между французскими и английскими участками фронта и выйти к побережью Ла-Манша, отрезав таким образом британские войска от их французских союзников. В июне 1918 года началось контрнаступление Антанты, в рядах войск которой к тому времени уже сражались американские соединения, и под давлением такого перевеса сил немецкие войска были вынуждены уступить. Финал истории известен: у Людендорфа случился нервный срыв, за которым последовала просьба о начале переговоров о перемирии, и вскоре — прекращение огня.

После того как шок от поражения несколько прошел, вновь проявилась проблема, над решением которой Бетман-Гольвег бесплодно раздумывал, правда, в немного других обстоятельствах: как объяснить то, что немцы, выигравшие множество сражений и до самого конца сражавшиеся на территории противника, смогли проиграть войну? Поэтому

\* Небольшой контингент немецких войск был введен в Грузию. — *Примеч. ред.*

вскоре после войны появилась «легенда о вероломном ударе в спину», предательски нанесенном «непобежденной на полях сражений армии» коварным тылом — женщинами и уклонистами-дезертирами, социалистами и евреями и всеми, кто еще мог подойти под описание «внутреннего врага». Политическая проблема, которую немцы не могли решить во время войны, теперь стала роковой неизбежностью.

Чтобы понять, как эта война превратилась в «прака-тастрофу XX века», необходимо проследить ее ход до самого конца, то есть до подписания в Версале, Сен-Жермене и Трианоне мирных договоров. Разбор хода боев первых месяцев войны вкупе с анализом событий предвоенных лет не дает полного представления о той разрушительной силе, с которой эта война обрушилась на «старушку Европу». Ее разрушило не только начало, но и сам ход войны.

### 3 Мифологизация жертвы и реальные смерти

Свой труд об истории культуры в период Великой войны канадский историк Модрис Экстейнс начинает с описания скандала, разразившегося на премьере балета Стравинского «Весна священная» (*Le Sacre du printemps*) в театре на Елисейских Полях<sup>1</sup>. Вечер 29 мая 1913 года, когда в Париже сторонники эстетического авангарда схлестнулись с приверженцами классицизма, у Экстейнса служит изображением парного тому, что в следующей, посвященной Берлину главе, автор называет «Августовским воодушевлением» (*Augusterlebnisses*): неистовое ликование немцев, сопровождавшее объявление войны России, патетическая речь императора, не признающего более никаких партий, кроме единого немецкого братства, и бурный энтузиазм, с которым полки отправлялись на фронт. Описание этих дней Экстейнс озаглавил как *Ver sacrum* — Весна священная, Весенняя жертва, — дополнив его размыш-

лениями историка Фридриха Мейнеке, высказанными им поздней осенью 1914 года: «Там, у реки Изер, где резервные полки молодых добровольцев устремлялись в атаку вперед, и была наша *Весна священная* [...] Их жертва стала священной для всей Германии»<sup>2</sup>. Жертвенное поведение добровольцев при Лангемарке, по мнению Мейнеке, обновило Германию и подарило ей новую жизнь. В семантике жертвы заключается грубый факт насильственной смерти.

Сопоставление *Весны священной* и «Августовского воодушевления» достигает кульминации в третьей главе книги Экстейнса, в описании сражения на полях Фландрии, где погибли тысячи немецких добровольцев — в Германии их смерть была оформлена в миф о добровольной жертве немецких юношей в битве при Лангемарке<sup>3</sup>. Именно этой теме посвящена фраза Мейнеке о *Весне священной* у реки Изер. Спустя год после театральной премьеры публичного жертвоприношения в Европе на полную мощь заработала машина смерти Великой войны — совсем скоро ее безжалостное шествие принесло гибель немецким юношам, и тогда стал вопрос о смысле этих смертей: что это было — обычное массовое убийство или жертва, какой ее видит Мейнеке, то есть акт спасения, в котором одни пошли на смерть ради жизни других? Дискуссию о значении смерти, а также о превращении смерти в жертвенность, а убитых — в жертвы Модрис Экстейнс начинает с обсуждения премьеры *Священной весны* Стравинского, состоявшейся вечером 29 мая 1913 года в Париже.

В своей книге «Танец Наташи», посвященной истории культуры России, историк Орландо Файджес подчеркивает особый интерес русской интеллигенции и представителей искусства начала XX века к историческим корням своей страны. Путешествуя к истокам истории, они натолкнулись на языческие жертвоприношения в честь славянского бога солнца Ярилы, который «воплощал собой идею апокалипсического огня, духовного обновления страны посредством ее разрушения»<sup>4</sup>. Именно на основе этого оправдания насилия и разрушения, выступающих как средства обновления и воз-

рождения, Файджес провел параллель между Стравинским и Великой войной. В то время как европейская агитация была направлена на вычеркивание войны и насилия из истории, возвращение к мифологии, которое в данном случае было обусловлено поиском русской самобытности в монгольских и скифских традициях, вернуло в политическое воображение европейцев веру в обновляющую функцию жертвоприношения. По мнению Файджеса, именно сюжет балета — спасение племени путем принесения в жертву девушки — связывает *Весну священную* с войной и революцией и превращает ее в художественно-эмоциональную прелюдию к европейскому «маршу смерти».

Теперь же против культурно-исторической идентификации предчувствий, предвосхищений и «исторических знаков»<sup>6</sup> возникает целый ряд методологических возражений, начиная от «выводов постфактум» и заканчивая ролью художника в качестве провидца, которому приписывается способность предвидеть развитие событий, ход которых нельзя предсказать с рациональной позиции. Более ранние историки исходили из того, что войны можно было избежать и что во время Июльского кризиса, сразу после убийства австрийского престолонаследника сербскими националистами\*, еще существовала возможность свести конфликт к австро-венгерской карательной акции, направленной против Белграда<sup>7</sup>. Случись оно так, дело не дошло бы ни до Третьей Балканской, ни до Первой мировой войны. Третья война на Балканах, как и предыдущие Балканские войны 1912 и 1913 годов, не нашла бы особого отклика у европейской интеллигенции и представителей искусства, поэтому такие произведения, как «Война» Альфреда Кубина, «Апокалипсический город» Людвиг Мейднера или стихотворение Георга Гейма «Война» не по-

\* Гаврило Принцип, убивший эрцгерцога Франца Фердинанда, был не просто сербом, а боснийским сербом и уроженцем Боснии, т. е. исторической области, на тот момент входившей в состав Австро-Венгрии, а также членом террористической левацкой организации «Млада Босния». — *Примеч. ред.*

зволили их авторам снискать славу провидцев, увидевших в непродолжительном локальном вооруженном конфликте предвестника грядущей катастрофы. Если принять доводы альтернативной истории и предположить, что Великой войны 1914–1918 годов могло не случиться, то картины Кубина и Мейднера, а также стихотворение Гейма и балет Стравинского сегодня воспринимались бы как отзвуки ушедшей эпохи военного насилия, несущего человеческие жертвы, как художественная реминисценция, отсроченная боль души художника, но только не как знак грядущей катастрофы.

Чтобы не выставлять историю культуры тайным хранителем знания о неизбежности войны, все спорные произведения искусства, в которых можно увидеть признаки предчувствия Первой мировой войны, следует интерпретировать в качестве индикаторов смены менталитета. Они указывают на то, что «мир вчерашний», с сентиментальной ностальгией описанный Стефаном Цвейгом<sup>8</sup>, не был таким уж прочным и надежным и что война не стала громом среди ясного неба, обрушившимся на безмятежный и гармоничный мир: в «мире вчерашнем» все кипело и бурлило, и механизм, угрожавший разрушить его, уже был приведен в действие. Если бы не война, то тот мир могла разрушить череда революций, и если бы революциям не удалось довершить начатое, то не исключено, что ряд восстаний привел бы к признанию женского равноправия и предоставлению гораздо больших политических и общественных возможностей низшим слоям общества. К тому же авангард, привнесенный новым поколением художников, наверняка подмял бы под себя эстетическое самосознание европейской буржуазии. В начале XX века Европа, несомненно, стояла на пороге новой эры, вот только было совершенно неясно, какой она должна была стать.

Вспышка насилия, вызванная войной, стала трагическим катализатором дальнейшего развития истории. На этот счет у мыслителей XX века имеются две противоположные точки зрения. С одной стороны, война, по выражению Джорджа Кеннана, рассматривается как «пракатастрофа XX века»<sup>9</sup>,



а с другой она является шагом к обновлению, независимо от того, что под этим обновлением подразумевается — рождение художественного авангарда, формирование либерального общества, основанного на индивидуальных свободах, или реализация коммунистических идей о всеобщем равенстве. «Долгий XIX век», который согласно классификации Эрика Хобсбаума начался с Французской революции и продолжался до самого начала Первой мировой войны, мог бы закончиться и без войны. На тот момент общество было пресыщено «миром вчерашним», и «Весна священная» Игоря Стравинского стала одной из форм, в которых эта пресыщенность смогла найти выражение. В свете появившегося на рубеже веков широкого увлечения мифологией древних племен, попытки этносоциологической расшифровки балета привели к пониманию жертвоприношения как кровавого обновления нации.

### **Возврат к насилию — от периферии к политическому центру**

Если вести историю XIX века не с момента Французской революции, а с окончания Наполеоновских войн и Венского конгресса, то можно сказать, что это было столетие относительного мира и вытеснения насилия из политических и общественных центров Европы<sup>10</sup>. Вырвавшись на свободу в ходе революционной народно-освободительной войны, своенравная Беллона<sup>11</sup> вновь была взята на короткий поводок. Проходившие в XIX веке войны за объединение Италии и Германии избежали риска свергнуть континент в водоворот насилия, и их исход решился в нескольких сражениях. Довольно продолжительные войны шли на периферии Европы — Крымская война — или на других континентах — гражданская война в США. В Европе тем временем происходил стабильный отказ от государственных и гражданских войн, и это стало предпосылкой для проявления невиданной доселе степени цивилизованности политики и урегулирования вопроса войны, достигнутых с помощью гу-

манитарных организаций, таких как Красный Крест, заключения международных договоров, например Гаагской конвенции, и наконец благодаря высокой договорной дисциплине европейских государств<sup>12</sup>. На тот момент были все основания полагать, что война навсегда исчезнет из истории Европы\*. Идея «вечного мира», широко распространенная во второй половине XVIII века<sup>13</sup>, становилась все более убедительной.

Французский социолог Огюст Конт в своем «Законе трех стадий» констатировал закат военной эпохи, на смену которой пришла эпоха научно-индустриального расцвета, где, по его мнению, «существование военного сословия и даже простая озабоченность военными вопросами ради обычной обороны, соответствующей мирному духу современного общества, стали бесполезны»<sup>14</sup>. Британский социолог Герберт Спенсер в своей универсальной теории эволюции также говорил о вытеснении военного общества промышленным, причем для первого типа общества, по его словам, характерно принуждение, а для второго — свобода выбора условий<sup>15</sup>. Не что подобное заявлял философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, описавший в своей «Феноменологии духа» крах надежд на признание тех господ, что предпочитают насилие, и дости-

\* Автор почему-то решил не упоминать довольно большое количество военных конфликтов в Европе в XIX веке, как то Бельгийско-голландская война 1831–1833 годов, Польское восстание 1830–1831 годов, во время которых велись регулярные военные действия, война Марии да Фонте 1846–1847 годов в Португалии, сопровождавшаяся вторжением испанских войск, Революция 1848 года во многих странах Европы, во время которой практиковалось на только широкомасштабное применение армии, но и в ряде случаев происходили регулярные военные действия (как, например, Венгерское восстание), Франко-прусская война 1870–1871 годов (которую нельзя отнести к войнам за объединение Германии, как австро-прусскую или датско-австро-прусскую войны), австро-итало-французская война 1858–1859 годов также лишь частично может быть отнесена к войнам за объединение Италии, поскольку Франция преследовала в ней свои собственные цели. Наконец, Турецкая война 1877–1878 годов — даже если автор считает необходимым исключить Россию из части европейских стран, то все же результатом войны стали серьезные изменения в Европе: провозглашение независимости Румынии, Сербии, Черногории, усиление Болгарии и т. д. — *Примеч. ред.*

жение трудящимся рабом «истины достоверности себя самого» в результатах своей же работы<sup>16</sup>. В то время как насилие приводит в экзистенциальный тупик, труд приближает к возможности преобразования мира и человека. В гегелевском описании раба содержится решительный отказ от аристократического идеала самопожертвования, образующего основу признания личности в человеке, ибо тому, кто сдается в борьбе со смертью, не осознать своего признания. Воинская честь для Гегеля не является успешным путем к признанию; скорее, она служит свидетельством краха<sup>17</sup>.

На рубеже веков европейское общество стало высказывать все больше сомнений относительно перспектив развития, решительно отвергающих насилие. Индикатором такого отношения стало пристальное внимание, которое привлек к себе французский социалист Жорж Сорель, утверждавший, что дальнейшее движение в сторону прогресса без насилия коррумпирует пролетариат как носителя признаков общественных изменений и приведет его к моральному разложению. Деградация буржуазии, которая, по словам Сореля, является результатом ее отказа от насилия, скоро перекинется и на рабочий класс, если тот не воспротивится этому всеми силами. Уже сейчас можно наблюдать, что «идеология запуганной и полной гуманистических идей буржуазии» превратила социализм в тупое ожидание прогресса. В своем сочинении «Размышления о насилии», написанном в 1906 году, Сорель говорит о «всего двух событиях, способных положить конец такой тенденции: крупная внешняя война, которая притормозила бы новые веяния [...]; либо резкое проявление насилия пролетариатом, демонстрирующее гражданам революционную реальность и внушающее отвращение к банальным проявлениям гуманности»<sup>18</sup>. Басня о всеобщей забастовке должна была вернуть социалистам силу для своей «битвы при Ватерлоо», а фантазии о пролетарском насилии были призваны повести рабочих в бой и защитить их от роковых иллюзий прогресса. Труды Сореля стали одним из первых индикаторов того, что представления о прогрессе более не формируют

вали ту историческую модель, на которую естественным образом все ориентировались.

Упорство Сореля в отношении насилия<sup>19</sup> тесно связано с его историко-философскими представлениями, согласно которым история развивается циклами, и после периода упадка новый подъем возможен лишь в том случае, если общество сначала переживает фундаментальное обновление. Это обновление, по словам Сореля, происходит в результате применения насилия. Именно возврат к представлению об исторических циклах и отказ от ожидания устойчивого прогресса могут кардинально изменить диапазон политических задач; по мнению Сореля, проблемы, с которыми сталкивается государственная политика, могут быть решены только с применением насилия.

По сути, такое понимание политической истории преобладало в античности и в эпоху Возрождения: в нем город или империя постепенно развивались, достигали своего расцвета, после которого поначалу медленно, а затем все быстрее начинали свое движение к упадку. По представлениям стоиков, политическое объединение могло по несколько раз проходить циклы подъема и спада, пока его силы не иссякали и оно не исчезало из истории либо не поглощалось мощным, еще не растратившим свои силы государством<sup>20</sup>. Решающим фактором для продолжения движения была способность вынырнуть из небытия истории, вновь собрать, аккумулировать свои силы, чтобы вступить в новый цикл развития. Как правило, «аккумуляция сил» сопровождалась вспышкой насилия в обществе — гражданской войной или кровавыми беспорядками, которые можно было интерпретировать в рамках циклической модели развития истории одновременно как дно цикла и как отправную точку для нового восхождения. Использование циклической модели позволяло преобразовывать постоянные вспышки гражданских войн в древних и средневековых государствах вплоть до Нового времени в индикаторы предстоящего подъема. Таким образом, бессмысленные на первый взгляд вещи обретали зна-

чение: разрушение превращалось в реставрацию, реальные жертвы становились мифическими персонажами, дававшими надежду на новое политическое начало.

Помимо проблемы преодоления низшей точки цикла, теория цикличности также постоянно возвращалась к вопросу о том, как долго город или царство может находиться на пике своего развития. Парадигматический ответ, приведенный римским историком Саллюстием в предисловии своего трактата «О заговоре Катилины»<sup>21</sup>, гласил: война против внешнего врага или, по крайней мере, существование одного заставляет быть постоянно настороже и использовать все свои силы, а значит, является гарантией могущества государства. Угроза войны, по его словам, препятствовала моральному разложению и распространению коррупции в обществе, а также приводила к тому, что граждан все больше занимали их собственные интересы, а не общее благо государства. Если гражданская война в нижней точке цикла служила фактором, форсирующим дальнейшее развитие событий, то война между государствами на пике подъема должна была выступать как ингибитор распада. В любом случае, именно война и насилие мобилизовывали и обновляли социально-моральные силы политического сообщества. Говоря о реабилитации насилия, Сорель ссылаясь именно на эти представления. То, что Конт и Спенсер считали прогрессом, а именно замещение милитаристского общества индустриальным, для него было не более чем самообманом относительно спада, низшей точкой которого должна была стать утрата импульса жизни — *élan vital*, как называл его представитель французской философии жизни Анри Бергсон<sup>22</sup>. Не кротость и миролюбие, а готовность к жестокости и склонность к насилию способствовали, по мнению Сореля, сохранению общественной нравственности, поддерживаемой расколом в обществе и борьбой между собой двух крупных классов общества.

Сорель был не единственным, кто видел в насилии мощное средство против упадка и деградации<sup>23</sup>. Начало в августе 1914 года военных действий породило в Германии боль-

шие надежды на целительное и спасительное влияние войны. «Война! В ней мы чувствовали очищение, освобождение, и еще небывалую надежду» — писал Томас Манн в своем сочинении «Мысли о войне»<sup>24</sup>. Очищение, освобождение — от чего? Манн не допускает сомнений: от мирного мира. «О, мы его знали, этот мир без войны, эту пляшущую канкан цивилизацию — [...] Жуткий мир, которого больше нет — или не будет, как только минует буря»<sup>25</sup>.

Однако, по мнению Томаса Манна, войну в 1914 году начали не солдаты, а торгаши<sup>26</sup>. Солдат знает, что такое война, и потому стремится избежать ее. Торгаш же хочет нажиться на войне и разжигает ее там, где ему это выгодно. «Торгашество разожгло ее [войну] безжалостно, кощунственно, ибо не знает о войне ничего, не чувствует ее и не понимает, да и как он может благоговеть пред ее священным ужасом?»<sup>27</sup> Эта фраза могла бы стать эпиграфом к очерку о войне, написанному историком-экономистом Вернером Зомбартом, в котором фигурируют и торгаши, и воины-герои: в лице первых были представлены англичане, вторых — немцы. Следует заранее отметить, что Зомбарт изобразил историю капитализма в виде цикличного процесса, в котором за бурным расцветом раннего капитализма, для которого характерны скорее отважные авантюристы, нежели благоразумные и расчетливые дельцы, следует развитой капитализм, вместе с которым повсюду распространяются капиталистические средства производства. Однако этот момент не вечен, за ним следует период позднего капитализма, который Зомбарт называет точкой «расслабления» и «накопления». В этот период центральную роль играют «жизненные» соображения<sup>28</sup>, и капитализм постоянно обновляется, но не за счет расчетливых торговцев, а благодаря отважным предпринимателям.

В военном эссе «Торгаши и герои» Зомбарт применил различные экономические подходы к сущности политики и военного дела: «Торгаш и герой: они образуют две главные противоположности, как бы два полюса для ориентации человека на земле. Торгаш, как мы видим, подходит к жизни с вопро-

сом: что ты, жизнь, можешь мне дать? Он хочет брать, хочет получать для себя как можно больше при как можно меньших затратах, хочет заключить с жизнью выгодную сделку; в результате: он беден. Герой вступает в жизнь с вопросом: что я могу дать тебе, жизнь? Он желает дарить, расточать себя, жертвовать собой — без отдачи; это значит: он богат»<sup>29</sup>. Там, где торгаши беспокоятся о своих доходах и имуществе, герои жертвуют собой ради своей страны — «того целого, что живет над нами, что продолжает существовать и без нас и против нашей воли»<sup>30</sup>. Так что торгош продолжает войну ради удовлетворения конкретных интересов, и лишь покуда она обещает ему выгоду. В отличие от него герой продолжает войну, потому что она представляется ему «величайшей нравственной силой, которая служит провиденью для того, чтобы уберечь людей, живущих на земле, от разложения и порчи»<sup>31</sup>. Только герой способен на самопожертвование, на спасительный поступок ради других, и только он чтит войну как «высочайшее средство, которое Бог использует в целях нашего воспитания и образования»<sup>32</sup>. Необходимость обновления общества, по мнению Зомбарта, формируется в ходе мировой истории, и даже торговцы в конце концов наживаются на существовании героев: да и вообще, торгаши могут выживать лишь там, где есть герои, и поэтому, как считает Зомбарт, героические народы гораздо ценнее торговеских наций. Обновление с помощью сакральной жертвы свойственно лишь герою.

Аргумент Зомбарта относительно героев соприкасается с сюжетом «Весны священной» Стравинского. В обоих случаях речь идет о жертвенности, и в обоих случаях жертва приносится ради выживания общества. В основе «Весны священной» лежит представление о тайнах природы, которые открываются с помощью пророчеств<sup>33</sup>. Очевидно, что эти пророчества основываются на годовом цикле времен года, и в частности на весеннем возрождении жизненного цикла после зимнего угасания. Этому пробуждению жизни посвящены игривые девичьи пляски, однако их танца недостаточно для возрождения природы и обновления общества. Одна из

дев должна быть принесена в жертву. В этой мифологической подоплеке земля заново обретает свое плодородие, лишь будучи орошенной кровью девственницы, а торжественность обряда превращает убийство девушки в жертвоприношение и придает ему характер сакрального действия. Миф и обрядность обуславливают трансформацию грубого и варварского акта, принимающего облик священного процесса, сакраментального послания, или даже сделки с богами и душами древних предков. Подобным образом общество, приносящее великую жертву ради своего обновления, разделяется на две противоположные группы: невинные девушки, из числа которых выбирается жертва, и седобородые старцы, принимающие эту жертву от лица духов древних предков и от имени бога солнца, Ярилы. Жизненный цикл природы, согласно мифологическим представлением, замыкается принесенной жертвой, и мать-земля примиряется с живущими на ней людьми. Конечно, этот акт не является героическим самопожертвованием — здесь жертву выбирает и убивает племя. Эстетика балета вуалирует жестокость события — танец преподносит происходящее убийство сквозь призму театрального действия, как игру. Но факт убийства, через который чья-то жизнь прерывается ради продолжения других жизней, остается. И это убийство не только примиряет природу с ее обитателями, но и заново укрепляет и обновляет всю структуру общества, «освящая» его на грядущий год.

### **Споры о сути жертвенности: компромисс или самоотверженность?**

В конце XIX века в Европе развился особый интерес к мифологии и обрядам первобытных обществ: толпы антропологов устремлялись в места обитаний индейцев Северной и Южной Америки, в Полинезию, в южную часть Тихого океана и в Африку для изучения жизни «примитивных обществ» с позиции «сочувствующего наблюдателя». Труды, написанные на



основе этих поездок, уже не изобиловали противопоставлениями «плохих» и «хороших» дикарей, характерными для эпохи раннего Просвещения, скорее они являли собой попытку описать быт общин и племен максимально объективно и непредвзято, не накладывая на них европейских мерок. И хотя с позиции сегодняшнего наблюдателя эти отчеты демонстрируют некий «колониальный» налет, работы Франца Боаса, Бронислава Малиновского и Джеймса Дж. Фрейзера позволяют поэтапно проследить то, как интерес европейцев к примитивным обществам, их быту и образу мышления обрел научный характер. Этнологи пользовались отточенной системой социологической методологии, а социологи сгорали от любопытства, мечтая заглянуть в истоки зарождения социального строя с помощью научных докладов этнографов и антропологов. Это было шагом к колыбели человеческого общества, дающим возможность исследовать правила общественного порядка того времени, не отягощенные моральными размышлениями. При этом в поле зрения ученых попали мифы и ритуалы жертвоприношений; в соответствии с установкой на объективность, их описания не носили характера огульного осуждения и не содержали упреков в варварстве, как это было в докладах XVI и XVII веков, посвященных народностям новооткрытой Америки. Изучение ранних форм человеческого сосуществования подкреплялось фактами из настоящего времени — как в балете Стравинского «Весна священная».

Примерно в тот момент, когда художник Николай Рерих внушал композитору Стравинскому, что ритуал освящения земли через принесение в жертву юной девы — обряд Весны священной — должен лечь в основу сюжета его нового балета, Зигмунд Фрейд изучал вопрос жертвоприношения и окружающих его ритуальных запретов, благодаря которым принесение жертвы обрело характер священного акта. Судя по подзаголовку его сочинения «Тотем и табу (*Некоторые со-ответствия душевной жизни дикарей и невротиков*)»<sup>34</sup>, Фрейд проявлял интерес к этнологическим исследованиям, пытаясь

проследить корни импульсивных желаний и фрустраций своих современников через изучение обрядов и мифов «дикарей». В рассуждениях Фрейда жертвоприношение становится описательно-ритуальным преодолением акта умерщвления, которое дает сообществу понять, что его неконтролируемое, самовольное повторение приведет к саморазрушению социальной группы. Убийство не должно повториться — для этого формируется система запретов и табу, а жертва обожествляется, превращаясь в тотем. Основой для этих размышлений служит воображаемый сюжет из жизни первобытного племени, где молодые мужчины, «орда братьев», восстали против вожака общины, «патриарха», и убили его. Вожак запрещал «братьям» сексуальное посягательство на женщин общины, сохраняя за собой монопольное право на общение с ними<sup>35</sup>. Восстание сексуально неудовлетворенных мужчин завершилось убийством вожака и последовавшим за ним безобразной оргией. Но вскоре после этого среди членов племени распространился страх, что смерть, постигшая старого развратника, может настичь каждого: открытая конкуренция за женщин общины проложила дорожку насилию, и в результате никто более не мог чувствовать себя в безопасности, любую минуту рискуя погибнуть от коварного удара соперника. Такой риск был взят под контроль системой правил и запретов, в которой все запреты были объявлены «священными», то есть нарушать их было нельзя ни при каких обстоятельствах. Запрет на эндогамию и, соответственно, требование экзогамии (то есть предписание искать партнера за пределами своей социальной группы), а также обожествление убитого вожака впоследствии стали механизмами, созданными для недопущения насилия, ворвавшегося в общество во время безудержной оргии. Миф превратил убитого «патриарха» в священную жертву, а цикличность ритуального жертвоприношения подтверждала преданность сообщества своим требованиям и запретам. Превращение реальной жертвы в мифологическую, с точки зрения Фрейда, представляло собой интеллектуальную трансформацию, направленную на социальное усмире-

ние. Жертвоприношение стало изобразительным преодолением убийства, произошедшего в сообществе и рискующего в любой момент повториться.

Мысль о стабилизирующей общество функции жертвоприношения также встречается у французских религиозных философов и социологов, изучавших практику жертвоприношений в последующие десятилетия, и среди них наиболее важными и знаменитыми были Роже Кайуа, Жорж Батай и Рене Жирар<sup>36</sup>. В отличие от Фрейда для них предметом изучения было не содержание исторического события, а ритуальное оформление жертвоприношения и его цикличность. В то время как анализ Фрейда служил для осознания прошлого, которое он стремился внедрить в настоящее, Кайуа и Батай, к примеру, исследовали прошлое, чтобы попытаться создать альтернативную модель настоящего. Между интересом Фрейда к жертвоприношению, движимым духом просвещения, вместе с музыкально-танцевальной интерпретацией жертвоприношения в балете Стравинского «Весна священная», проникнутом мифическими мотивами, и религиозно-теоретическим анализом жертвоприношения лежит опыт двух крупных войн в Европе, революции и гражданской войны в России, а также политика грандиозных чисток и истребления европейских евреев — этот период можно назвать эпохой радикального перевоплощения жертвоприношения и его трансформации в массовое убийство людей без какого-либо ритуального оформления и мифологической торжественности<sup>37</sup>. Однако для этого периода стало характерным наличие символично-политического проекта, поддерживаемого всеми участниками Первой мировой войны, а именно — наделение *голого факта* о миллионах смертей глубоким смыслом и святостью: эти смерти должны были преподноситься в качестве героического самопожертвования, а память поддерживаться ежегодными торжествами<sup>38</sup>. В таких условиях толкование реального убийства как однократного процесса, а бесконечной череды настоящих убийств — как памятный ритуал, как это делал Фрейд, выглядело неубедительным. Жертвоприноше-

ние совершалось вновь и вновь в виде тысячи тысяч реальных убийств. Складывалось ощущение, что обществу недостаточно памятных ритуалов для того, чтобы преобразиться, — ему были необходимы реальные убийства, которые всегда предполагались религиозными теоретиками, изучавшими обряды жертвоприношений в древних обществах<sup>39</sup>. Таким образом Стравинский взял верх над Фрейдом, а «Весна священная» — над «Тотемом и табу». Фрейд замкнулся на своем стремлении к просвещению, в то время как религиозные теоретики уже не ориентировались на эту традицию.

Кайуа рассматривает акт жертвоприношения как часть праздника, которое производит впечатление расточительного торжества и одновременно события, вызывающего радикальный переворот общественного уклада<sup>40</sup>. Распутство и вседозволенность превращают праздник в некий временной период, когда не только отменяются обычные правила и запреты, но и преступления становятся нормой: воровство и невоздержанность буквально вменяются в обязанность, и тот, кто отказывает себе в нарушении табу на сексуальное общение с партнером, в обычных условиях ему недоступным, не вписывается в драматургию праздника<sup>41</sup>. В основе этого лежит идея разрушения существующего порядка, в которой для его обновления необходимо такое ритуальное очищение<sup>42</sup>. По мнению Кайуа, этот праздник представляет собой «возвращение к первобытному времени», сулящее надежду на обновление «мира, находящегося под угрозой исчезновения», является тем самым «возрождением, погружением в вездесущую вечность, в источник молодости»<sup>43</sup>. Для реализации этого жизненно важного процесса необходимо было чрезмерное насилие. Возвращение в Золотой век, в «Царство Сатурна или Кроноса, без войны, торговли, рабства и частной собственности», было невозможно без человеческих жертв. «Сатурналии всегда требовали человеческих жертв, ибо сам Кронос поглотил своих детей»<sup>44</sup>. Очищение происходило с помощью «изгнания или убийства козла отпущения», или также за счет низложения, остракизма и принесения в жертву символического

представителя вождя, избираемого на время праздника<sup>45</sup>. Для Кайуа жертвоприношения являются частью ежегодно повторяющегося праздника, в котором происходит необходимое обществу социальное омоложение и обновление; насилие, участвующее в этом процессе, имеет форму ритуала. Жертвоприношение является сублимацией насилия, регулируемым актом бесчинства, и это бесчинство выступает обязательным условием, обеспечивающим возможность безропотного соблюдения «нормы» на протяжении всего года, до следующего торжества. Регулируемое насилие в форме жертвоприношения «усмиряет» общество на всю оставшуюся часть года. Кровь, пролитая во время торжества, компенсирует отсутствие кровопролития в остальное время года. Насилие, происходящее в ритуальном действе, оправдывается дальнейшим отсутствием насилия.

Иным был подход у религиозного философа Рене Жирара, который отчасти разделял соображения Фрейда и представлял жертвоприношение как варварский процесс, называя его «линчеванием»<sup>46</sup>. Ритуал снимает любые ограничения, обнажая неприкрытую жажду убийства. По мнению Жирара, обряд должен всеми силами препятствовать убийству, а ни в коем случае не совершать его, пусть даже в рамках осмысленного ритуала. Убийство, обставленное в виде жертвоприношения, является кульминацией глубокого общественного кризиса, который уже нельзя преодолеть обычными доступными средствами. Обычных практик жертвоприношений уже недостаточно для того, чтобы справиться с этим кризисом. Он все глубже вгрызается в общество и в конечном счете приводит к спонтанной вспышке насилия, жертвами которого становятся представители элиты, а иногда еще и социальные отщепенцы. Эдип, которого теория Жирара, посвященная кризису жертвоприношения и проявлениям насилия, приводит в качестве примера, является представителем обеих групп: он и король Фив, и калека, отмеченный физическими недостатками как жертва предстоящего акта жертвоприношения<sup>47</sup>. Двойное значение понятия жертвы, вмещающее в себя

одновременно процесс жертвоприношения — *sacrificium* и саму жертву-мученика — *victima*, обнажает основную трансформацию, происходящую в процессе жертвоприношения: изгнанный толпой, а значит, принесенный в жертву Эдип превращается в мифологии в короля-мученика, который посредством своей жертвы спасает общество и восстанавливает порядок. Принесение в жертву человека служит практикой, необходимой для преодоления чрезвычайной ситуации; оно позволяет впоследствии вернуться к привычному опыту принесения в жертву животных<sup>48</sup>. Мифы и ритуалы являются связующим звеном между страхом перед жертвенным кризисом и проявлением насилия как способа преодоления этого кризиса и преобразуют постоянную угрозу вымирания в некий фундаментальный акт, который состоялся однажды, но более повторяться не должен. Ритуальные обновления общества являются социальной практикой, призванной не допустить повторения кризиса и насилия. Изначально предполагается, что ритуальная жертва позволяет избежать жертв реальных. То, что Жирар понимает под жертвоприношением, — это не изобразительное воспроизведение, а повествовательно-мифическое преодоление некогда совершенного поступка. Жертвенность трансформируется в жертвоприношение во избежание повторения. Воспроизведение жертвоприношения не допускает синдрома его навязчивого повторения.

Еще одна теория, посвященная теме жертвоприношения, была разработана Жоржем Батаем. Как и Кайуа, Батай объединяет праздник и жертвоприношение в единое целое; жертвоприношение, понимаемое Батаем как расточительное торжество, отличает праздник от будней. Для Батая праздник является не просто периодом восстановления и отдыха от повседневной жизни, а скорее ее крайней противоположностью. На празднике безрассудство берет верх над рациональностью, сакральное — над светским, мотовство — над бережливостью<sup>49</sup>. Праздник жертвоприношения образует центральный элемент экономики, в которой принципы дележа и расточительства доминируют над основами созидания

и накопления, а наслаждение текущим моментом господствует над страхом мимолетности бытия. В данном убеждении Батай отступает от гегелевских взглядов, изложенных в «Феноменологии» в главе о господине и рабе: Батай упрекал Гегеля в том<sup>50</sup>, что тот путал безрассудство и власть, помещая в центр внимания общественное признание, то есть радость от достигнутого результата вместо удовольствия и похоти. Против гегелевской «буржуазной» теории о предотвращении жертвоприношений и поощрении избегающего жертвоприношения раба в качестве единственного, кто успешно выдержал битву за признание и достиг «истины достоверности себя самого», Батай выдвигает консервативно-анархическую теорию общества, в котором жертвоприношение служит для того, чтобы защитить человека от попадания во «власть вещей»: расточительство в обряде жертвоприношения демонстрирует отход от поклонения материальным ценностям. В то же время этот ритуал выступает в качестве реабилитации насилия как неотъемлемого элемента общественного порядка, и отказа от работы как от ключевой категории общественного развития и человеческого самоутверждения. Анализ работ Батая позволяет понять, почему многие сторонники войны 1914 года воспринимали войну как покушение на капитализм.

Полную противоположность убеждениям Батая, рассматривавшего жертвоприношение как попытку освобождения от власти вещей, представляют собой теоретические размышления Марселя Мосса, а также Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно, которые видели в жертвоприношении форму неосознанного товарообмена и тем самым констатировали наличие рыночного общества там, где оно еще таковым не казалось. Трактую жертвоприношение как средство завоевания «уважения и доверия», Мосс делал его частью системы товарообмена<sup>51</sup>, лишая обряд сакральности. Таким образом, жертвоприношение представляется не как отход от повседневности, а как ее продолжение в более возвышенной форме. Более четко эта мысль сформулирована в «Диалектике Просвещения» Хоркхаймера и Адорно: «И если обмен является секуля-

ризацией жертвы, то последняя сама оказывается уже чем-то вроде магической схемы рационального обмена, неким мероприятием человека, имеющим своей целью порабощение богов, которые ниспроверяются именно системой выказываемых им почестей»<sup>52</sup>. Для Хоркхаймера и Адорно жертвоприношение, таким образом, не является обратной стороной товарно-обменного общества, оно лишь одно из его непонятых заготовок. Их противники, «новомодные иррационалисты»<sup>53</sup>, обманывались тем обстоятельством, что «практика жертвоприношения имеет более длительную историю, чем ее сама по себе уже неистинная, то есть партикулярно рациональная необходимость»<sup>54</sup>. Такая необходимость для Хоркхаймера и Адорно заключалась, например, в поедании человеческой плоти представителя своей же общины или военнопленного в условиях острой нехватки продовольствия. В этом смысле принесение в жертву девушек в «Весне священной» является полным самообманом, в котором самоотречение коллектива компенсирует возможность управления силами природы. Красота танца, во время которого в балете Стравинского происходит жертвоприношение, несет функцию эстетического сокрытия насилия, лежащего в основе общества.

В то время как Хоркхаймер и Адорно, несмотря на всю критику парадигмы «власти над силами природы», отстаивали необходимость этого контроля природы для общества, Батай утверждал систему «социального контроля», в которой не допускалось, чтобы результат труда обретал власть над человеком. Для Батая интерпретация жертвоприношения как неосознанного товарообмена является выражением утилитарного мышления, в котором типичное для буржуазного общества «господство вещей» распространялось даже на его окружение. Батай противопоставляет буржуазный мир обладания собственностью архаичному обществу, где отданное имущество является не потерей, а условием преумножения достоинства дарителя. Буржуазное мышление осуждало великодушие, называя его крайностью, и потому предостерегало дарителя от саморазрушения. Таким образом, место безрассудства за-



няло господство материальных ценностей<sup>55</sup>. Вещи надевают на человека оковы, приземляя его и накрепко привязывая к понятию собственности и осознанию земного срока жизни. Праздник, напротив, представляет собой некое освобождение, в котором важным становится не продолжительность жизни, а сама жизнь в каждый конкретный момент<sup>56</sup>. Для Батая человеческая жертва представляет собой максимально радикальный протест против господства пользы. То, что действительно могло бы стать полезным — например, военнопленные, на которых можно было бы возложить работу господина, — приносится в жертву без малейшего колебания. В жертвоприношении тенденция раздела сообщества на классы, а также забота об увеличении полезности более не имеют значения — вакханалия изобилия возвращает к оказавшемуся под угрозой равенству. То, что Вернер Зомбарт рассматривал как противопоставление торгашей и героев, для Батая представляется антитезой гражданского и архаичного обществ, и для него, как и для Зомбарта, периодические акты осмысленного избавления от имущества являются истинным богатством. Батай не оправдывает войну, но, благодаря характерной для него семантике военной жертвы, он почти близок к этому. Теорию Батая о жертвоприношениях в результате можно рассматривать как серьезную попытку увидеть в миллионе погибших в Первой мировой войне не бессмысленные человеческие жертвы, а прославленных мучеников.

### **Война и образ героического жертвоприношения**

Батай соглашается с тем, что война обладает родственным, или хотя бы смежным смыслом с праздником, но в то же время он настаивает на противопоставлении *последствий* войны *последствиям* праздника. Разрушительная сила в войне, в отличие от праздника, направлена не внутрь, а наружу; в войне появляются пленные, и возникает образ «прославленно-

го победителя», претендующего на статус святыни. Сияние нимба, в котором появляется воин, на самом деле обманчиво, поскольку он все равно остается во власти мира пользы и материальных ценностей<sup>57</sup>. Для Батая структура праздника обращается в войне в свою противоположность: если кульминацией освобождения становилось убийство правителя, принесение в жертву властителя, то в войне правитель противится необходимости своего убийства, направляя внешнее насилие на свою защиту<sup>58</sup>. Освобожденному обществу таким образом открывается перспектива построения империи, и циклически повторяемая форма самоотречения сменяется практикой насильственного самообогащения. В отличие от Зомбарта, с которым в остальном Батай довольно близок, он отказывается возводить практику ведения боевых действий в статус жертвоприношения. Война — это не суррогат, а обратная сторона праздника, и при переносе *понятия* жертвоприношения от праздника к войне *функция* жертвоприношения не переносится вместе с ним. В войне речь не может идти о жертвоприношении. Батай хоть и воздает почести жертвам войны, но все ж отрицает, что их смерть является вкладом в социально-нравственное обновление общества — она напрасна.

Для Кайуа все выглядит иначе: если праздник служит отрывом от будней, отходом от повседневности, то война для него — «пароксизм современного общества»<sup>59</sup>. Различия между праздником и войной, которые также формулирует Кайуа, маргинальны по сравнению с их сходством: «они оба открывают собой период повышенной социализации, тотального обобществления орудий, ресурсов и сил; они прерывают собой время, когда индивиды действуют каждый сам по себе, во множестве разнообразных областей. Поэтому в современном обществе война представляет собой уникальный момент концентрации и интенсивного поглощения группой всех тех элементов, которые обычно стараются сохранять по отношению к ней известную дистанцию и независимость»<sup>60</sup>. Сорель и Томас Манн также разделяли это толкование. По словам

Кайуа, кровавая бойня войны имеет «силу омолаживающего источника», ибо она является отходом от состояния, в котором человек «коснеет в постыдном покое, стремясь к самому низменному идеалу — к безопасной жизни собственника»<sup>61</sup>. Для Кайуа война является продолжением праздника, но лишь другими средствами.

Пьер Кластр в своей «Археологии насилия» пошел еще дальше, проведя не только феноменологическую, но и функциональную параллель между войной и праздником: если в анализе Батая задача праздника заключалась в том, чтобы обратить процессы социальной дифференциации посредством некоего «потлача»\*, то в примитивных обществах Кластр приписывал эту функцию войне: война блокирует развитие, которое рано или поздно должно привести к упразднению старого порядка; она является элементом консервирования, «основным средством, которое первобытные общества используют для предотвращения социальных изменений»<sup>62</sup>. Если мужчины в присвоении имущества предпочитают честному обмену, то есть добровольному распределению благ, войну, если воруют женщин, вместо того чтобы их обменивать, то значит, в этом они следуют логике самосохранения, характерной для примитивных обществ. Там же, где они, напротив, практикуют обмен женщинами, происходит основание и укрепление союзов, и для Кластра это означает, что на смену насилию в отношении противника приходят рыночные отношения<sup>63</sup>. Война в качестве регулировочной системы приходит на смену празднику. Для Кластра война представляет собой практику убийств и жертвоприношений, ритуальный аспект которых имеет гораздо меньше ограничений, чем праздник. На празднике происходит тщательный подбор жертвы, на войне нет. Следуя образу мысли Кластра, можно предположить, что «Весна священная» Стравинского за целый год до начала великого смертоубийства стала художе-

\* Традиционная индейская церемония демонстративного обмена дарами. — *Примеч. пер.*

ственным указанием на альтернативу, в которой с меньшим усилием можно было бы достичь того же результата: остановить захватнические импульсы, внося в общество дух расточительства. Но преобладание утилитарного мышления, по логике Кластра, уже было настолько велико, что свергнуть его с помощью театрализованного воспоминания о мифологическом преступлении было невозможно. Для этого нужна была война, а значит, вместо нескольких ритуальных жертв требовалось огромное количество реальных погибших, которые затем в ходе коллективного переосмысления перевоплотились бы в мифологические жертвы.

Интерес французских ученых к теме жертвоприношения и его социальной функции можно было бы объяснить огромными потерями французов в Первой мировой войне, на тысячи мобилизованных превосходившие в немецкие потери; жертвы англичан превосходили немецкий урон более чем в два раза<sup>\*64</sup>. Возможно, за исключением Сербии, где к военному ущербу добавились серьезные эпидемии, Франция стала лидером по количеству «жертв войны», и из всех участвующих в войне держав именно она приложила больше всего усилий, чтобы превратить реальных погибших воинов в сакральные жертвы, давая своей нации возможность самоутвердиться. Тем самым Батай, Кайуа и Жирар являются полной противоположностью Зореля; в то время как он прославлял насилие и представлял его как необходимое условие для самоутверждения человека, восстающего против власти вещей, они наделяли этой задачей не само насилие, а его ритуальное исполнение. Таким образом, восстановительная функция насилия заключается не в совершении акта, а в его изобразительном

\* Подобное сравнение не основано на документальных данных. Общие потери стран Антанты составили 5,6 млн человек, а Центральных держав — 4,45 млн, при том что наибольшие потери в абсолютных числах понесла Германия — 2 млн человек против около 1,3 млн у французов и 700 тысяч у англичан. На каждую тысячу мобилизованных в Германии были потеряны 154 человека (на каждую тысячу жителей — 31 человек), во Франции — 168 и 34 человека, в Великобритании — 125 и 16 человек соответственно. — *Примеч. ред.*

преподнесении. «Весна священная» Стравинского предстает связующим звеном между оправданием насилия, предлагаемым Зорелем, и сокрушенным принятием его последствий с точки зрения французских религиозных теоретиков.

#### 4 Первая мировая война и конец буржуазного мира

Первая мировая война положила конец привилегии буржуазных взглядов как в вопросах культуры, так и в отношении дальнейших политических изменений; она поставила под серьезное сомнение общественную и политическую прерогативу буржуазии на толкования, сформировавшуюся в XIX веке. При этом первостепенное значение отводилось толкованию политических процессов, ибо они имели большие последствия для дальнейшего развития немецкой истории. Война же имела эти далеко идущие последствия, пожалуй, лишь потому, что буржуазный средний класс, особенно в Германии, осознавал эту войну как *свою*<sup>1</sup>.

В данном случае ведущую роль сыграли два фактора: война длилась гораздо дольше, чем ожидалось изначально, и произвела все более глубокие изменения в структуре и менталитете общества<sup>2</sup>, и это в равной мере касалось всех участвующих в войне держав. К тому же война не принесла ни одной из стран-участниц триумфальной победы, на которую каждая из них рассчитывала; конечно, это было особенно ощутимо для проигравшей стороны, но, хоть и в меньшем масштабе, это также отразилось и на странах-победительницах, поскольку к концу войны ни одна из них не могла конвертировать военную победу в политическое влияние или экономическое процветание. В результате во всех странах Европы, участвовавших в войне, буржуазный мир оказался под ударом. Отсюда вопрос: почему буржуазия с таким энтузиазмом приветствовала войну в 1914 году и так уверенно считала ее «своей»?

**Республика и либерализм:  
две конкурирующих  
политических модели**

ЧАСТЬ I

С конца XVIII столетия за пределами монарших полномочий, ограниченных конституцией, или, по крайней мере, номинально ограниченных, продолжались споры о том, какими должны быть предпосылки наделения жителей страны полными гражданскими правами: или это *земельная собственность*, то есть владение недвижимостью, накрепко привязывавшее собственника к своему государству (это была преимущественно консервативная позиция, распространена в основном в кругах дворян-землевладельцев); или это *собственность* в целом, недвижная или движимая, заставлявшая человека самостоятельно обеспечивать себя, не попадая в зависимость от другого человека (эта позиция была распространена преимущественно в кругах либеральной буржуазии, которая пользовалась политическими правами, но не была заинтересована в том, чтобы эти права распространялись еще на кого-либо); или *готовность при необходимости «телом и духом» встать за свое Отечество и его территориальную целостность*, что, в принципе, было доступно любому мужчине и превращало его из бесправного подданного в гражданина (это была республиканско-демократическая позиция, сторонники которой прежде всего относились к мелкой буржуазии и маргинальным слоям).

Разная оценка военного положения неизбежно была связана с расхождениями консервативно-землевладельческих, либеральных и республиканско-демократических взглядов полноправного городского дворянства. Очевидно, республиканцы больше всех остальных поддерживали идею всеобщей воинской повинности, и при этом их даже не пугала опасность войны, случись она вдруг. С их точки зрения, война давала возможность преодоления существующих или последующих ограничений в гражданских правах и перехода

из разряда «членов государства», как это называлось у Канта, в категорию «граждан»<sup>3</sup>. Либералы, напротив, реагировали на возможную войну гораздо более сдержанно, поскольку в этом случае они видели угрозу отвечавшей их интересам взаимосвязи гражданского права и собственности, которая исходила с двух сторон: со стороны поместного дворянства, состоявшего в Пруссии, а также в других немецких государствах из офицеров\*, которые открыто презирали всех тех, кто не смог сделать себе имени на полях сражения, и со стороны простых солдат, которые «телом и духом» отстаивали Отечество и потому могли претендовать на те же политические права, что имели они — обладатели имущества или средств производства. Исходя из своих «объективных» политических интересов, немецкая буржуазия не могла быть заинтересована в большой войне.

Таким образом, конституционно-политические дискуссии в Европе XIX столетия вращались вокруг этих моделей получения полных гражданских прав, причем буржуазия колебалась между либерализмом и республиканской позицией. Главенству дворянства в Германии и одновременно в Пруссии противостоял единый союз либералов, республиканцев и, соответственно, демократов. Консерваторы же, наоборот, стремились к тому, чтобы держать либералов подальше от республиканцев и демократов, предоставляя состоятельной буржуазии привилегии при отбывании военной службы<sup>4</sup>, — в остальном они также старались особенно не расходовать потенциал военнообязанных граждан, набирая основную массу солдат в деревне, а не в больших городах. В результате к началу Первой мировой войны в Германской империи лишь чуть более 50 процентов военнообязанных получили военное образование, в то время как во Франции этот показатель находился на отметке более чем 80<sup>5</sup>. Прусское воен-

\* Принцип формирования поместного дворянства в Пруссии (восточно-прусское юнкерство) и других германских государствах, а также его роль в вооруженных силах очень сильно отличались, и ставить между ними знак тождества, как это делает автор, нельзя. — *Примеч. ред.*

ное министерство старалось ограничивать количество офицеров-недворян в кадровой армии и следило за тем, чтобы социал-демократам не удалось проникнуть в унтер-офицерский состав. Руководство министерства опасалось, что в противном случае армия перестанет быть удобным инструментом в решении вопросов внутренней политики.

В тот момент, когда, уже сразу после начала войны, стало понятно, что Германская империя не сможет вести эту войну, не объявив массовой мобилизации, имелось достаточно оснований для того, чтобы в первую очередь именно мелкая буржуазия взялась за оружие. Давняя мечта буржуазии — доказать дворянству на его собственной территории, что оно ему равня, — сплелась с националистическим представлением об обязанности бороться с «врагами Отечества»; из всего этого формировалось представление о героическом обществе, в котором каждый был обязан «телом и духом» защищать свое Отечество. Традиция Французской революции и народного ополчения — *Levée en masse* — стали главным стимулом для этой мнимой героизации в остальном довольно негероического гражданина, в результате чего летом 1914 года европейское общество повело себя совсем иначе, чем это предполагалось Иммануилом Кантом в его сочинении о мире. Историк и философ Хайнц Дитер Киттштейнер предложил для описания того периода понятие «героического модерна»<sup>6</sup>. Идея защиты Отечества, породившая претензии на равные политические права, распространилась настолько далеко, что достигла социал-демократических кругов. Большинство представителей фракции и правления партии СДПГ считали, что если защита Отечества сулила возможность обретения равных политических прав, то уступать этот статус героя одной лишь буржуазии было бы неразумным. То, что сегодня кажется поведением леммингов, устремляющихся в пропасть, к смертельному падению, в самом начале войны в глазах многих выглядело как крайне рациональное поведение ради долгосрочных политических интересов.



## Буржуазия и идея жертвенности

Понятие жертвенности, как уже говорилось ранее, можно рассматривать в разных значениях: можно понимать его с точки зрения мученичества, то есть принесения в жертву какому-то непреодолимому и неизбежному явлению, а также представлять в аспекте активного воздействия на ход событий посредством добровольного и героического самопожертвования — некоего спасительного поступка. В первом случае речь идет о *мученическом* аспекте термина, а во втором — о *героическом* понимании принесения жертвы. И то и другое, конечно, не отражает особенностей самого процесса, а скорее представляет собой интерпретации, которые в одном случае создают смысл, а в другом отрицают его, по крайней мере, ставят под сомнение целесообразность самого действия<sup>7</sup>.

Для продолжительных войн, как правило, характерно то, что настрой солдат и населения превращается из героического в мученический, и в дальнейшем приходится прикладывать невероятные усилия для того, чтобы обратить такую смену настроения вспять. Военные сводки о победах и констатация потерь также играют такую же важную роль, что и первоначальные ожидания относительно продолжительности войны и ее результатов<sup>8</sup>. Исход войны во многом зависит от того, какой настрой одержит верх — героический или все-таки мученический. Политическая верхушка воюющего государства старается сохранить моральную выдержку и стойкость армии и гражданского населения с помощью цензуры и пропаганды — в сообщениях собственные успехи преувеличиваются, а достижения противника принижаются. В «кабинетных войнах» XVIII века такие усилия ограничивались официальным заявлением властителя страны и его министров; в XIX веке, в связи с широким распространением прессы, удерживать контроль над информацией становилось все сложнее, однако оповещение граждан пока еще оставалось под контролем правительственного аппарата. Во время Первой мировой войны нужны были иные методы:

чтобы сохранить перевес героического настроения над мученическим, требовалась самомобилизация общества и его готовность к самопожертвованию, но это было невозможным без решительного участия среднего класса. Явление, позднее получившее в Германии название «августовского подъема» (*Augusterlebnis*) 1914 года, можно было охарактеризовать как торжество самопожертвования, обязывающее к героическому, а не мученическому пониманию жертвенности.

При этом во всех странах буржуазия играла ключевую роль — можно сказать, что устойчивость страны в условиях военного времени зависела от способности среднего класса найти для себя смысл в социальной самомобилизации и тем самым преобразовывать мученические настроения в дух героического самопожертвования. При этом положение на фронте было одним фактором, а наличие уверенности в победе, воли к борьбе и нежеланию сдаваться или подчиняться противнику — другим. Оба этих фактора влияли друг на друга, и осенью 1916 года, а также зимой 1916–1917 годов это можно было наблюдать и в России: после того как победоносные сводки с фронта прекратились, в аристократических и буржуазных кругах формально сохранилась воля к победе — царь, обвиненный в слишком нерешительном ведении войны и, учитывая немецкое происхождение его супруги, чуть ли не в союзнничестве с врагом, был смещен, и власть перешла к Временному правительству, намеревавшемуся привести Россию к победе\*. Однако во время летнего наступления 1917 года солдаты-крестьяне наконец осознали, что стали беспомощной жертвой политики, проводимой дале-

\* Автор слишком вольно обращается с историческими фактами для подтверждения собственной теории. Заявления о том, что царь мешает победе (не говоря уже о «союзнничестве с врагом») были не более чем пропагандистскими лозунгами, направленными на оправдание захвата власти: в данном случае автор сознательно меняет местами причину и следствие. Процесс стремительного разложения армии начался не во время Июньского наступления 1917 года, а значительно раньше — еще в конце февраля, с принятием Приказа № 1 Петросовета. — *Примеч. ред.*

ко не в их интересах, и стали массово покидать войска<sup>10</sup>, тем самым открыв путь большевистскому перевороту; результатом стал выход России из войны против европейских держав.

Несмотря на огромное превосходство Антанты в имеющихся ресурсах и явную беспомощность своих союзников, Германскому рейху удалось выдержать более четырех лет войны не только благодаря ускоренному тактическому обучению военных частей, но и вследствие формирования сплоченного военного тыла, присягнувшего «наследию павших» и тем самым обязавшегося во что бы то ни стало продолжать войну; среди населения раз за разом распространялись призывы к победе, к готовности отбросить свои отговорки и повысить градус войны. В основе этих призывов лежали требования неограниченной подводной войны и решение об окончательном крупном наступлении на Западе, которое должно было решить исход всей войны. Все оказалось напрасным: тактическое обучение на фронте, с помощью которого удавалось компенсировать перевес в силах у противника, а также присяга «священной жертве» и формирование уверенности в победе ради продолжения войны. Для Центральных держав, как докладывал канцлеру Бетман-Гольвегу начальник Генштаба Фалькенгайн в ноябре 1914 года<sup>11</sup>, победа была уже невозможна. Не последнюю роль в том, что дело так и не дошло до прекращения огня, сыграли представители среднего класса — фронтовые офицеры, которые заботились об эффективности боевых действий, и религиозные и светские толкователи, поддерживающие волю и стойкость населения.

#### **«Смысл» войны и отсутствие политической цели в Германии**

Особая роль в войне выпала двум буржуазным группам, точнее буржуазным интеллектуалам: священникам и богословам, а также ученым, прежде всего профессорам философ-

ских факультетов — историкам, философам и германистам. Летом 1914 года главный вклад в сакрализацию войны внесли пасторы и профессоры теологии, представлявшие в своих проповедях и лекциях войну как провидческое спасение. По их уверениям, Господь задумал для «своих немцев» нечто великое и огромное и отвел им в этом победоносную роль, предрекая: чем больше жертв, тем вернее победа. Таким образом, формируя подобный образ мыслей, теологи снимали политическую ответственность с тех, кто на самом деле был виноват в развязывании и ведении войны. Благодаря им любые сомнения в необходимости войны или в победе немцев означали грех и попытку идти против Божьей воли и Божьего промысла.

В свою очередь, университетские ученые в качестве светских толкователей делали ставку на более понятные вещи: они говорили о духовном очищении народа после эпохи морального упадка, причиной которого стал затянувшийся период мирного времени; обещали преобразование разобщенного общества в согласованное единство, проникнутое чувством защищенности, призывали к борьбе с бесчувственным и бездуховным капитализмом и материализмом англичан или наделяли войну задачей свержения российского деспотизма, угрожавшего Германии. В центре этих представлений лежало не божественное спасение, а в основном романтические видения<sup>12</sup>. Эти трактовки объединяло то, что основные политические вопросы, такие как задачи войны и преследуемые ею цели, они отодвигали на задний план.

В Германии толкователи играли большую роль, чем у других воюющих сторон, хотя и там они имели определенный вес и влияние. Задача немецких толкователей сводилась к компенсации нехватки понимания в отношении необходимости войны. По мнению Клаузевица, в задачи войны входило то, чего необходимо достигнуть «с помощью войны», в то время как цели войны определяли результаты, необходимые для достижения «в войне»<sup>13</sup>. Задачи имеют отношение

к политике, а цели, скорее, являются политически-военным вопросом. Проблема немцев заключалась в том, что летом 1914 года они не могли объяснить, для чего начали эту войну, и поэтому вскоре последовали ожесточенные дебаты, посвященные целям войны. В этих обсуждениях буржуазия играла очень заметную роль, и все более величественные цели, рождаемые в полемике, подкреплялись растущим количеством жертв. Негласно сакрализация войны стала «авансом», который должен был окупиться к концу войны. Логика обмена перекрывала семантику принесения жертвы. Главное, что у войны на тот момент не было никакой задачи, на которую могли бы ориентироваться военные цели; там, где в сочинениях сторонников германской аннексии речь заходила о задачах войны, они формировались в соответствии с актуальной на тот момент целью, а цель менялась в зависимости от положения на фронте. Ученые и интеллектуалы, бившие себя в грудь во время дискуссий и войне, оказывались несостоятельными в своей изначальной области, то есть в области точного и аналитического мышления<sup>14</sup>, а поскольку в своем подавляющем большинстве по своему происхождению они относились к среднему классу, их неудача являла собой неспособность буржуазии к выполнению задачи, выпавшей ей на основании политической и социальной структуры Германской империи. А конкретнее: немецкая буржуазия стремилась к политической власти, но, получив ее часть, она осознала, что та ей не по плечу. Едва ли кто-то видел это более ясно, чем Макс Вебер, который, говоря о своих соотечественниках как о «политически необразованных людях», в первую очередь подразумевал буржуазию<sup>15</sup>.

Тем не менее это был лишь один аспект буржуазно-интеллектуальной вовлеченности в войну; другим аспектом стало само толкование, в котором «смысл» занял место «задачи». Бесконечные разговоры о смысле войны должны были скрыть тот факт, что немцы сами не знали, чего они вообще хотели добиться «с помощью войны». Так что толкователи продолжали сочинять истории о Божьей воле, провидческом

спасении, нравственном очищении, высшем развитии человека и так далее — главное, не отчитываться по поводу того, «для чего» эта война. Для немецкой буржуазии это стало вторым провалом в войне, в этот раз — перед лицом задачи, которой она так страстно себе желала.

Конечно, можно согласиться с тем, что в кругах образованной буржуазии были и критические умы, и наряду с Максом Вебером к ним также относился историк Дельбрюк и философ Трёлч, однако изначально, будучи охваченным героическим исступлением, мало кто смог сохранить хладнокровие и предпринять то, что на самом деле было главной чертой исконно буржуазного мышления: четкое определение цели и трезвый анализ затрат и эффективности.

Порой может показаться, будто буржуазия расценивала войну как возможность забыть о рациональности и расчетливости и дать волю своим романтическим стремлениям, которые в буржуазной повседневности стали заложником целесообразности. Война предложила серьезный, может быть, даже уникальный шанс сбросить оковы рациональности и отдаться «великому событию», на фоне которого прежняя жизнь казалась мелкой, ничтожной. Благодаря событиям, развернувшимся с конца июля и до начала августа 1914 года, эти настроения получили возможность выражения. Война предложила беспрепятственно изжить в себе доселе тщательно подавляемую ненависть к своей жизни, идущей строго по правилам, к одержимости материальными благами, короче говоря: презрение ко всему тому, что называется мещанством<sup>16</sup>. Этот порыв проявился в угаре «августовского подъема». Но уже вскоре дух рациональности вернулся и стал назойливо твердить о том, что роскошный праздник войны и множество жертв, принесенных на его алтарь, должны будут как-то «оплачиваться». Это и создало благодатную почву для ведения дискуссии о целях войны, популярной в основном в буржуазных кругах, которая стала столь же жаркой и безграничной, что и предшествующий ей оголтелый военный энтузиазм.

## Знание истории как политический ориентир

Время войны — это время полной неопределенности, ничего нельзя предсказать заранее, начиная с исхода сражений и результатов стратегических планов, заканчивая успешным выбором союзника и возможностью на него положиться. Такая неопределенность приводит к особой потребности в ориентирах как в кругу политической элиты, так и среди широкой публики. Как правило, в этой ситуации важную роль играет историография, которая служит для того, чтобы находить для текущих событий исторические параллели и затем, благодаря этим аналогиям, делать предположения относительно того, как будут развиваться актуальные события. Среди образованных слоев среднего класса Германии историография выступала в роли светской теологии, дававшей уверенность там, где царила неопределенность. В то же время образованные слои среднего класса владели обширными историческими знаниями и виртуозным обращением с опытом прошлых веков, позволявшими исследовать будущее, благодаря чему буржуазия выгодно отличалась на фоне аристократии, которая была слишком утонченной для получения глубоких знаний, и всего остального населения, считавшегося необразованной массой. Выстраивание исторических аналогий подчеркивало господство трактовки действительности над самой действительностью. Тот, кто мог оперировать историческими параллелями, наверняка знал, что нужно делать — по крайней мере, складывалось такое впечатление, и в условиях неопределенности было немало желающих поверить в это. Этот аспект — и не только в Германии — представители среднего класса расценивали как очередное основание для удовлетворения своих амбиций в отношении власти и влияния. Одна из многочисленных «войн в войне» касалась компетентности в вопросе историко-политической интерпретации.

После провала плана Шлиффена в битве на Марне в Германии резко возросла потребность в ориентирах: Гене-

ральный штаб разработал детальный план кампании, тщательно провел мобилизацию, население полностью доверяло своему императору и его генералам, когда те уверяли, что не позднее, чем к Рождеству солдаты вернутся домой. Утраченную после отступления с Марны и сражения на реке Эна веру в якобы безупречный план кампании пришлось компенсировать постоянными отсылками к истории, которые должны были вселять надежду на благополучный исход задуманного. В своих «Мыслях о войне» Томас Манн говорит о стойкости Фридриха Великого в условиях значительного превосходства сил неприятельской коалиции, тем самым проводя параллель с Семилетней войной. Теперь Фридрих — это сама Германия, и, как и ему в свое время, ей придется принять ряд неудач и разочарований, чтобы утвердиться против превосходящих сил противника<sup>17</sup>. После провала Шлиффена Томас Манн считал необходимым приободрить себя самого и своих читателей, уверяя, что война ничуть не проиграна, никто и не собирался покориться судьбе, но в то же время необходимо большое мужество и еще большие жертвы, чтобы найти выход, сравнимый с завершением Семилетней войны.

Эта весьма правдоподобная аналогия, однако, имела один недостаток: она превратила волю немцев к победе в жесткую стойкость, не предлагая никаких перспектив относительно территориальных приобретений, а лишь упоминая, что война позволит защитить все то, что было добыто в предыдущих войнах (Эльзас и Лотарингию как параллель Силезии), и в конце концов настоятельно рекомендуя не преследовать в войне чрезмерно амбициозных целей, ибо, учитывая значительное силовое превосходство противника, реализовать их все равно не получится. Параллель с Фридрихом и Семилетней войной предлагала рассматривать Первую мировую войну как оборонительную, в которой ни одна из битв, пусть даже все они будут выиграны, не приведет к победе. Сравнение с Семилетней войной наводило на мысли о военном пате.

Предложенная Томасом Манном перспектива выглядела весьма неутешительно, и понимание того, что бесчисленные



жертвы в конечном итоге служат для поддержания статус-кво, едва ли могло содействовать победе героических настроений над мученическими. Ведь Семилетняя война не привела к победоносному миру, в то время как в Первой мировой войне население должно было быть твердо уверено в обратном исходе. В результате аналогия с Семилетней войной осталась на заднем плане; в буржуазных кругах полагали, что она не могла стать источником сил или доверия<sup>18</sup>. Таким образом, по сути самая удобная и наиболее близкая к актуальным требованиям войны в своих политических и военных результатах — победа ради мирных переговоров — параллель далее не обсуждалась.

При этом гораздо большую роль играли исторические аналогии с Пелопоннесской и Первой Пунической войнами — войны древности были настолько далеки, что их можно было изучать совершенно спокойно, не опасаясь неоднозначных выводов, и черпать из них сравнения и указания для действий в настоящем<sup>19</sup>. В то же время в таком подходе прослеживался пиетет, коим пользовалась тогда история античности: войны древности определяли действия настоящего времени. При этом аналогия с Пелопоннесской войной, где Германскому рейху отводилась роль Афин, предлагала оборонительную стратегию, которую, если верить Фукидиду, афинянам рекомендовал Перикл, знаменитый афинский оратор и полководец. Перикл не хотел перенапрягать силы своих войск и не допускал риска поражения в открытых сражениях на суше. И все же подобная стратегия ожидания едва ли подошла бы Германии, поскольку она в отличие от Афин не была морской державой; в этой аналогии спартанцы казались во многих отношениях гораздо ближе Германии. Однако о таких узких сравнениях речь, конечно, не шла. Того, кто проводил параллель с Пелопоннесской войной, которую афиняне на самом деле проиграли и поплатились (временной) потерей превосходства в Эгейском регионе, в первую очередь интересовала предложенная Периклом *великая стратегия*, в основе которой лежал отказ от реализации имперских амбиций посредством военной силы. Германия, как заявлялось позже, должна была выиграть вой-

ну, если бы ее не проиграла, и риск проигрыша в войне возрастал пропорционально увеличению масштабов завоевательной войны и все более широкой прокламации захватнических целей. Таким образом, аналогия с Пелопоннесской войной была в первую очередь предостережением от крупномасштабной политики аннексий. Военный план Перикла, предложенный им на афинской ассамблее<sup>20</sup>, сводился к обороне территорий, присоединенных к Афинам в результате их экономического развития, расширения торговли и коммерции и полученной за счет этого гегемонии в Эгейском регионе. Перикл утверждал, что противник развязал войну лишь потому, что видел, что без войны Афины становились все сильнее и могущественнее. Поэтому он призывал афинян ограничиться защитой своих приобретений в войне, чтобы затем, в условиях мира, продолжать свое дальнейшее развитие.

Такова была суть этой исторической аналогии с Первой мировой войной, и именно это отличало ее от параллели с Семилетней войны, которая также сводилась к оборонительному плану: стремительный рост Германской империи после 1871 года произошел в условиях мирной конкуренции (а не военной, как в случае завоевания Фридрихом Силезии), оставив Англию с ее промышленным производством и Францию с ее демографическими показателями далеко позади. Следовательно, несмотря на то что при дальнейшем построении немецкой империи война в качестве инструмента не рассматривалась, воевать, как в свое время Периклу и афинянам, все же пришлось, поскольку противник сам прибегнул бы к этому средству — по крайней мере, исходило следовало из того, что рано или поздно Германия оказалась бы атакована. Отчасти это стало фактором, определяющим задачу войны: война служила для поддержания статус-кво и с политической и стратегической точек зрения имела оборонительный характер. Такая стратегия не исключала наступательных операций, однако полученные в ходе этих сражений территории были не более чем политическими картами и не могли быть включены в состав Германской империи.

Аналогия между положением Германской империи в начале Первой мировой войны и ситуацией в Афинах накануне Пелопоннесской войны с сегодняшней точки зрения выглядит достаточно поучительно: в обоих случаях поддерживать оборонную позицию на фоне постоянных внушений о победе, подпитываемых весьма ограниченными военными успехами, на деле оказалось невозможным. В случае Афин Фукидид объяснял это ранней смертью Перикла и политически-стратегической недалекостью и тщеславием его преемников, которые начиная с Клеона и заканчивая Алкивиадом постепенно утрачивали способность проводить долгосрочную политику наперекор сиюминутным желаниям народа. В отношении Германии здесь можно сослаться на политическую немощь канцлера Бетман-Гольвега, не сумевшего дать отпор требованиям военных, в том числе Гинденбургу и Людендорфу, и журналистским кампаниям, спровоцированным аннексионистами и сторонниками неограниченной подводной войны<sup>21</sup>. Основоположники идеи, согласно которой войну можно было вести в течение длительного времени просто для того чтобы сохранить статус-кво, при этом требуя огромных жертв со стороны собственного народа, недооценили социально-психологические волнения, вызванные требованиями стойкости и достижения военных успехов: именно стойкость спровоцировала рост мученического настроения населения: убежденность в правильности стратегии слабла, и с каждой новой победой, какой бы бессмысленной она не была в стратегическом плане, росла уверенность в возможности военного решения и победоносного завершения войны.

Большая часть немецкой буржуазии делала ставку на эскалацию военных действий ради окончательного разрешения конфликта, тем самым недооценив тот урок, который предлагала им аналогия с Пелопоннесской войной: негативным примером служили Афины, пострадавшие от своего ослепления кратковременными военными успехами. И все же аналогия с Пелопоннесской войной играла центральную роль в сознании политической элиты — это доказывает выражение канцле-

ра Бетман-Гольвега, назвавшего принятое 9 января 1917 года решение о начале неограниченной подводной войны против Великобритании, в результате приведшей к вступлению в войну США, «нашей Сицилийской экспедицией»<sup>22</sup>: тогда план афинян, направленный на продление войны за счет нападения на сицилийские Сиракузы, свел воедино все конфликты, которые до этого фактически были разделены, и стал началом оглушительного поражения, закончившегося капитуляцией Афин. С учетом такого опыта Бетман-Гольвег говорил о том, что без участия в великой войне США, вызванного неограниченной подводной войной, Германия могла бы добиться в мирных переговорах гораздо более благоприятного для страны результата.

То, что из Пелопоннесской войны никто не хотел извлекать очевидного урока, было связано с любимой для большинства историков аналогией — Первой Пунической войной, в которой Рим, территория которого растянулась от южной Италии до Сицилии, столкнулся с величественной морской державой — Карфагеном<sup>23</sup>. Такой подход в основе своей был весьма привлекателен, поскольку Рим был сухопутной державой, и только в ходе конфликта с Карфагеном начал строить свой флот, призванный бросить вызов финикийскому государству. Совсем несложно перенести эту параллель на Германский рейх и Великобританию. И неудивительно, что построению немецкого военно-морского флота способствовали приверженцы исторической аналогии с Первой Пунической войной, и в первую очередь император Вильгельм II и гроссадмирал Альфред фон Тирпиц. «Исторический урок», предлагаемый таким сравнением, был полной противоположностью аналогии с Пелопоннесской войной. Рим в Первой Пунической войне якобы был недостаточно настроен на низвержение Карфагена и заключил компромиссный мир, благодаря которому морская держава смогла выиграть время для восстановления своих военных потерь, повторного вооружения и разрушительного демарша под предводительством Ганнибала, дошедшего через всю Италию до самых ворот Римской империи и нанесший ей сокрушительное пораже-

ние. Отсюда вывод: если бы первая война против Карфагена была доведена до своего логического завершения, а точнее, до окончательного прекращения карфагенского господства в западной части Средиземного моря, то Второй Пунической войны вместе со всеми павшими в ней можно было бы избежать. По крайней мере, так считали многие, и среди них Вернер Зомбарт, Отто Хеч, Иоганн Пленге и Эдуард Мейер<sup>24</sup>.

Таким образом, аналогия с Пуническими войнами служила в качестве аргумента против компромисса или мирных переговоров и выглядела как требование продолжения войны против Англии до победного мира. Сторонники аннексии, настаивавшие на немецком контроле за Бельгией и создании военных баз на побережье Фландрии, опасались, что в новой войне против Германии Бельгия станет воротами для англичан, и, дабы подчеркнуть такую опасность, они неоднократно приводили в пример Ганнибала и его успехи во Второй Пунической войне. В этом отношении весьма интересен «меморандум Зееберга»\* от 20 июня 1915 года, содержащий «гарантии прочного мира». Такими, помимо прочего, назывались: «часть северного побережья Франции, которую мы по возможности должны завоевать, чтобы обеспечить себе стратегическую защиту от Англии и получить лучший доступ к морю», а также «...Бельгия, доставшаяся нам таким огромным количеством благороднейшей немецкой крови. Независимо от соображений, военно-политических и экономических, мы должны крепко держать ее в руках. Народное мнение здесь едино как нигде более, а присоединение Бельгии — дело чести для народа. Ведь иначе Бельгия станет для Германии самой опасной английской базой — что в политическом, что в военном отношении, она будет щитом, за которым наши враги снова начнут ополчаться против нас».<sup>25</sup>

Аналогия с финикийским контрнаступлением поддерживалась тем фактом, что ударную силу войск Ганнибала со-

\* Этот документ также носит название Меморандума германских профессоров. — *Примеч. пер.*

ставляли наемники, и потому в отношении Великобритании опасения связывались с тем, что в будущей войне она направит против Германии свои колониальные армии, и от этих «иноземных наемников» Германия «истечет кровью». Таким образом, англичан нужно было побороть окончательно и бесповоротно, чтобы лишить их возможности снова «запустить» войну против Германии. Сравнение с Пуническими войнами также включало в себя представление о том, что истинными вдохновителями войны являются англичане: «Мы ни на мгновение не забудем о том, — говорится в “меморандуме Зееберга”, — что эта война в происхождении своем является войной Британии против мирового экономического, морского и сухопутного влияния Германии». И также: «Если бы мы захотели взыскать с Англии, весьма скупой на собственные кровавые жертвы, возмещение за военные потери, то никакая сумма денег не могла бы быть достаточной. И ведь в основном с помощью своих денег Англия настраивала весь мир против нас. Поистине, кошелек является самым уязвимым местом этой мелочной нации»<sup>26</sup>.

Когда поздней осенью 1918 года война подошла к концу, обращение к Пуническим войнам оказалось для Германии роковым: преимущество в переговорах, еще сохранявшееся в ожесточенном сопротивлении обороны, было утрачено, и Германии пришлось подчиниться условиям мира, продиктованным странами-победительницами. Вместе с тем амбиции образованной буржуазии, основанные на убеждении, что знание прошлого дает власть над будущим, испарились, вновь сыграв роковую роль в судьбе среднего класса. С политической точки зрения это имело далеко идущие последствия: буржуазия не только потеряла своих сынов, ибо именно для буржуазных кругов было характерно осознание своей обязанности к героическому самопожертвованию, и посему весьма высокий процент павших на поле боя добровольцев и фронтовых офицеров относился именно к буржуазному сословию; она не только лишилась большей части своего имущества, «инвестированного» в военные облигации; она также утратила свою прерогативу толкования и теперь была вынуждена считаться с тем, что в но-

вом соотношении сил, сложившимся после поражения и падения монархии, она оказалась на «политической обочине».

Развитие индустриализации и формирование промышленного пролетариата, а также партий, утверждавших, что они представляют его основные интересы, привело к тому, что средний класс, теперь значительно уступавший в численности пролетарскому классу, утратил какую-либо возможность для обретения власти.

Чтобы как-то сгладить этот перевес сил, либералы решили сыграть на разнице между активными и пассивными гражданскими правами, связав эту зависимость с возможностью обеспечения своего существования без подчинения чьей-либо воле. Соответственно, критерий самостоятельности (*sibi-sufficiens*), предложенный Кантом, сформировал некую разделительную линию между «членом общества» и «гражданином». При такой классификации статус активного гражданина могли иметь только владельцы средств производства и государственные чиновники. Однако в ходе войны, в которой практически всем мужчинам пришлось «телом и душой» постоять за свое Отечество, этот критерий утратил былую убедительность: ситуация, в которой рабочий, сражавшийся на фронте и при этом несколько раз раненый, должен был иметь меньшие политические права, чем фабрикант, который был освобожден от военной службы под предлогом большого военного значения его предприятия, была теперь недопустима. Война и особенно большое количество погибших имели уравнивающий эффект.

Еще во время войны в Пруссии развернулись ожесточенные дебаты по поводу отмены прусской трехклассной избирательной системы. Последствия избирательной реформы коснулись не только благородных землевладельцев, но и затронули средний класс, поскольку отмена классового деления при голосовании лишала чисто буржуазные партии шанса на большинство в парламенте. Таким образом, претензия на политическое лидерство нуждалась в ином обосновании, нежели в количестве голосов, и центральную роль в его аргументации

должна была играть прерогатива толкования или культурная гегемония, как называл ее Антонио Грамши. Утратив численное преимущество, буржуазия все же желала руководить большинством — направлять его и управлять им, и это скорее всего было осуществимо в форме культурной гегемонии. Утрата исторически обоснованной привилегии толкований стала не единственным сломанным зубцом в короне буржуазных претензий на лидерство. В конце 1918 — начале 1919 года еще было неясно, какие конкретно политические последствия это могло иметь, но рассчитывать нужно было на то, что соотношение сил и влияния в Германии изменится коренным образом.

В то время как прерогатива толкований, на которую претендовала буржуазия, базировалась на знании истории и его правильном политическом использовании, партии рабочего движения получили эту привилегию на основании историко-теоретического владения будущим. Именно эта идея привлекала немецкое рабочее движение в марксизме: гарантия того, что будущее принадлежит им. Таким образом, буржуазия рисковала быть объявленной анахронизмом. По крайней мере, так считал ряд ученых и интеллектуалов из буржуазных кругов, которые после окончания войны примкнули к левым партиям, в то время как другие отказались от своих либеральных воззрений, став рупором агрессивных правых партий, сформировавшихся лишь в процессе войны. Война, а точнее ее окончание, обозначала конец либерализма, преобладавшего до этого среди большей части немецкой буржуазии.

Наглядным примером такой трансформации взглядов могут служить позиции трех ученых, специалистов по древней истории: Эдуарда Мейера, признанного светила в своей области, и обоих его учеников, Виктора Эренберга и Артура Розенберга. Как свидетельствует переписка с Виктором Эренбергом, воевавшим в артиллерийской части на Западном фронте, в Мейере война вызвала постепенную радикализацию взглядов, склонив его в сторону правых сил: сначала он отказался от докторских степеней, присвоенных ему зарубежными университетами, затем присоединился к требованию неограничен-



ной подводной войны, а после примкнул к кругу сторонников аннексии, из геополитических соображения претендовавших на крупные области на западе и востоке Европы<sup>27</sup>. Этой позиции, согласно которой немецкая политика потерпела неудачу, а значит, она должна была гораздо более решительно настаивать на эскалации войны, он продолжал придерживаться и в Веймарский период. Тем самым Мейер заявлял себя как политический противник Веймарской республики. В свою очередь, Виктор Эренберг еще во время войны пытался отговорить своего учителя от слишком больших ожиданий, приводя множество доводов против крупномасштабных аннексий. Это позволило ему, активному участнику боевых действий, выработать доброжелательную позицию по отношению к Веймарской республике и ее политическому строю. А любимый ученик Эдуарда Мейера Артур Розенберг до самого конца войны трудился на благо укрепления национального духа в отделе пропаганды Генерального штаба — его перу принадлежало сравнение Гинденбурга с Александром Великим и уравнивание обоих завоевателей Востока в значении и заслугах. По окончании войны Розенберг примкнул к Независимой социал-демократической партии Германии, а затем вступил в Коммунистическую партию Германии, заняв крайне левую по отношению к Веймарской республике позицию<sup>28</sup>. Из всех троих только Эренберг сохранил позицию либерала, характерную для большей части немецкой буржуазии до 1914 года.

### **Великий экзистенциальный кризис и разорение среднего класса**

К концу войны непосредственным результатом чрезмерных эмоциональных инвестиций, вкладываемых в войну на протяжении четырех лет, стало духовное опустошение. Люди исчерпали себя в стремлении сохранить упорство, стойкость и готовность к самопожертвованию, и им не осталось ничего, что можно было бы еще использовать. Крупный эмоциональный

кризис первых послевоенных лет не раз был описан в соответствующей литературе<sup>29</sup>. В основном он стал проблемой среднего класса, который за всю свою историю никогда не участвовал в войне и теперь потерпел неудачу. Экзистенциальный кризис охватил буржуазию всех европейских стран, участвовавших в войне, но бремя упреков и унижений, вызванных неверными прогнозами и безосновательными обещаниями, досталось немецкой буржуазии. В какой-то мере это затронуло и итальянский средний класс (значительно уступавший по численности немецкому), который обеспечил стране, вступившей в войну не в бешеной спешке в июле 1914 года, а лишь спустя год, добровольно и после обдумывания варианта нейтралитета, рост и признание в качестве уважаемой европейской державы. То, что стало поражением для немцев, для итальянцев оказалось «урезанной победой» (*vittoria mutilata*). Параллели, прослеживаемые в истории обеих стран в XX веке, также имеют отношение к подобному сочетанию экзистенциального кризиса и политического провала буржуазии.

Конечно, экзистенциальный кризис и утрата прерогативы толкований сами по себе не являлись концом буржуазного мира, поскольку такие кризисы, как правило, успешно преодолевались, а претензии на доминирование постоянно обновлялись. Но если исходить из того, что «буржуазный мир» представлял собой нечто большее, чем простое существование среднего класса — ведь речь идет и о влиянии буржуазных ценностей на культуру, на политику и много другое, — то к концу Первой мировой войны его сохранение на самом деле стояло под вопросом.

К экзистенциальному кризису добавился экономический: в Германии огромные суммы, сгоравшие в войне каждую неделю, добывались с помощью займов у самого населения. С политической точки зрения это давало преимущество в возможности немедленного и решительного повышения налогов<sup>30</sup>. Буржуазия чаще других подписывалась на эти военные облигации, конечно, не только из патриотических убеждений, но и с оглядкой на обещанную доходность по ним в размере

5 процентов. Возместить затраты должна была победа, профинансированная именно этим образом. Погашение должно было происходить из средств, выплаченных поверженными врагами<sup>31</sup>. Так по крайней мере представлялось в самом начале войны; но чем дольше шла война, тем меньше казалась вероятность того, что постоянно растущие издержки войны можно было покрыть за счет репараций. Идея вменить расходы на войну проигравшей стороне была напрямую связана с представлением о молниеносной войне, которая должна была завершиться победой, принесенной быстрой военной кампанией.

Однако по мере продолжения войны расходы на нее росли в геометрической прогрессии: осенью 1914 года промышленное производство было переоборудовано под военные нужды, после того как были растрочены все боеприпасы, а оружие, и особенно артиллерия, требовало постоянной замены. Теперь обе воюющие стороны пытались снизить человеческие потери за счет увеличения использования материальных ресурсов, что еще больше повышало стоимость войны. Начало «войны материальных ресурсов» на Западном фронте спровоцировало еще больший рост расходов, и, хотя немецкое население все еще стабильно подписывалось на военные облигации, финансировать войну исключительно из займов уже было невозможно. Пришлось ввести новые налоги и увеличить существующие. Таким образом, соотношение бюджета изменилось: государственные расходы выросли, а доля доходов от сектора домохозяйств снизилась; так как многие введенные налоги были прогрессивными, буржуазные хозяйства оказались затронутыми в большей степени, чем все остальные категории. Было очевидно, что эра относительно низких налогов закончилась и даже после войны не повторится вновь. Это внесло свой вклад в разрушение буржуазного мира, расцвет которого совпал с эпохой относительно низкого налогообложения. Воюющее государство повысило налоги, но вернувшееся на его место социальное государство не смогло опустить их ввиду необходимости поддержки вдов и сирот и выплат пособий инвалидам войны<sup>32</sup>.

Потери по военным облигациям сильно отразились на большинстве семей, относящихся к среднему классу; они вложили в войну большую часть своих состояний и теперь были вынуждены распрощаться со своими «инвестициями». Наглядный пример представляет собой семья Макса и Марианны Вебер<sup>33</sup>: до войны ученый мог спокойно позволить себе отказываться от преподавательской деятельности в университете и от соответствующего заработка в течение многих лет, не испытывая в связи с этим никаких материальных проблем. Процент с унаследованного состояния (его и его жены) было достаточно, чтобы жить в Гейдельберге, целиком посвятив свою жизнь науке. И хотя Вебер критиковал дискуссию, посвященную целям войны, и был ярким противником эскалации подводной войны, большую часть своих активов он, тем не менее, вложил в военные облигации. Как и большинство граждан, в этом он видел свой патриотический долг, от которого не мог и не желал уклоняться<sup>34</sup>. Задолго до окончания войны ему уже было понятно, что та жизнь, которую он вел ранее, больше не сможет идти в том же русле. Сделав соответствующие выводы, он вернулся к службе в университете. Теперь семья Вебер жила в Мюнхене, ведя размеренную жизнь представителей среднего класса, однако от материальной беззаботности прошлых лет не осталось и следа. Так, на примере семьи Вебер, можно проследить трансформацию буржуазного мира, произошедшую в результате Первой мировой войны: время нетрудовых доходов прошло, и буржуазный образ жизни отныне строился на профессиональном доходе, зарабатывать который нужно было на протяжении всей дальнейшей жизни.

В этом буржуазная жизнь стала походить на жизнь рабочих; она, как и прежде, отличалась от нее более высокими доходами и в целом более надежными трудовыми отношениями, но теперь была также подчинена структурным условиям, актуальным для большинства членов общества. Война привела к социальному выравниванию общества. Инфляция 1923 года, вызванная оккупацией Рурской области французскими и бельгийскими войсками, и экономический кризис 1929 года только

ускорили этот процесс. Идеология «национального единства», приведшая НСДАП к победе, попала на благодатную почву, и особенно в кругах буржуазии, поскольку задала цель общественному развитию, которое без нее приняло бы форму деградации, и превратила *упадок буржуазии в возрождение Германии*. Это, по крайней мере в некоторой степени, объясняет готовность большинства представителей среднего класса поддержать Гитлера и идеологию национал-социализма.

### **Закат буржуазной репрезентативной культуры**

Надлом, произведенный в буржуазном самосознании событиями и исходом Первой мировой войны, наиболее явно проявился в подрыве буржуазного самосознания, в появлении сомнений у буржуазии относительно ее эстетических ценностей и критериев. Еще до Первой мировой войны в искусстве и культуре наметилось противопоставление буржуазным ценностям новых, принявших форму авангардизма<sup>35</sup>. Однако на тот момент буржуазия была настолько уверена в себе и своих эстетических постулатах, что оказала решительное сопротивление этим тенденциям. Скорее всего, в XX веке модерн смог бы и без войны пробиться сквозь буржуазные представления об истине, добре и красоте, но этот процесс шел бы это гораздо медленнее и равномернее. В этом случае модернизму пришлось бы пойти на более серьезные уступки своим буржуазным покровителям, чем это было после войны, вследствие которой богатства представителей буржуазии заметно сократились, а их роль в качестве меценатов и заказчиков значительно уменьшилась. Потеря состояний уменьшила влияние буржуазии на искусство и культуру.

Наиболее явно это проявилось в архитектуре. Виллы и многоквартирные дома, построенные до 1914 года, не только отвечали функциональным требованиям заказчика, но и соответствовали запросам репрезентативной культуры, что

нашло отражение в декоративных элементах построек: плавных фасадах и лепнине, причудливых эркерах и башенках. В стремлении казаться равной аристократии или даже превосходить ее буржуазия предпочитала архитектуру, отражавшую материальное состояние человека. В подобного рода позиционировании было не принято сдерживать себя, что нередко приводило к показному преувеличению. В этом немецкая буржуазия, в гораздо меньшем масштабе, вела себя так же, как и сама империя. Но при всей обоснованной и справедливой критике бахвальства, характерного для эпохи Вильгельма II, буржуазная репрезентативная архитектура, будучи наиболее очевидной частью буржуазной культуры, стала инвестицией в создание образа, запечатленного в облике буржуазных кварталов быстро разросшихся городов, который сегодня воспринимается нами как «благородный» и «господский».

Война положила конец этому надменному самолюбванию. И хотя наследие буржуазного мира никуда не делось, сам он постарался скрыться от глаз общественности. Такое отступление происходило в форме эстетического приобщения к духу функционализма, что нашло отражение в концепции Баухауса. Таким образом, эстетический разрыв между буржуазией со своей репрезентативной архитектурой, созданной до 1914 года, и «остальным обществом» исчез. Эпоха буржуазного мира закончилась, а сам он был вынужден приспособиться к обстоятельствам и отказаться от демонстрации своей самобытности.

Традиционно не слишком воинственная немецкая буржуазия в 1914 году сделала ставку на войну как на возможность роста ее политического влияния, при этом она пустила в ход свои ресурсы, деньги, силу убеждений и даже своих сынов. Таким образом поражение в войне Германии в первую очередь стало поражением немецкой буржуазии. Потеря престижа на международной арене, утрата состояния после списания всех военных займов и глубокая личная травма буржуазии дополнились претензией политически и физически окрепшего в войне рабочего движения на власть, достав-

щуюся ей после гибели монархии. Политическое руководство хотя бы отчасти преследовало ту же цель и использовало поддержку военной политики как возможность влияния на внутреннюю политику. Долгосрочный политический компромисс между буржуазией и рабочим классом после Второй мировой войны, ставший основой политической стабильности и экономического процветания Боннской республики, в период Веймарской республики был, с точки зрения представителей среднего класса, лишь вынужденным и временным решением, которое при первой же удобной возможности нужно было отменить. Это стало предпосылкой для альянса немецкой буржуазии с Гитлером и нацистской партией.

## **5 Вторая мировая: война за мировой порядок**

### **Типология мировых войн**

Обычно выражение «мировая война» понимается как война, идущая по всему миру. Однако одной лишь констатации, что военные действия ведутся пусть даже не по всему земному шару, но как минимум на нескольких континентах, недостаточно для точного определения такой войны. Необходимо выявить наличие политического контекста этих военных конфликтов. Иначе можно практически в любой момент говорить об идущей мировой войне, ведь на всех континентах всегда кто-нибудь да воюет. На самом деле мировая война происходит лишь тогда, когда две державы или два союза борются за лидерство в глобальных масштабах либо когда в соперничестве крупных держав стоит вопрос о том, какие принципы и правила должны определять мировой порядок. Поэтому мировые войны представляют собой либо войны за полное или частичное мировое господство, либо битву за установление мирового порядка.

В этом смысле войну между Францией и Великобританией, развернувшуюся во второй половине XVIII века на территории Европы, Северной Америки и на океанических просторах, можно назвать «мировой войной XVIII века». В войне между Англией и Францией, а также их союзниками (в число которых на стороне Франции выступали многие индейские племена, а в роли «континентального меча» Англии — Пруссия под руководством Фридриха Великого) речь шла, конечно, не о противоречащих принципах мирового устройства, а исключительно о том, за кем из держав останется последнее слово. Это была борьба за власть без примеси идеологических компонентов. Оставив за рамками озвученный Антантой и США тезис о том, что Первая мировая война была посвящена свержению германского милитаризма — утверждение, поддержать которое при трезвой оценке военных расходов стран, задействованных в войне, едва ли возможно<sup>1</sup>, — Великую войну 1914–1918 годов можно смело назвать борьбой за передел мира, а не отстаиванием диаметрально противоположных взглядов на принципы мирового устройства. И лишь во Второй мировой войне речь впервые зашла не только о мировом превосходстве и разделе зон влияния между великими державами, но и о принципах и правилах мирового порядка: каким должен быть облик нового мира — капиталистически-торгашеским, фашистско-расистско-милитаристским или социалистическо-коммунистическим? Иной исход войны мог привести не только к другому раскладу власти во всем мире — он мог сформировать принципиально новый мировой порядок. Именно поэтому Вторую мировую войну можно назвать войной за миропорядок, и именно это отличает ее от предыдущих мировых войн.

Однако это не означает, что две другие мировые войны не изменили мировой уклад. Важно, что велись они не ради этих изменений — перемены произошли подспудно. В XVIII веке Американская война за независимость стала одним из таких непреднамеренных последствий — реакцией американских поселенцев на британскую налоговую политику, посредством кото-



рой метрополия собиралась частично компенсировать расходы на войну за их счет. Также и Французскую революцию, в возникновении которой не последнюю роль сыграл государственный долг, возникший в результате предыдущих войн, можно назвать одним из долгосрочных последствий войны. В Первой мировой войне распад империй Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока вполне мог входить в число приоритетных целей некоторых из воюющих держав, однако ясно одно: никто не мог предвидеть долгосрочного установления большевистского режима в России и подъема Соединенных Штатов, превратившего их в мирового лидера.

В мировых войнах смещение границ, характерное для межгосударственных войн, ведущихся в Европе с XVII века, не имеет принципиального значения, в отличие от определения или расширения зон влияния, обретения господства над обширными территориями и, наконец, от продвижения принципов, положенных в основу порядка на этих территориях. Поэтому такие войны нечасто заканчиваются мирным соглашением, и не всегда воюющие стороны сходятся на том, что ситуация зашла в тупик. Официальное завершение войны в этих обстоятельствах не означает ее фактического прекращения: 11 ноября 1918 года война закончилась только в Западной Европе, однако в странах Балтии и в ряде областей Силезии она продолжалась в виде столкновений партизанских отрядов и ополченцев; в России началась гражданская война между белыми и красными, продлившаяся до 1922 года; во вновь образованной Польше произошло шесть войн, вызванных уточнением ее границ; Венгрия и Румыния дрались за Трансильванию, а Греция попыталась урвать себе кусок развалившейся Османской империи, претендуя на часть побережья Малой Азии, что завершилось ее поражением и изгнанием большой группы населения<sup>2</sup>. Ни одна из этих войн не носила исключительно межгосударственного характера, каждая из них содержала элементы внутренней социальной борьбы, в которой на кону стояли политический и социальный строй страны. И лишь через четыре-пять лет после официального оконча-

ния войны (в ноябре 1918 года) в Европе действительно воцарился мир. Явление послевоенных войн можно было наблюдать и после Второй мировой, правда, в гораздо меньших масштабах. В Греции, например, началась ожесточенная гражданская война между коммунистами и правительственными войсками. Локализация этих послевоенных войн на территории Восточных Балкан была связана с разделением Европы на конференциях в Ялте и Потсдаме между державами-победительницами. Грубое разграничение на две половины, каждая из которых оказывалась под контролем соответственно Запада и Востока, и молчаливое обязательство обеих сторон не поддерживать бунты в зоне партнера, предотвратило дальнейшие гражданские войны в Европе, рискующие разразиться после официального окончания войны.

Главной характеристикой войны за мировой порядок, независимо от того, чему она обязана такой классификацией — изначальному замыслу или своими итогами, — являются коренные изменения в геополитической обстановке; возможно, это связано с происходящей в ходе войны или в ее результате переоценкой подконтрольной территории или с изменением удельного веса типов власти, ведущих войну за превосходство. Под этими типами подразумеваются разные основы и ресурсы власти; так военная, экономическая и культурная власти различаются между собой, а их совокупность дополняет политическую мощь государства. В начале XX века британский геополитик Хэлфорд Джон Маккиндер предложил тезис, согласно которому строительство транспортной железнодорожной системы по всему континенту должно было привести к утрате преимущества контроля над океаном; ключ к мировому господству теперь лежал бы в контроле над обширными территориями, особенно над Евразией. Это спровоцировало бы относительную потерю мощи как расположенных вокруг «евразийской сердцевины» стран «внутреннего полумесяца» (Великобритания, Индия, Япония), так и стран «внешнего полумесяца» (Северная и Южная Америка со своим потенциалом проецирования силы в Атланти-

ке в районе Тихого океана). Учитывая экономический рост стран Центральной и Восточной Европы и постепенное смещение промышленного преимущества от британцев в сторону Соединенных Штатов и Германии, такие предположения выглядели весьма правдоподобно.

Тем не менее результат Первой мировой войны стал полной противоположностью общих ожиданий: евразийское пространство утратило свое мировое политическое значение. Советская Россия в качестве преемника Российской империи теперь оказывала столь же слабое влияние на передел мирового уклада, как и проигравший войну Германский рейх; к тому же обе державы отныне были поглощены собой и своими внутренними проблемами. Одновременно Франция и Великобритания заключили договор о политической реконструкции Европы и Ближнего Востока, а США настояли на утверждении конституции Лиги Наций, которая должна была сформировать ядро нового миропорядка, принципы которого были разработаны американским президентом США Вильсоном<sup>3</sup>. Таким образом, новый мировой порядок исходил не из центра Евразии, а создавался силами «внутреннего и внешнего полумесяцев».

Вторую мировую войну можно рассматривать в качестве события, изменившего баланс в различных областях: это и победа морских сил над сухопутными, и победа экономического потенциала над военной мощью, и в конце концов — по крайней мере в восприятии национал-социалистов и большевиков — победа капитала над силами земли, труда и товарищества. В эту идею определенно не вписывается участие в войне Японии, поскольку в геополитическом смысле она относится не к евразийской территории, а, по крайней мере в терминологии Маккиндера, к землям «внутреннего полумесяца». Но японские экспансионистские интересы с начала XX века концентрировались на Маньчжурии\*, и решаю-

\* Автор чрезвычайно упрощает ситуацию. Интересы Японии распространялись не только на Маньчжурию, где японцы создали марионеточное государство, но и на весь Китай, Корею, а также всю Юго-Восточную

щее значение для участия Японии в войне имел ее конфликт с США, старавшимися не допустить усиления влияния японцев на политические события Китая<sup>4</sup>. В результате нацистская Германия, Советский Союз и Япония, пусть даже преследуя совершенно разные цели, на какое-то время вступили в сотрудничество, объединившись против Британской империи или Соединенных Штатов. Таким образом, требования геополитики, по крайней мере на первом этапе войны, были поставлены выше идеологических расхождений великих держав.

В Германии были и сторонники такого приоритета геополитики над идеологией, делавшие ставку на долгосрочное сотрудничество с Советским Союзом. В первую очередь это можно сказать об офицере и географе Карле Хаусхофере и его последователях, которые отдавали предпочтение расширению войны против Британской империи вместо нападения Гитлера на Советский Союз<sup>5</sup>. По их замыслу, после провала немецкого плана летом 1940 года, когда Германии не удалось получить превосходство над Англией в воздушном противостоянии и, соответственно, создать условия для немецкого военного вторжения на остров, войну нужно было продолжить на территории Северной Африки и на Ближнем Востоке, но особенно в Средиземноморье. Сталин был убежден, что немцы будут твердо придерживаться такого выгодного для них сотрудничества с Советским Союзом, поэтому не принимал всерьез многочисленные признаки надвигающегося германского наступления либо считал эти сведения преднамеренной дезинформацией со стороны англичан. Каково же было его изумление, когда 22 июня 1941 года вермахт действительно совершил нападение и превратил войну,

Азию, включая т. н. «Южные моря» — на зону «Сопроцветания Восточной Азии». Таким образом, Япония претендовала не на отдельную Маньчжурию, а на роль регионального лидера всей Азии, что и стало первоосновой ее конфликта с США, а также европейскими колониальными державами, интересы которых в результате этой политики ущемлялись (фактически оккупация Маньчжурии напрямую их интересы на затрагивала). — *Примеч. ред.*

которая до того момента представляла собой серию военных кампаний, ограниченных временем и пространством, в очередной глобальный конфликт.

### **Две мировые войны или новая «Тридцатилетняя война»?**

Исходя из того, что Первая мировая война была образована (как минимум) тремя конфликтами, каждый из которых мог развиваться самостоятельно, и при этом все они зависели от политических и военных решений Германского рейха<sup>7</sup>, Вторую мировую войну, по крайней мере с точки зрения Германии, можно рассматривать как продолжение этих конфликтов — пусть даже с их разделением и смещением акцентов. Большинство представителей немецкой элиты считало урок, извлеченный из истории Первой мировой войны, усвоенным и в связи с этим решило приступить к реанимации и успешной реализации провалившегося в 1918 году проекта, целью которого было достижение Германией «мирового признания». Итак, в основе Первой мировой войны лежали три войны: война за политическую гегемонию в Западной и Центральной Европе, которая велась в основном между Германией и Францией, а также Италией в роли «второстепенного театра военных действий», война за Мировой океан и морское превосходство, развернувшаяся в первую очередь между Германией и Великобританией у берегов Англии и Фландрии, и особенно на побережье Фландрии, а также на Ближнем Востоке, и, наконец, война за политическое переустройство Центральной и Восточной Европы и за доступ к экономическим ресурсам этой области. Причиной поражения Германского рейха в Первой мировой войне не в последнюю очередь стало объединение трех конфликтов в один и переоценка немецким руководством собственных сил. Но в этот раз немцы решили действовать умнее. То, что не удалось против союза государств, должно было получиться в по-

следовательных битвах поодиночке. С такой позиции Первая и Вторая мировые войны должны сливаться в единую войну, которая по аналогии с Великой войной 1618–1648 годов вполне может называться новой Тридцатилетней войной. Уинстон Черчилль именно так и говорил о Второй мировой войне в своих выступлениях<sup>8</sup>.

Впервые практику историографического объединения нескольких войн, порой разделенных между собой перемириями, мирными соглашениями и даже периодами мира, ввел греческий историк Фукидид, который сгруппировал войны, произошедшие в Афинах в последние десятилетия V века, и в том числе войны против Спарты, Коринфа и Сиракуз, в одну общую «Пелопоннесскую войну». Изначально название его труда звучало как *Xyngraphē* — «Свод». С помощью своей работы Фукидид определенно намеревался представить описываемые им события в виде величайшей войны, в каком-то смысле даже парадигмы войн. Война против Трои, согласно описанию Гомера, длилась десять лет, а описанные Геродотом персидские войны — несколько военных кампаний автор объединил в одну войну — растянулись более чем на двадцать лет. Чтобы стать историографическим ориентиром в будущих исследованиях, война, описываемая Фукидидом, должна была длиться дольше и охватывать более крупные территории, чем оба приведенных конфликта, именно поэтому Фукидид, очевидно, изучал войны своего времени с позиции такого подхода и в образе единой и непрерывной войны. При этом он свел воедино конфликты, которые можно разделить на гражданскую и межгосударственную войны: Пелопоннесская война в представлении Фукидида включает в себя не только борьбу между Афинами и Спартой за гегемонию в Греции, но и конфликт между демократической и олигархической партиями, проистекающий в пределах города, и только этой комбинации война обязана своей интенсивностью и продолжительностью<sup>9</sup>. С тех пор одной из основных характеристик последующих «Тридцатилетних войн» стало сочетание межгосударственной борьбы с гражданской.

Поэтому объединение войн первой половины XX века под именем «мировой гражданской войны» подчеркивает признак, характерный для типа «Тридцатилетней войны»<sup>10</sup>.

Сочетание межгосударственной войны с гражданской можно встретить в «Тридцатилетних войнах» XVII и XX веков, но на самом деле к такому типу также можно отнести войны 1792–1815 годов — в этом случае очередная «Тридцатилетняя» война началась бы с антиреволюционного военного вмешательства Пруссии и Австрии, продолжилась в Наполеоновских войнах и завершилась бы окончательным поражением императора в битве при Ватерлоо. Однако для этого конгломерата войн понятие «Тридцатилетней войны» все же не применяется (на самом деле этот период длился «всего» около двадцати лет). В этом проявляется условность понятия «Тридцатилетняя война», неизменно таящего в себе нечто плакатное: это скорее сигнал, привлекающий внимание к проблеме, нежели научное, историко-аналитическое понятие. Для Черчилля «объединение» обеих мировых войн было лишь образом представления событий, а не логичным убеждением, тем более что к началу 1930-х годов сам он по-прежнему глубоко верил в то, что Вашингтонское соглашение об ограничении морского флота крупных держав и Локарнские договоры, возвратившие Германию в европейское сообщество, станут основой нового мирового политического порядка, который сохранится на долгие годы<sup>11</sup>. Таким образом, термин «Тридцатилетняя война» уместен только для войн 1618–1648 годов<sup>12</sup>, во всех остальных случаях речь идет скорее о политической метафоре, используемой для привлечения внимания.

И в самом деле, сравнение Первой и Второй мировых войн и их отдельный анализ куда более поучителен, нежели их «объединение». Сравнение делает очевидным не только сходство, но и различия, имеющие важное значение для анализа хода каждой войны. Так, противостояние между Германией и Францией, образующее в 1914–1918 годах ядро всех военных событий, в 1940 году превратилась в шестинедельную кампанию<sup>13</sup>, а когда после вторжения западных союзни-

ков в Нормандию театр военных действий вновь был перенесен на территорию Франции, долго это опять не продлилось; на этом этапе войны французские войска играли скорее символическую, а не решающую роль. Зато борьба на Востоке, продлившаяся с 1941 по 1945 годы, стала самым кровавым и жестоким военным полигоном — именно на это, учитывая опыт Первой мировой войны, руководство вермахта и не рассчитывало. И даже наоборот: разработчики плана «Барбаросса» ориентировались на военную кампанию 1915 года, в которой после победы в сражении при Горлице-Тарнове немецким и австро-венгерским войскам удалось значительно сократить численность российских войск, в том числе благодаря взятию в плен большого числа русских солдат\*<sup>14</sup>. Однако необходимо было помнить о том, что, несмотря на огромные потери, понесенные летом 1915 года, русская армия не была разбита; летом 1916 года она снова перешла в мощное наступление, которое было остановлено лишь за счет использования последних немецких резервов. И все же воспоминание о поражении русской армии летом 1917 года взяло верх, дополненное исходом осенних кампаний того же года, когда Беларусь и Украина были захвачены немецкими войсками практически без потерь<sup>15</sup>. Аналогия с событиями 1917–1918 годов привела к недооценке боеспособности Красной армии, и это имело большие последствия. После сокрушительных ударов, нанесенных летом и осенью 1941 года, она не только не развалилась, но остановила немецкое наступление, а в начале зимы нанесла вермахту первое серьезное поражение. То же повторилось на следующий год, во время немецкого наступления на Волге и на Кавказе и завершилось решающей битвой под Сталинградом<sup>16</sup>. На этот раз, с точки

\* Количество пленных солдат русской армии за годы войны (2,4 млн) практически полностью совпадает с количеством пленных, взятых русской армией (в т. ч. австро-венгры, воевавшие в основном с русскими — 2,2 млн). Также и потери австрийцев и немцев в кампанию 1915 года не дают возможности говорить о том, что в результате этих действий им удалось достигнуть паритета по численности с русской армией. — *Примеч. ред*



зрения немцев, война решалась не на Западе, а на Востоке, а сохранившиеся в коллективной памяти позиционная война и битва материальных ресурсов на Западном фронте превратились в кровавую бойню на Востоке. Литературная проработка этой темы в произведениях «Сталинград» Пливье и «Покуда несут ноги» Бауэра заняли место, прежде отведенное «В стальных грозах» Юнгера и «На Западном фронте без перемен» Ремарка.

Наибольшего сходства обе войны достигли в морских сражениях: и в том и в другом случае в них изначально участвовали Германия и Англия, а затем к ним решительно присоединялись США. Правда, во время Второй мировой войны немцы попытались ограничить снабжение Британских островов с помощью своих подводных лодок в надежде вынудить англичан сдаться и заключить мир, но эта попытка провалилась. В годы Второй мировой войны появилась тактика, нацеленная главным образом не на сокрушение вооруженных сил противника, а на получение контроля над обеспечением гражданского населения и производственных мощностей страны — на этом строилась и стратегия воздушной войны. Конечно, и в Первой мировой войне уже проводились бомбардировки вражеских городов, но с того момента некоторые державы расширили свою авиацию до стратегической ударной силы, которую можно было использовать не только для поддержки наземных операций, но и в качестве самостоятельной военной силы, имеющей свои цели и задачи. В этом сегменте немцы довольно быстро отстали, поскольку не имели тяжелых бомбардировщиков, а развитие их воздушного военного потенциала в основном было направлено на поддержку сухопутных войск. Поэтому такая стратегия была продиктована ограниченностью ресурсов и производственных мощностей Германского рейха: гитлеровские люфтваффе начали атаковать города — Варшаву, Роттердам и Лондон, но на стратегическую войну в воздухе в силу их недостаточного оснащения воздушные силы Германии не были способны. Англичане и американцы в свою очередь были го-

товы к такой войне, и в 1943 году они на деле доказали свое превосходство в данном вопросе. В создании своего военно-воздушного комплекса немцы ориентировались на требования сухопутной войны, в то время как англичане и американцы применяли в воздушной войне принципы морского боя. Наряду с провалом блицкрига на Восточном фронте и начавшимся в 1943 году отступлением неудача в воздушной войне с Великобританией и Америкой стала второй причиной поражения Германии. Как вермахт не сумел остановить наступление Красной армии после перелома в войне, так и военно-воздушные силы Германии оказались бессильны перед атаками британских и американских бомбардировщиков на немецкие города<sup>17</sup>.

Обе мировые войны XX века в первую очередь отличаются друг от друга территорией, на которой велись военные действия: по сути, Вторая мировая война, правда, с гораздо большей интенсивностью, разворачивалась в том же европейском пространстве, что и война 1914–1918 годов. Но в период с 1939 по 1945 год за пределами Европы тоже шла война: в Восточной Африке и в районе между Суэцким каналом и Месопотамией, где во время Первой мировой войны велись ожесточенные сражения, на этот раз войны не было — за исключением боевых действий в итальянской колонии Сомали и в только что завоеванной итальянцами Эфиопии, — но зато она велась в Северной Африке, между Тунисом и Египтом — в Первой мировой войне там все было спокойно. Главным территориальным отличием Второй мировой войны стали военные действия в Восточной Азии и на Тихом океане, где образовался второй центр войны (здесь во время Первой мировой войны борьба за немецкую колонию Циндао продолжилась лишь несколько недель). Ход военных действий отражал динамику развития войны на европейской территории: после небывалого успеха японцев, в течение короткого промежутка времени ставших доминирующей силой в Тихоокеанском регионе, в ход вступила американская военная машина, которая отбросила японские войска назад как на море, так

и на суше. Здесь также огромную роль сыграла стратегическая война в воздухе, одним из решающих эпизодов которой стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

В отличие от Первой мировой войны, которая по сути представляла собой европейскую войну с весьма ограниченным вторжением в земли других регионов, Вторая мировая война велась по обе стороны Евразийского континента, а также в Атлантическом и Тихом океанах; и там и там она была начата и в результате проиграна державами, находившимися под влиянием расистской идеологии и отличавшимися милитаристским укладом. И только национал-социалистический Германский рейх использовал войну как прикрытие для геноцида. Убийства евреев, совершенные немецкими спецслужбами и их пособниками на территории Европы, являются важным отличием Второй мировой войны от Первой.

### Уроки Первой мировой войны

Способность извлечь урок из прошлых войн ради предотвращения либо успешного проведения будущих — ключевой показатель эволюции насилия и государственных стратегий. Считается, что для проигравшей стороны извлеченные уроки более полезны, чем для победителя; но это не означает, что сделанные ею выводы окажутся верными с точки зрения эффективности. В этом отношении опыт Первой мировой войны вызывает особое разочарование, поскольку сводится, по крайней мере в случае немцев (хотя и итальянцев тоже), к возврату до уровня предвоенного времени. До 1914 года в обществе, в том числе в буржуазных кругах, сложилось представление, что в Европе больше не будет крупных войн, а соперничество стран перенесется в область торговли и промышленности<sup>18</sup>. И тем не менее в 1914 году многие немцы встретили начавшуюся войну с энтузиазмом — в отличие от 1939 года, — но зато ко Второй мировой войне существовало убеждение, что готовность населения к агрессивному от-

стаиванию своих интересов является мерилом его способности к самоутверждению: таким образом, идея, которая во времена кайзера находилась скорее «на задворках» общества, теперь проникла в самое его сердце. В этой смене общественного настроения определенную роль сыграло напоминание о Первой мировой войне и связанном с ней разгуле насилия. Конечно, то же самое происходило и в других европейских обществах, участвовавших в войне, но в Германии это усугублялось поражением в войне, Версальским договором, ассоциировавшимся с позором и унижением, и опытом беспомощности во время оккупации Рурской области французскими и бельгийскими войсками. Очевидность военных последствий в виде калек и инвалидов, служивших в первые послевоенные годы главным напоминанием о войне<sup>19</sup>, сменилась эстетикой восстановленной обороноспособности и связанными с ней веяниями.

Опыт Первой мировой войны послужил уроком для оперативного и стратегического планирования в будущем, и для каждой державы этот урок был разным: в войне французы сосредоточились на Вердене, где, по их пониманию, им удалось предотвратить немецкий прорыв и тем самым создать предпосылку для победы. Военный министр Андре Мажино, получивший во время мировой войны тяжелые ранения, добился согласия на возведение огромной защитной линии из бетона и стали, идущей параллельно немецкой границе, которая должна была отразить новое нападение Германии на Францию. В отличие от довоенного периода, когда стратегическое мышление французов находилось под влиянием наполеоновского духа наступления, теперь французы делали ставку на защитную тактику и вернулись к оборонительному мышлению прежних лет, которое должно было снизить возможные потери в случае нового конфликта. Такое решение стало прямым следствием опыта Первой мировой войны.

Выводы немцев, сделанные на основе этой войны, шли в противоположном направлении: среди них были размышления о провале наступательных действий и, в случае прорыва

вражеских линий, поиск путей для продвижения вглубь вражеской территории, нацеленного на разрушение тыловых связей противника и его моральную дезориентацию. Эта задача отводилась танковым частям, которые в отличие от Первой мировой войны должны были выступать не только в качестве мобильного средства, снабжающего вооружением атакующую пехоту, но и действовать самостоятельно, используя преимущества своей скорости по сравнению с пехотинцами. Пикирующие бомбардировщики должны были поддерживать наступление танковых частей в качестве «летучей артиллерии». В то время как французы, отдавая свое предпочтение фортификационной стратегии, делали ставку на торможение развития военных действий, немецкая сторона при строительстве новых вооруженных сил считала ускорение главным преимуществом. Это стало основным принципом примененной позднее стратегии так называемого блицкрига<sup>20</sup>, в самом начале войны принесшего вермахту целый ряд побед.

Урок, извлеченный англичанами, также шел в своем собственном направлении, ибо касался «стратегии непрямых действий», как ее называл военный историк Бэзил Лиддел Гарт, при которой армия не вступала в прямую конфронтацию с противоборствующими силами, а действовала против его флангов и путей снабжения. Таким образом, роль британского флота в Первой мировой войне заключалась в ослаблении немецкой экономики за счет торговой блокады, изматывания сил мирного населения, таким образом, способствуя краху Германской империи осенью 1918 года. Однако война длилась более четырех лет, а эффект от торговой блокады проявился лишь спустя чуть более двух лет. Соответственно, нужно было искать способы более быстрого достижения цели, и таким способом оказались стратегические бомбардировки<sup>21</sup>. Они представляли собой нападения на военно-промышленные центры, железнодорожные узлы и, наконец, крупные города противника, лишаящие его возможности продолжать войну и позволяющие избежать тяжелых потерь в сражениях, как это было в Первой мировой войне.

Огромные потери во время Первой мировой войны стали предметом размышлений военных стратегов всех европейских держав. Было очевидно, что во второй раз общество к такому просто не готово — по крайней мере в западных демократических странах. Европейское общество эпохи героизма, втянутое в 1914 году в войну, вышло из нее уже как постгероическое общество<sup>22</sup>; с утратой готовности к самопожертвованию тоже нужно было считаться. Франция, понесшая во время Первой мировой войны слишком большие потери<sup>23</sup>, выбрала стратегию, при которой система фортификационных сооружений должна была максимально сократить количество будущих жертв. Англичане, чьи потери были гораздо ниже французских, причем из-за действовавшей в Великобритании до 1916 года системы привлечения добровольцев, они в основном пришлось на политически грамотный средний класс, сделали ставку на «непрямые» стратегии, позволяющие контролировать количество жертв. Немцы, опираясь на планы молниеносных наступательных операций, вновь видели себя лидерами в войне, которая им представлялась в виде серии военных краткосрочных кампаний, длящихся всего по несколько недель, а следовательно, с невысокими потерями.

И только в Советском Союзе ситуация складывалась иначе: Россия во время Первой мировой войны понесла тяжелые потери\*, и летом 1917 года царская армия была расформирована\*\*. Но к мировой войне добавилось еще четыре года Гражданской войны, которая привела к глубокому очер-

\* Автор пытается подогнать исторические факты под свою концепцию. Потери России в Первой мировой войне в абсолютных цифрах были меньше немецких и сопоставимы (по разным системам подсчетов) с французскими. При том, что потери из расчета на тысячу человек (что более точно свидетельствует о давлении уровня потерь на общество) в России составили 11 человек, во Франции — 34, в Великобритании — 16, в Австро-Венгрии — 18, в Германии — 31 человек. Эти подсчеты, сделанные советским демографом Б. Ц. Урланисом, на данный момент являются признанными во всем мире. — *Примеч. ред.*

\*\* Демобилизация русской армии была проведена большевиками в ноябре 1917 — апреле 1918 года, а не летом 1917-го. — *Примеч. ред.*

ствению общества<sup>24</sup>. Тридцатые годы для советского общества стали временем беззакония, и заниматься разработкой тактик, нацеленных на снижение человеческих потерь, было некому и незачем. Тема ценности человеческой жизни не интересовала советское руководство, вопрос сокращения жертв для них попросту не стоял. К тому же маршал Тухачевский и многие старшие офицеры, проводившие модернизацию армии, были казнены по приказу Сталина. Политические лозунги и общая политическая установка делали из советского народа героическое общество, для которого достижение великую цель оправдывало любые жертвы. С приходом к власти национал-социалистов подобная точка зрения стала преобладать и в Германии: общество нужно перековать в сообщество героев. В Германии, как и в Советском Союзе, работала идеологическая машина, за которой стоял репрессивный аппарат, принуждавший всех, кто не желал следовать идеологии добровольно, к покорности. Стратегия и тактика немцев, в отличие от советской стороны, не предусматривали безоговорочного расходования человеческого материала ради достижения своих целей. Позднее это сказалось на количестве жертв во Второй мировой войне, в которой потери Красной армии были гораздо выше, чем у вермахта.

Накануне Второй мировой войны политический мир Европы демонстрировал серьезное разделение мнений в вопросах своей военной подготовленности и способности вести войну, в результате чего сформировалось несколько лагерей. Одни заявляли, что войн, подобных Первой мировой, они больше не желают и выдержать такое во второй раз будут просто не в состоянии. К таким относились постгероические общества Западной Европы. Учитывая этот факт, политические лидеры перед лицом неизбежной войны высказывались весьма осторожно и сдержанно. Примером тому служит политика Франции и Великобритании, являющаяся полной противоположностью брутальной решительности Гитлера. Второй лагерь был представлен обществами, которые изначально переживали дегероизацию, но в процес-

се столкнулись с внешними факторами, связанными с коллективным унижением — это вызвало в обществе зарождение встречных настроений, в которых война снова виделась как главный политический инструмент. В результате в этих обществах наблюдалось резкое противостояние сторон, одна из которых преследовала цель национального (воз)рождения путем переговоров и экономического развития, а другая выступала за агрессивную политику с использованием военной силы. Основными представителями этой группы являлись Италия и Германия. В конце концов демократическая обратная связь в них была заблокирована, и это благоприятствовало осуществлению политики подготовки к войне, проводимой как Муссолини, так и Гитлером. К тому же в фашистской Италии и нацистской Германии проводилась массивная индоктринация населения, нацеленная на трансформацию постгероического общества в героическое, снова готовое к войне, в этот раз она сопровождалась заверениями в том, что благодаря более решительным действиям и лучшей вооруженности потерь в ней будет меньше, а результат — внушительнее.

Нечто похожее происходило в Японии, хотя она принимала довольно незначительное участие в Первой мировой войне; зато в 1904–1905 годах она провела крайне затратную войну против России и с начала 1930-х годов неоднократно участвовала в военных конфликтах в Маньчжурии. Здесь героизация общества происходила с помощью традиционных националистических инструментов; и все же Япония обошлась без использования тоталитарной идеологии и репрессивного аппарата, направленного на подавление внутренних политических сил, не признающих войну, как это было в Италии и Германии. Японская модель, в которой в отличие от итальянского фашизма или германского национал-социализма война не пропагандировалась как естественный ход жизни, а оставалась лишь средством достижения национальных целей в пределах политической деятельности и за счет подготовленных к войне кадров, была отчасти реализована в ново-



образованных государствах на востоке Центральной Европы, в первую очередь в Польше, а также в Венгрии (потерявшей в мировой войне две трети своей территории и 40 процентов этнически принадлежащего ей населения)<sup>25</sup>.

Для польского общества Первая мировая война также стала серьезной травмой; польские солдаты сражались не за Польшу, а в рядах армий Австро-Венгрии, Германской империи (точнее, прусской армии) и, в первую очередь, в Русской армии, будучи принесенными в жертву чужим целям и интересам. И только в войнах возрожденной Польской республики, бушевавших с 1918 года, поляки сражались за чисто польские интересы. Соответственно, польское общество все еще находилось в плену героического воодушевления и пока не перешло от героического общества к постгероическому, то есть не распознало в героизме ложного восприятия мученичества<sup>26</sup>. Это стало социально-нравственной основой политики, проводимой польским правительством в 1938 и 1939 годах, когда Польша сначала заключила договор с национал-социалистической Германией, направленный против Советского Союза, а затем, когда стало ясно, что Гитлер планирует принести Польшу в жертву своей политике шантажа, отказалась пропустить советские войска через свою территорию, тем самым сорвав переговоры, направленные на создание большой Антигитлеровской коалиции<sup>27</sup>. Польша полагалась на заверения в защите и помощи со стороны Франции и Великобритании, и при этом варшавские политики, видимо, рассчитывали на то, что готовность к страданиям и самопожертвованию там будет такой же, как в Польше. Это заблуждение имело большие последствия: Франция и Англия хотя и объявили войну Германии после вторжения вермахта в Польшу, однако не предприняли ничего, чтобы помочь осажденным союзникам и повести наступление на укрепления немецкого «Западного вала». И даже наоборот, когда три недели спустя Сталин в соответствии с секретным дополнительным соглашением к пописанному Молотовым и Риббентропом Договору о ненападении велел своим войскам пересечь

границу Польши\*, они не объявили ему войну, а лишь смирились с новым проявлением агрессии в отношении Польши. Таким образом, судьба страны была решена.

Был и четвертый тип героизма в Европе, и он преобладал в Советском Союзе. Большевистский проект построения социалистического, а затем и коммунистического общества был основан на избыточной готовности к жертвоприношению и включал в себя массовое уничтожение политических врагов и предателей. С приходом к власти Сталина Коммунистическая партия и государственный и военный аппараты стали подвергаться систематическим «чисткам», жертвами которых еще до начала войны стали миллионы. Героизм и мученичество в советском обществе вступили в тесную связь, завладев жизнями и сознанием людей как ни в одной другой стране, будь то фашистская Италия или нацистская Германия. Советский Союз стал одновременно героем и мучеником, и в 1941–1945 годах это послужило основой для рождения неистовой самоотверженности и беспрецедентной выносливости советского общества, сорвавших планы Гитлера и его командования.

Именно это сочетание героизма и мученичества позволило Советскому Союзу, единственной из всех держав, участвующих во Второй мировой войне, особенно не заботиться о сокращении своих потерь. В соответствии с этим планировалась и боевая тактика Красной армии: для достижения поставленных целей она, в отличие от тактики вермахта до 1943–1944 годов, шла на любые жертвы. Эти потери составили около тринадцати миллионов солдат\*\*. К военной практи-

\* Секретный протокол не предусматривал ввода советских войск в Польшу, а лишь определял «границы сфер интересов» сторон «в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва)» и Польского государства. — *Примеч. ред.*

\*\* По данным архивных источников на данный момент определено, что безвозвратные потери (погибли, умерли от ран, пропали без вести и не вернулись из плена) Красной армии составляют 8 668 400 военнослужащих. — *Примеч. ред.*

ке такого рода немцы были вынуждены прибегнуть лишь на заключительном этапе войны, и в результате в последний год войны их собственные потери составили столько же, сколько и за все предыдущие военные годы. Всего в войне немецкая сторона потеряла не менее 5,3 миллиона солдат. Для наглядного сравнения с постгероической моделью ведения войны западными странами следует сказать, что Соединенные Штаты потеряли 407 000 военных, а Великобритания — 270 028.

Для Второй мировой войны также характерны четыре вида героического потенциала, составившего социально-моральную основу для ведения войны и выживания в ней. Среди них — постгероические общества Запада, которые проявляли весьма низкую воинственность и по возможности старались избежать войны. В продолжение этой линии Франция и Великобритания с 1936 года проводили в отношении Гитлера политику умиротворения и не предприняли каких-либо решительных действий против Италии в тот момент, когда Муссолини напал на Абиссинию (Эфиопию), планируя превратить страну в итальянскую колонию и таким образом вывести Италию в ряд ведущих европейских держав. Представители Женевской Лиги Наций воздержались от вмешательства даже тогда, когда в 1936 году итальянские войска применили в Эфиопии отравляющие вещества, совершив таким образом преступление против человечества<sup>29</sup>. Во время гражданской войны в Испании Запад вновь проявил свою сдержанность: правительство левых сил во Франции не решилось поддержать Испанскую республику и законное правительство во время военного переворота генерала Франко, в то время как Италия и Германия активно вмешивались в события на стороне путчистов, оказывая поддержку боевой техникой и воинскими контингентами<sup>30</sup>. В этом конфликте был также замешан Советский Союз, который, правда, поддерживал не само правительство, а коммунистов, воюющих на его стороне. Существует мнение, что гражданская война в Испании стала прелюдией ко Второй мировой войне: в ней состоялась предварительная схватка между Гитлером и Сталиным.

Союз Сталина с Гитлером\* также можно объяснить тем, что до весны 1939 года западные державы продолжали идти на уступки гитлеровской политике шантажа: при вступлении вермахта в демилитаризованную Рейнскую область, при возвращении всеобщей воинской повинности в Германии, при присоединении Австрии к Германскому рейху весной 1938 года и, наконец, осенью 1938 года, когда в Мюнхене без согласия Чехословакии была [Великобританией и Францией] одобрена передача Судетской области Германии. Конечно, такая политика во многом была связана с антивоенными настроениями населения; по возвращении из Мюнхена Чемберлен и Даладье снискали бурные аплодисменты за то, что способствовали сохранению мира в Европе. Оба они определенно вынесли урок из Июльского кризиса 1914 года, приведшего к Первой мировой войне, ибо пустили в ход дипломатию и делали все, чтобы остановить роковой механизм, в котором союзнические обязательства превращали объявление войны в череду следующих друг за другом военных ультиматумов, что в 1914 году сделало из локального балканского конфликта великую европейскую войну. Для Сталина этого было достаточно, чтобы не доверять Западным державам и не рассчитывать на них в качестве союзников против Гитлера. Скорее, он исходил из того, что Франция и Великобритания поддержат нападение Гитлера на СССР, стремясь положить конец социалистическому эксперименту в России. В таких условиях он предпочел союз с Гитлером, желая раздвинуть границы Советского Союза и вернуть те области, что принадлежали Российской империи до 1917 года.

Если бы во время мирных переговоров в Версале Франция и Великобритания пошли на уступки Веймарской республике в том, в чем между 1936 и 1938 годами они гото-

\* Трактовка автором Договора о ненападении 23 августа 1939 года и Договора о дружбе и границе 28 сентября 1939 года как союзных некорректна, поскольку ни тот, ни другой не подразумевали каких-либо совместных действий и, следовательно, не могут считаться союзными. — *Примеч. ред.*

вы были уступить Гитлеру, то история Европы в XX веке наверняка сложилась бы совсем иначе: Гитлер не пришел бы к власти, поскольку подавляющее большинство немцев не считало бы Версальский мир позорным, а рассматривало бы его как справедливый, если не сказать щедрый, мирный договор. Но то, что в 1919 году могло стать для молодой немецкой демократии счастливым шансом, для Гитлера оказалось всего лишь очередной добычей, и его аппетит от этого только разгулялся. Западные политики извлекли урок из «попадания» в войну, как некогда назвал это Ллойд Джордж, но не поняли, что свои результаты они адресуют не той стороне. Их выводы оказались ошибочными для данной конкретной ситуации.

Поляки также считали, что извлекли урок из истории и в начале лета 1939 года отклонили требование Гитлера отдать Германии вольный город Данциг и предоставить коридор для выхода немецких войск к Балтийскому морю, несмотря на то что диктатор пообещал Польше признание Германией ее территориальной целостности, в том числе ради ведения совместной войны против Советского Союза. Однако в случае нападения Германии на Польшу поляки также не собирались предоставлять Красной армии право прохода по своей территории, ибо это автоматически вовлекло бы их в войну с немцами. Считается, что история раздела Польши началась с уступок притеснявшим ее с востока и запада государствам, в то время как самая надежная позиция у Польши была только при поддержке Франции. У поляков были веские причины не доверять Пруссии и бояться русских. В сентябре 1939 года эта стратегия, основанная на историческом опыте, себя не оправдала, и польская территория была вновь поделена между Германией и Советским Союзом.

Наконец, немецкая сторона также полагала, что урок Первой мировой войны не прошел для нее даром, и результатом этого стала директива, согласно которой войну на два фронта следовало избегать всеми способами. Напав на Польшу, Гитлер, вероятно, рассчитывал только на то, что за нее вступится Франция, а Великобритания останется в стороне;

каково же было его удивление, когда от Британии последовало объявление войны. Заключив в свое время со Сталиным пакт о ненападении, Гитлер позаботился о быстром истощении Польши, поскольку вести войну на два фронта в момент наступления советских войск с востока она бы не смогла. На самом деле расчеты Гитлера оправдались не только в сентябре 1939 года: весной 1940-го командование вермахта смогло создать на западе сильную группировку и в ходе стремительной кампании нанести поражение Франции (и разбить Британский экспедиционный корпус), в то время как Советский Союз на востоке пока не представлял для Германии угрозы, а поддерживал рейх поставками сырья\*. К моменту нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года вермахт мог сосредоточить свои силы уже на востоке, поскольку на западе к тому моменту все важные противники на территории Европы были нейтрализованы\*\*. До вторжения союзных войск в Нормандию, состоявшегося 6 июля 1944 года, никакой реальной войны на два фронта для немцев не было — по крайней мере, если не считать вторым фронтом Итальянский театр военных действий, где в сражениях с англичанами и американцами немецкая армия не была задействована в крупных масштабах, или англо-американскую кампанию ковровых бомбардировок. Сталин в отличие от Черчилля как раз не считал воздушную войну отдельным направлением военных действий и требовал от Западных держав открытия реального второго фронта. Однако Черчилль медлил, опасаясь провала вторжения и связанных с ним высоких потерь, способных привести к выходу Великобритании из войны. Таким

\* Поставки сырья осуществлялись не в рамках «поддержки рейха» (т. е. по союзническим обязательствам), а на основе двусторонних коммерческих договоров, в связи с чем этот вопрос необходимо рассматривать в плоскости экономической, а не политической, как это делает автор. — *Примеч. ред.*

\*\* Не совсем понятно, почему «важным противником» автор считает только Францию: Великобритания не была нейтрализована, не говоря уже о еще не вступивших в войну, но явно поддерживающих западные демократии Соединенные Штаты. — *Примеч. ред.*

образом, он пытался выиграть время, ожидая лучших условий для вторжения<sup>31</sup>. В результате, когда оно состоялось, в войне произошел перелом\*, поскольку в то же время Красной армии удалось разбить немецкие войска на центральном участке советско-германского фронта, тем самым окончательно предрешив исход войны, которая продлилась после этого еще десять месяцев.

Но почему же в августе 1939 года Сталин заключил с Гитлером пакт против тех, кто в будущем оказался его союзниками? Видимо, он также считал, что научился на ошибках истории, и большую роль в этом сыграли представления о ходе Первой мировой войны. В русской интерпретации именно русские войска как минимум дважды спасали своих западных союзников, своим наступлением помешав немцам использовать основную часть их сил против французов. В начале войны русские в составе двух армий вторглись в Восточную Пруссию и вынудили немцев перевести крупные силы на Восток — именно этих сил Германии не хватало в битве на Марне, что поставило жирную точку на плане Шлиффена. С российской точки зрения битву на Марне Россия выиграла для французов в Восточной Пруссии — правда, ценой уничтожения всей русской армии в битве при Танненберге. Русские спасли Францию, хотя сами потерпели поражение, а французы праздновали победу при Марне. Во второй раз, согласно той же позиции, российские войска пришли на помощь Франции летом 1916 года, когда та была на краю гибели в Вердене. Именно наступление на южном участке Восточного фронта, названное в честь русского генерала Брусилова, вызвало передислокацию немецких боевых подразделений из района Верден на восток и таким образом спасло Францию во второй раз, в то время как само наступление Брусилова застопо-

\* Большинство историков датируют коренной перелом во Второй мировой войне не высадкой союзников в Нормандии, а 1943 годом — начиная с капитуляции немецких войск под Сталинградом и завершая битвой на Курской дуге, к чему можно добавить и поражения Германии на других ТВД — в Италии и Тунисе. — *Примеч. ред.*

рилось после первоначального успеха и стало началом конца царской армии. Так что же в свою очередь сделали для России во время Первой мировой войны Западные державы? Когда в 1915 году немцы сосредоточили свои основные силы против России, сопоставимого по мощи наступления Западных держав не последовало, да и попытка англо-французского флота прорвать оборону противника у Дарданелл потерпела неудачу. Сталин не доверял Западу и боялся, что тот использует Советский Союз в своих интересах, а затем снова не окажет поддержки. Поэтому можно сказать, что и Сталин считал, что извлек урок из истории и Первой мировой войны, однако с позиции нашего времени этот урок тоже кажется неверным.

### **Ход войны и ее последствия**

Войну в Европе и в Восточной Азии можно разделить на два этапа: на первом этапе фашистские или милитаристские державы достигли успехов, которые с учетом опыта Первой мировой войны казались невозможными. Если основываться на традиционном подходе, то едва ли можно было допустить возможность победы Германии над Францией в такой короткий промежуток времени, а также триумфальное шествие японцев, дошедших практически до самой Индии и пошатнувших британские и французские колониальные империи из Восточной Азии: они и в самом деле принципиально изменили политическую конъюнктуру в этом регионе. В отличие от Первой мировой войны Вторая имела необратимые последствия: изменение границ, произошедшее в ходе Первой мировой войны, как обнаружилось уже спустя всего пару десятилетий, можно было пересмотреть с помощью оружия. А вот геноцид европейских евреев, сопровождавший завоевания вермахта, отменить невозможно, как нельзя изменить переселение и перемещение огромного количества людей во время войны и после ее окончания. Параллельно с этим



опыт японского триумфального шествия показал, насколько хрупким было колониальное господство европейцев в Восточной Азии. После войны французы, англичане и голландцы пытались восстановить свое господство в этом регионе, но это им не удалось ни в военном отношении, ни в экономическом: стоимость поддержания колониального господства из-за необходимости постоянного военного присутствия была настолько высока, что продолжение колониальной политики оказалось невыгодным: она стоила больше, чем приносила. И то, что произошло в Восточной Азии, вскоре перекинулось на Южную Азию, а затем и на Африку. Эпоха колониального господства европейских держав подошла к концу.

Но сначала в войне произошел поворот, положивший конец германскому и японскому триумфам. Он был вызван как нарушением коммуникационных связей, так и мощным сопротивлением противника. Так или иначе, чем дольше длилась война, тем большее значение имели производственные мощности и экономические ресурсы воюющих держав, а значит, перспективы немцев и японцев на успех постоянно ухудшались. До тех пор, пока значение имел лишь военный потенциал, казалось, будто нацистская Германия и имперская Япония могли выиграть войну; теперь же ситуация изменилась. Формально говоря: чем дольше длилась война, тем большее значение имело преобразование экономической мощи государств в военную, и чем интенсивнее шло это преобразование, тем меньше шансов на успех оставалось у Германии и Японии.

По большому счету, политическое и военное руководство агрессоров не могло не осознавать справедливость такой «формулы успеха» в войне в эпоху промышленного производства, однако они сделали ставку на ускорение военных действий, чтобы таким образом выиграть время, а значит, и войну. Их контраргумент звучал следующим образом: чем быстрее военные кампании приведут к успеху, тем меньше потребуются собственных ресурсов и тем больше ресурсов и производственных возможностей будет захвачено на завоеванных тер-

риториях, а чем больше их попадет в руки завоевателей, тем скорее, учитывая экономическую мощь противника, они смогут сравняться с неприятелем силой. Начав военную кампанию, Германия и Япония были вынуждены продолжать свои завоевания и захваты, пытаясь таким образом защитить все то, что они уже присвоили. Другими словами, теперь они не могли остановиться и сказать, что им достаточно того, что уже попало к ним в руки. В начатой ими войне за мировой порядок уже не могло быть никакого «достаточно».

Вероятно, летом или осенью 1940 года именно это стало решающим фактором для принятия Гитлером решения о нанесении удара в самое сердце Советского Союза. Важную роль сыграли при этом идеологические аспекты, такие как одержимость завоеванием «жизненного пространства на Востоке», но даже если бы не идеология, то немцы рано или поздно перекинулись бы в своей грабительской войне и на территорию Советского Союза. Завоевания в Северной Африке и на Ближнем Востоке, которые части немецкого командования рассматривали в качестве альтернативной стратегии военных действий, должны были усмирить Британскую империю, однако сводились к экономической зависимости от Советского Союза. К тому же они не предложили решения проблемы США, дышащих немцам в спину и готовых, по общему мнению, как и во время Первой мировой войны, открыто вмешаться в военный конфликт в случае, если англичане будут близки к поражению. И все же Гитлер надеялся, что нападение Японии на США на долгое время парализует силы Америки, но и с этим он просчитался. Нападение на Советский Союз, совершенное 22 июня 1941 года, должно было обеспечить Германию необходимыми ей ресурсами, давая возможность громко заявить о себе зарубежным державам. Когда кампания против Советского Союза в ноябре — декабре 1941 года сначала увязла в грязи, а потом в снегу, война для немцев оказалась проигранной. Тем не менее потребовалось почти три с половиной года, чтобы этот результат был реально достигнут.

Гораздо больше, чем обычное «сведение» обеих мировых войн в одну новую «Тридцатилетнюю войну», систематическое сравнение этих войн способствует пониманию явлений первой половины XX века. Геополитические проекты, соответствующие выводы по поводу потенциальных угроз, экспансий, противостояния сухопутных и морских держав, а также их неожиданные альянсы — разбор обеих мировых войн, не ограничивающийся простым отслеживанием хода войн, а учитывающий в анализе заветные ожидания и поставленные цели участников, предлагает опасные выводы сродни «извлеченных уроков истории». В начале Второй мировой войны практически все крупные мировые державы полагали, что уже извлекли урок из истории Первой мировой войны, однако, как потом оказалось, выводы многих из них оказались ложными. Чтобы избежать ошибок прошлого, недостаточно было просто повторить те шаги, которые оказались удачными, и заменить противоположными действия, приведшие к провалу. Тут необходимо было глубоко проанализировать всю ситуацию и найти причину основных успехов и неудач. Систематическое сравнение обеих мировых войн в контексте стратегий участвующих в войнах держав обостряет восприятие сегодняшнего момента и способствует правильному анализу текущих проблем.

# Часть II

## Постгероическое общество и моральный облик воина

### 6 Герои, победители, творцы мирового порядка (моральный образ воина и военное международное право в условиях симметричных и асимметричных войн)

#### Суша и море — разные плацдармы войны

Во все времена любые вооруженные конфликты на Земле несли в себе асимметрию, проявлявшуюся во множестве факторов, от разницы в уровне вооружений воюющих сторон и до неравноценности сил континентальных и морских держав. Стараясь компенсировать разницу в военной оснащённости, воюющие стороны стали вооружаться одновременно оружием дальнего и ближнего поражения — мечами и копьями, пиками и луками. Правда, подобное могло происходить только в профессиональной армии, а не среди ополченцев, прибегавших к оружию лишь в случае крайней необходимости. Начиная с греческих ополченцев VI и V веков до н. э. недостаток навыков ведения поединков непрофессиональные воины компенсировали тем, что выступали единым фронтом — «плечом к плечу». Уступая профессиональной армии в военной мощи, ополченцы компенсировали свое отставание за счет духа гражданского единства, ставше-

го их главным орудием на поле сражения<sup>1</sup>. Таким образом, они сформировали новый тип симметрии, где на смену одиночным воинам пришла сплоченность отрядов, составленных вооруженными с головы до ног ополченцами. В то время как в поединке первоклассных воинов решающее значение имели сила и умение, опыт и решимость, в бою, где между собой сталкивались целые фаланги, гораздо важнее было взаимодействие: до тех пор, пока сосед прикрывал спину соседа, отряды воинов-граждан были устрашающей силой для противника, пусть даже сформированы они были далеко не из профессиональных воинов, смысл жизни и цель существования которых заключались в стремлении к военной славе и почету.

Таким образом, появлялись все новые типы симметрии, а вместе с ними — соответствующие правила и нормы войны, а также образ воина и соответственно его «гарантии», основанные на религиозных обязательствах или этических самоограничениях. При этом в те периоды военной истории, когда происходило нарушение симметрии (например, против отдельных воинов выступает единый и сплоченный отряд или в военном конфликте используется новый род войск, как, в частности, отряды профессиональных лучников и т. д.), международное гуманитарное право, вмещающее в себя все возможные обязательства и самоограничения, каждый раз находилось под угрозой. В такие моменты воюющие стороны, захлебываясь взаимными упреками и обвинениями в коварстве и предательстве, начинали пренебрегать прежними длительными договоренностями в отношении ограничений военного насилия. Со временем отстающая сторона начинала наверстывать упущенное, например, принимая решение о создании отрядов лучников, и постепенно приближалась к уровню военного оснащения противника, тем самым восстанавливая симметрию. Как правило, эта симметрия становилась более комплексной, чем была до этого, ибо речь идет об обновленной симметрии всех участников войны. Стремление к победе и самосознание воинов, движимых жадной

признания их героизма, обеспечивали восстановление симметричных военно-политических положений в случае их нарушения<sup>2</sup>.

Однако в противостоянии континентальных и морских держав восстановление (или создание) симметрии выглядело более затруднительным: континентальные державы тоже могут строить корабли и оснащать флот для борьбы против морских держав, а морские державы в свою очередь также способны высаживать сухопутные вооруженные отряды и вести войну на суше. И все же стратегии, цели и задачи войны в обоих случаях слишком отличаются друг от друга: стратегия континентальных держав нацелена на решительный бой, в то время как морские державы предпочитают ведение длительных войн на истощение. Для континентальных держав решающая битва служит кульминационным моментом войны и одновременно мерилom возможностей воюющих сторон; для морских держав, напротив, в войне самым главным остаются имеющиеся в распоряжении ресурсы.

Перикл, ведущий афинский политик, напутствуя своих земляков на войну с аристократической Спартой, в первую очередь говорил о различиях между сушей и морем: спартанцы жили своим трудом, не располагали особыми средствами и были неопытны в ведении длительных войн. «Дать отпор грекам в одной-единственной битве — на это пелопоннесцы и их союзники способны, но вот бороться с державами совсем другого рода им не по плечу»<sup>3</sup>. Перикл, а с ним и историк Фукидид, вложивший в уста политика эти слова, был одним из первых, кто смог стратегически осмыслить асимметрию, создаваемую противостоянием морского и сухопутного боя, и использовать ее в качестве аргумента для придания смелости афинским ополченцам в борьбе против спартанской профессиональной армии: если спартанцы не смогут провести решительный бой и афинянам удастся затянуть войну, то в результате война с закаленными морем ополченцами может оказаться солдатам-героям не по пле-

чу. «Важнейшим затруднением станет для них нехватка денег, которые достаются им с таким трудом и так нескоро; а ведь военные обстоятельства не заставляют себя ждать». И еще: «Благодаря нашей мореходности мы обладаем большим опытом в сухопутной войне, чем они, ограниченные материком — в морской. Однако стать опытными мореходами так просто у них не получится»<sup>4</sup>. И хотя в конечном итоге в войне со Спартой Афины потерпели поражение, в этом конфликте впервые нашла отражение неравноценность войны на море и на суше: в речи Перикла банальная несимметричность морской и сухопутной войн превратилась в стратегически осмысленную асимметрию.

С точки зрения спартанцев афинская стратегия скорее годилась для торгашей, а не для героев<sup>5</sup>; в ответ они решились совершить нечто совсем негероическое, а именно срубить оливы и виноградники в Аттике, дабы спровоцировать афинян на решительные действия. По представлениям того времени такое действие было равносильно военному преступлению, поскольку, для того чтобы вновь посаженные маслины начали плодоносить, требовалось не менее десятилетия; то же касалось виноградников. Конечно, сжигание годового урожая зерна противника во время войны было обычной практикой, наносившей значительный ущерб городу, однако в таком случае речь не шла о его реальной экономической гибели. По сути, поджог запасов зерна был одним из основных элементов афинской военно-морской стратегии: войска высаживались в разных частях побережья, наносили неожиданный удар союзникам Спарты и возвращались на свои корабли, прежде чем спартанцы успевали среагировать на это и направить своих профессиональных воинов в ответ. Фукидид описывает действия афинян следующим образом: «Высадились в предгорье Левкиме и опустошили пашни». Или: «Афиняне разорили их земли», а также: «Там они сошли на берег, разорили пашни и напали на бастион сиракузцев, однако взять его не смогли; затем с пехотой и флотом дошли они до реки Териас, вышли на поля, разграбили их и сожгли

хлеб; [...] на обратном пути они также подожгли нивы инесайцев и гиблейцев»<sup>6</sup>.

Серьезное военное преступление лакедемонян стало реакцией на неготовность афинян уступить признанному превосходству спартанцев в военных поединках. Спартанцы решились на эскалацию, поскольку им была необходима решающая битва. Сама по себе экономическая война, основанная на разрушении трудно восстанавливаемых ресурсов, претила им. Спартанский командующий Архидам рассчитывал на то, что афиняне вступят в решающую битву и затем явятся к спартанцам на поклон. Они бы наверняка могли даже пойти на политические уступки, побоявшись увидеть «свою страну в полном опустошении, покуда она еще не погублена»; поэтому Архидам долго сдерживал своих солдат, прежде чем начать поистине разрушительные действия<sup>7</sup>. Однако, не получив предложения от афинян, Архидам приказал полностью опустошить Аттику. Судя по всему, нарушение симметрии в войне происходит в тот момент, когда одна из сторон, понимая, что соблюдение правил ущемляет ее интересы, проявляет готовность к нарушению правил. Иными словами, актуальность этических норм и установленных правил, очевидно, привязана к симметричности военной ситуации. Как только она нарушается, готовность к соблюдению этих правил и норм исчезает.

### **Героическое преображение воинов**

Откуда же взялись эти симметрии? Очевидно, они появились не сами по себе, а формировались в результате договоренностей и соглашений. При этом сами воины были в первую очередь заинтересованы в этих симметриях: они охотно подчинялись их условиям. Профессиональных бойцов интересовала не столько сама победа, сколько сопутствующие ей признание и уважение, почести и награды. В своем труде «Феноменология духа» Гегель говорил об этом, описывая стремление



самосознания к признанию. При этом готовность к смерти является в нем решающим критерием: насколько сильно привязано стремящееся к признанию самосознание к продолжению своего физического существования, страшится ли оно битвы не на жизнь, а на смерть или ему настолько важно признание, что оно готово променять на него даже свою жизнь?<sup>8</sup>

В своем сочинении Гегель не упоминает о важности правомерности борьбы, ибо только в правомерной борьбе победитель может считаться настоящим героем, а не обычным убийцей. Героизм в случае, когда речь идет о поединке с воином, а не битве с драконом или чудовищем, зависит от симметричности ситуации. Только в битве, проведенной по всем правилам, победитель может претендовать на звание лучшего воина. А если найдется поэт или историк, который напишет о состязании, то победитель будет считаться героем. Именно поэты творят из воинов героев «в сияющих доспехах», превращая тем самым героический эпос в залог симметричности венных действий. Героический эпос — это не только словарь героических терминов, это и свод правил. Именно поэтому он так консервативен и жестко противится каким-либо инновациям.

Именно ориентация на героический идеал привела к формированию этических и эстетических норм, за счет которых воины выделялись на фоне всего остального общества; они и определяли образ, выходящий за рамки деления на друзей и врагов: благодаря этому образу воины, даже будучи противниками, имели ряд общих свойств, роднящих их друг с другом и обособляющих от не-воинов. Эта общность солдатского существования, не зависящая от принадлежности к тому или иному лагерю, и одновременная изоляция от всего остального общества находит явное выражение в песне всадников из пьесы Шиллера «Валленштейн». В первой строфе причастность к братству всадников сравнивается со свободой, а во второй Шиллер придает остроту этой мысли, представляя ее в моральном и эстетическом аспектах. Здесь солдаты являются воплощением мужества и свободы, откровенности и чистоты, еще сохранившихся в мире:

Нет воли на свете! Владыка казнит  
 Рабов безответно-послушных;  
 Притворство, обман и коварство царит  
 Над сонмом людей малодушных...  
 Кто смерти бестрепетно выдержит взгляд —  
 Один только волен... А кто он? — Солдат!\*

Согласно мировоззрению всадников, бесстрашие и безмятежность являются предпосылкой героической свободы. И тут же появляется противоположный образ подневольного человека, который из страха перед смертью берет на себя все новое бремя:

Поденщик копает утробу земли  
 И думает, клад откопает.  
 И заступом роет, всю жизнь удручен,  
 Покамест могилы не выроет он.

Однако, вопреки утверждениям всадников, описанных у Шиллера, идеал героя не дистанцируется от общества и не отвергает его; его образ в определенной мере воздействует на социальные объединения, которым герой служит защитой, получая взамен материальное обеспечение. Макс Вебер говорил о том, что военные герои и святые, выступая в качестве носителей харизмы, не беспокоятся о своем материальном доходе, препоручая эти заботы своему социальному окружению<sup>10</sup>. В пьесе Шиллера это представляется как дерзкое насильственно-грабительское поведение:

И к замку ездок подлетел на коне —  
 Нечаянный гость и нежданный;  
 А в свадебном замок пылает огне,  
 И в замок он входит незванный...

\* Здесь и далее — перевод с немецкого Н. Славятинского.

Недолго он ждал, серебром не брэнчал —  
С налету награду любви он сорвал!<sup>11</sup>

Все это не может служить основой для создания стабильной структуры. Такое поведение скорее демонстрирует моральное разложение солдат в период Тридцатилетней войны: отсутствие доверительных и взаимовыгодных связей между крестьянами и рыцарями, мирными гражданами и солдатами делало их врагами друг другу, ибо все отношения были основаны на чистом насилии. Поэтому за перемирием 1648 года последовала основательная реформа армии, нацеленная на восстановление отношений между обществом и солдатами, превратившихся в тот момент в откровенную вражду, на возвращение их в русло взаимовыгодного сотрудничества между оборонительной силой и финансовым источником. Готовность общества спонсировать свою армию растет в том случае, когда помимо доводов целесообразности им движет воодушевленность героическими идеалами, придающими обыденной необходимости обороны романтическое сияние. Идея героизма служит отражением стремления к непостижимой реальности в условиях ограниченного мирского существования. Героические идеалы и поныне лежат в основе наших представлений о войне и борьбе — даже критикующих армию или вообще пацифистских. В наши дни это проявляется в критике, направленной против использования боевых дронов, и именно со стороны пацифистов: они говорят о том, что воин превратился в пешку, и это противоречит этике войны<sup>12</sup>.

Перевоплощение воина в героя меняет его поведение и образ действий в двух аспектах: оно создает некий «интернационал героев», в котором воины независимо от того, к какому лагерю они принадлежат и за кого воюют, связаны единым представлением о том, что такое блестящая и честная победа. Единый героический образ становится основой для взаимного признания, и за счет этого воины выделяются на фоне представителей остальных социальных союзов, обеспе-

чивающих им доход. Одновременно посредством этого образа они идеализируют отношения с содержащим их сословием, превращая их в нечто большее, нежели рутинное оказание услуг по защите и охране, ставя их выше потребительских расчетов и перемещая в область новых понятий: славы и чести. Когда-то платой этим героям становилась власть над защищаемым ими союзом; порой и сами правители стремились к созданию своего героического облика, таким образом пытаясь расширить свои полномочия и господство. В то же время они загоняли себя в рамки образа, который при необходимости мог быть использован народом для проверки соответствия реальной личности героя пропагандируемому идеалу. Героическую идеологию можно было достаточно легко обратить против реальных властителей, примеряющих на себя образ героев. Хранителями этой идеологии являлись певцы и поэты, за это они получали соответствующее вознаграждение, при этом доля реального отображения действительности должна была быть минимальной, дабы не разрушить легитимность власти.

### **Давид и Одиссей как представители рационального героизма**

И все же героизм, во всяком случае, в том виде, в котором он преподносится общественности, в первую очередь служит своего рода вакциной против рационализации героя. Критический подход к героизму в условиях войны и боевых действий обусловлен определением его эффективности, основанной не на этико-эстетических идеалах, а на соотношении издержек и доходов. Мерилом героя становятся не его личные стремления, а интересы заказчиков и спонсоров, в результате такой оценки услуги героя могут показаться слишком дорогими, не соответствующими заявленной стоимости. Однако критика героя заключается отнюдь не в банальном подсчете затрат, а в создании образа параллельного героическо-

го типа, обладающего большей эффективностью и меньшей стоимостью, хотя об этих его свойствах напрямую и не сообщается. Новый тип героя по-своему привлекателен, и эта привлекательность маскирует несостоятельность прежнего героического идеала и его моральных самоограничений.

Образ классического героя и одновременно воплощение нового героического типа, ориентированного на большую эффективность, объединяют двух совершенно разных мифологических персонажей: Давида из Ветхого завета и Одиссея из «Илиады» Гомера. Давид стал героем нового типа с помощью обыкновенной пращи — традиционного оружия пастухов, используемого для защиты от диких животных; в свою очередь Одиссей сумел выделиться на фоне остальных героев, озабоченных одним лишь коллекционированием своих побед, за счет целого ряда стратегических инноваций<sup>13</sup>. Молодой пастух Давид, одолевший вооруженного до зубов филистимлянина Голиафа, не только становится победителем врага, долгое время считавшегося несокрушимым, но также служит примером, несущим унижение для соплеменников, неспособных на подвиги, которые Давид совершает без особых усилий. Давид выступает в качестве альтернативы обособленному сословию воинов, требующему соответствующих расходов. Однако производительность этих воинов явно не соответствует затратам на войско, поскольку за несколько недель никто из армии короля Саула так и не вступил в поединок с Голиафом. Юному Давиду это удастся куда лучше многих солдат, ведь ему не приходится соответствовать общепринятому образу воина: своей на первый взгляд наивной безоружностью он сбивает с толку противника, бесконечно превосходящего юношу в физической силе и вооруженности, чтобы потом с помощью камня и рогатки лишить его возможности продолжать бой, а затем обезглавить великана его же собственным мечом. Таким образом, Давид привносит в поединок асимметрию. Абстрагируясь от симпатии к молодому храбрцу, необходимо заметить, что именно Давид, изменивший правила ведения боя, ответственен за дальнейшую

эскалацию ведения войн; все последующие голиафы уже никогда более не позволяли пастухам приближаться к себе. Теперь они не ждут, пока мирный гражданин превратится в настоящего воина, а разят заранее. Неожиданность сослужила Давиду хорошую службу, но превратить ее в постоянный маневр невозможно. Став царем, Давид возвращается к традиционной боевой тактике.

В свою очередь Одиссей, пытавшийся также привнести асимметрию в войну, является воплощением совсем иного типа воина, нежели царь Давид. И хотя он принимает участие в героических сражениях, будучи, несомненно, самым настоящим ахейским героем, движет им не только желание одержать победу в поединке — Одиссей мечтает захватить Трою. Для воинов ахейской армии количество выигранных поединков определяло результат всей войны. Одиссей, напротив, считал, что состязания героев не имеют значения для исхода войны. Ему также чужды корыстные мотивы, из-за которых величайший ахейский герой Ахиллес в какой-то момент отказался участвовать в боевых действиях. Одиссей хотел, чтобы Троя пала, и с этой целью он через канализацию проникает в осажденный город, чтобы украсть статую богини Афины, а затем придумывает ловкий маневр в виде подношения троянцам огромного коня, который на самом деле является частью хитроумного военного плана. Троянский конь становится решающим элементом в процессе эскалации войны и ее превращении в бойню, поскольку, проникнув в Трою, воины сбросили свой героический образ и перевоплотились в обычных мясников. Нет больше места правилам, подношениям и взаимному признанию — война завершается ужасной кровавой расправой.

Можно ли назвать Одиссея военным преступником? В рамках героической эпохи он определенно мог расцениваться подобным образом — судя по всему, сам Одиссей всерьез опасался этого. Долгое время он избегал упоминания своего имени и не позволял чествований себя в качестве победителя Трои. Во время своих странствий Одиссей ока-

зался на феакийском пляже, где нагим его застала королевская дочь Навсикая, но и ей он представился чужестранцем, скрыв свое истинное происхождение. И только вечером, слушая песнь слепого сказителя о троянской войне и разгроме великого города, где хитроумный Одиссей назывался настоящим героем, чужеземец не сумел сдержать слез. На вопрос, отчего тот плачет, он ответил: «Одиссей — это я». Здесь можно увидеть момент зарождения индивидуального самосознания в европейской культурной среде<sup>14</sup>, и в то же время ответ Одиссея свидетельствует о том, что подтвердить свою личность великий стратег решился лишь после того, как певец констатировал его героический статус. Поставив критерии эффективности и целесообразности выше прежнего героического идеала, он привнес в войну асимметрию такой степени, что должен был сперва удостовериться в том, что общество правильно среагирует на это. Его признали героем, и это успокоило его. Теперь он смело раскрывает свою личность: Одиссей, завоеватель Трои.

В историях Давида и Одиссея ощущается влияние, которое общество, финансирующее военное дело, оказывает на обособленное сословие воинов и на его элитарные идеалы. Во всяком случае, именно этим можно объяснить то обстоятельство, что военной элите прежних лет не удалось изъять из канонических текстов о героях небезопасные для их собственного образа истории об Одиссее и Давиде. Прежние герои утратили приоритет толкования в отношении войны. Общество желает видеть результаты. Но требовать этого открыто оно пока не вправе, оттого и сохраняет свои претензии на эффективность лишь в рамках наследуемой от поколения к поколению семантики героизма. Общество не говорит о «чистогане», который для Маркса является ключевым понятием гражданской целесообразности, противопоставленной стремлению дворянского сословия к сакрализации и мифологизации, и не требует «подсчета голов», чтобы точно рассчитать, сколько стоит убийство врага. Логика определения целесообразности уподобилась дискурсу о геро-

ях; она не противоречит героизму, а видоизменяет его за счет новых кодировок и смысловых смещений. Привнесение прагматизма в самосознание героя обладает разрушительным эффектом: строгие правила и обязательства смягчаются, а образ героя начинает разлагаться изнутри. Противопоставление сословному героическому идеалу образуют идиллический герой Давид и раннебуржуазный воин Одиссей. Оба они ответственны за то, что борьба начинает выходить из-под контроля.

**Идея «справедливой войны»  
и дуэль нового типа  
в эпоху межгосударственных войн**

Появление все новых давидов и одиссеев, а также усиление влияния стратегов наподобие Перикла привело к тому, что канонический образ героя, накладывающий на воина определенные моральные обязательства, постепенно утратил свою силу. Этические принципы воинов подводились под правовые нормы, определяемые не самими воинами, а философами, теологами и юристами, которые их и составляли. От Цицерона, Августина и вплоть до Фомы Аквинского философы и мыслители выстраивали теорию «справедливой войны», которая подчиняла определенным правилам даже асимметричные обстоятельства ведения войны.<sup>15</sup> С точки зрения нормативной функции теорию справедливой войны можно рассматривать в качестве дополнения к традиционным сакральным ограничениям насилия и этическим правилам, распространявшимся на военных героев. То, что воины не могли регулировать самостоятельно, перешло в область абстрактного мышления и стало предметом изучения специалистов по вопросам норм и законов. Такое обобщение управляющей структуры лишало воина возможности полностью распоряжаться собой, подчиняя его контролю политического союза, выступающего заказчиком его услуг.



То, что на первый взгляд выглядело как углубление процесса, направленного на регулирование войны, и все еще позволяло халтурщикам и нарушителям правил оставаться «в строю», поскольку система норм была более гибкой, нежели система героических ценностей, на деле сводилось к фундаментальному сдвигу в отношениях контролирующей и подчиненной сторон на войне. Прежние героические ценности имели силу для всего класса воинов, но лишь для него, при этом их действие равным образом распространялось на обе воюющие стороны — как на союзников, так и на противников. Такая система героических ценностей выделяла воинов на фоне всех остальных людей и формировала собирательный образ военного сословия, не зависящий от актуальных конфликтов. В свою очередь нормативная система регулирования, основываясь на дуальной системе понятий, таких как справедливость-несправедливость, откровенность-неискренность, легитимность-нелегитимность, приемлемость-неприемлемость, делила военное братство по совсем иному образцу; в этой модели те, кто боролись за добро и справедливость, противостояли тем, кто этого не делал, а значит, выступал в роли вооруженных сторонников зла на Земле. Аксиологический подход к героизму, основанный на критериях военной добродетели, таких как смелость, мужество и решимость, теперь играл второстепенную роль, ибо решающими признаками стали стремление к добру и справедливости. Одним словом, воины стали подчиняться системе регулирования, над которой сами они не были властны, и в результате превращались в орудие политических проектов, нацеленных не на верификацию героизма, а на его использование в целях улучшения и изменения мира тем или иным образом.

Наряду с основополагающими принципами военного вмешательства, такими как принцип правого дела (*causa iusta*) и принцип добрых намерений (*intentio recta*), теория справедливой войны вводит такие понятия, как легитимность власти, объявляющей войну, и разумность применения силы. Правда, слабым местом теории справедливой, а значит,

оправданной войны является то, что соответствие всем этим критериям констатирует сама воюющая сторона, а не третье лицо. Но самым главным остается вопрос о том, кто вообще может обладать правом идентификации правонарушителей и объявления войны противнику на основании такого статуса.

Не случайно два антипода, образующих асимметричное противостояние, а именно крупные империи и освободительные движения, предпочитали обращаться к теории справедливой войны или, по крайней мере, к ее отдельным положениям. Место классических войн, соблюдающих законы дуэли, заняли войны миротворческие либо освободительные: в обоих случаях для воюющей стороны противник с точки зрения правовой нормы находился на более низком уровне, если вообще не считался воплощением зла. Подобная антисимметризация норм зависит от того, до какой правовой инстанции участники должны прийти в отстаивании своих прав, прежде чем прибегнуть к насилию как к средству «защиты своего права». В теории справедливой, а значит, оправданной войны соблюдение юридической процедуры обращения к высшему представителю закона являлось первоочередным и необходимым действием. В период Средневековья такими органами были папа или император, а потому военная сила превращалась из акта отстаивания собственных интересов в акт осуществления права в отношении того, кто не признавал и не считался с решениями высшего суда. В результате вооруженное сопротивление папскому или императорскому вердикту расценивалось как мятеж, и его подавление производилось мирской силой. То, что в середине XX столетия Моррис Яновиц назвал «констеблизацией войны»<sup>16</sup>, было актуально уже в период Высокого Средневековья: наделение военных полицейской функцией и проведение «всемирной внутренней политики», выражаясь словами Карла Фридриха фон Вайцеккера<sup>17</sup>.

Средневековая модель констеблизации войны в результате потерпела крах, не найдя ответов на некоторые вопросы, как то: отношения между императором и папой, не

способных достичь соглашения относительно четкого распределения областей светской и духовной компетенции, и вопрос признания этих высших инстанций. Неразрешимая проблема двоевластия латинского христианства проявлялась в выборе тех императоров, которые могли быть уверены в папской поддержке, и тех пап, которые всегда могли опереться на императора. В результате в исторической ретроспективе сначала императорская власть проиграла папству, и затем и папство потерпело поражение от зародившейся во Франции идеи территориального суверенитета. Согласно этой идее, (французский) король в светских делах, относящихся к его компетенции, приравнивался к императору. Вскоре множество властителей стали использовать этот суверенитет в своих интересах, и таким образом иерархический порядок власти сменился ансамблем по сути равноправных правителей.

Из-за большого количества суверенов война снова стала дуэльной, и идея справедливой войны утратила свое значение. Симметричность стандартов, согласно которой правом на ведение войны, по сути, обладали только император и папа, сменилась обновленной симметрией военного права, в которой на место теории справедливой войны (*bellum iustum*) пришла концепция законного врага (*iustus hostis*). Поединок героических воителей превратился в дуэльную войну суверенов, признающих законность друг друга, и именно на этом положении основана Гагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. В ней речь шла о столкновении комбатантов на территории (поле сражения), свободной от нонкомбатантов, и концентрации военных сил в пространстве (театре военных действий), где было возможно провести различие между комбатантами и нонкомбатантами, причем последних следовало оберегать. Покуда военная реальность более-менее отвечала этой симметричной системе норм, сохранялся определенный контроль над ситуацией, ибо воюющие стороны следили за соблюдением этих норм в подконтрольной им области с помощью армейских штрафных мер. Этот регулятивный механизм цивилизованной войны, связан-

ный с территориальным аспектом государства и основанный на понятии суверенитета, сохранял законный характер военного взаимодействия лишь до того момента, пока в нем соблюдались все правила. Он и обуславливал представление о войне и мире в Европе с 1648 года, то есть с момента заключения Вестфальского мира и до подписания Версальского договора в 1919 году.

### **Технологические и военно-стратегические асимметрии и полицейская функция войны**

Международно-правовая симметрия в отношениях между воюющими государствами, по сути, зависела от их способности к монополизации войны и военного потенциала каждой из сторон. Изначальная геостратегическая асимметрия в противостоянии сухопутных и морских держав<sup>18</sup> не оказывала разрушительного влияния на симметричные отношения крупных сухопутных государств лишь до тех пор, пока войны между ними велись на суше. Ситуация изменилась во время наполеоновских войн: резкий сдвиг, нарушивший симметрию и повлекший за собой серьезные последствия, вызвала испанская герилья; к антисимметризации также вело противостояние Франции и Великобритании, происходившее в разных пространствах и в различных временных условиях: в отличие от Наполеона, делавшего ставку на стратегию форсирования военных действий, англичане рассчитывали на долгосрочный эффект экономической войны, заключавшейся в торговом эмбарго и тактике каперства<sup>19</sup>. Таким образом, в своей «негероической» тактике они примкнули к Периклу, и в результате отчаянная попытка императора разбить Англию за счет победы над ее последней континентальной опорой в лице России стала для Наполеона началом его политического конца. Недоступность Англии заставила Наполеона, непревзойденного мастера сухопутной войны, принять судьбоносное решение и напасть на Россию, дойдя до самой Москвы; здесь

великий император потерял большую часть войска, развеяв миф о своей непобедимости<sup>20</sup>. Такое взаимодополнение войны на истощение и экономической войны постепенно стало отличительной чертой современных войн: почти все крупные войны XX века являются не только военным, но и экономическим противостоянием. Первая мировая стала первой войной такого рода — ее исход в конечном итоге решался не в сухопутной борьбе воюющих сторон, а в поединке экономических держав и их ресурсов<sup>21</sup>.

В то же время именно в Первую мировую войну военнотехнологические инновации, начиная с использования ядовитых газов и до появления новых технологий в производстве танков и боевых самолетов, имели первостепенное значение для результата боевых действий. Проще говоря, теперь исход битвы решало не столько квалифицированное и опытное обращение с оружием, сколько способность инженеров и промышленности создавать все большие объемы нового, более совершенного оружия, которое не может позволить себе противник. Кто получал преимущество в области вооружений, оказывался победителем; соответственно, проигравшая сторона сосредотачивала все свои усилия на том, чтобы, стараясь нагнать свое военнопромышленное отставание, сравняться с противником и восстановить симметричность сил в условиях боевых действий. Роль ученых и инженеров, техников и механиков вскоре стала не менее важной, чем роль солдата на фронте — все это не могло не отразиться на образе «героев», которые и без того утратили свое былое значение и уже ни в коей мере не могли претендовать на звание решающего элемента сражения. Борьба лишилась своего героического ореола, сделав Первую мировую войну переломным моментом в мировой истории войн. Теперь все решалось иначе: войну выигрывал тот, кто обладал большим запасом вооружений, а не тот, в чьих рядах были самые отважные солдаты. Вопрос симметрии в сражении таким образом оказался исчерпан. Программа регулирования войны с помощью героического образа воина и принципов военного права подошла

к концу. Опыт Второй мировой войны в особенной мере подействовал тому, чтобы политики впредь стремились не к регулированию военных действий, а к отказу от войны либо наделению ее полицейской функцией, обязывающей нарушителей порядка и преступников соблюдать закон. Таким образом, теория справедливой войны вновь вернулась в плоскость теоретических размышлений.

Меж тем то, что классическая форма межгосударственной войны в настоящее время постепенно превращается в исторический пережиток, связано не только с утратой ее легитимности в рамках международного права, но и с тем, что такая война, по сути, недопустима для большинства современных и куда более уязвимых обществ. Моральные и материальные издержки войны даже при благоприятном исходе конфликта стали слишком высоки для рационального строя нынешних государств. На международной военной арене все более заметную роль начинают играть субгосударственные структуры, например запрещаемые в последние годы террористические организации или «интербригады» джихадистов, которые каждый раз активизируются в той части исламского мира, где возникают насильственные конфликты (Исламское государство, Боко Харам и др.), или военачальники, деятельность которых финансируется за счет производства и распространения запрещенных товаров, таких как кокаин или героин, а в более благородном варианте, свойственном для капиталистических стран, — *частные военные компании*, превративших поставки военных товаров и оказание военных услуг в прибыльный бизнес<sup>22</sup>. Государства утратили монополию на законное и фактическое ведение войны, которая была центральным элементом Вестфальской системы, установившейся после подписания Вестфальского мира в 1648 году.

В результате появилось то, что теперь называют «гибридной войной». Наглядный пример: во время конфликта на востоке Украины Россия постоянно отрицает свое участие в конфликте — не важно, каким способом оно осуществлялось: отрядами добровольцев или российскими военнослужащими,

но в любом случае в виде поставок тяжелого вооружения. Ее представители заявляют о наличии восстания сепаратистов, мотивы которых российская сторона, по ее же собственным заверениям, вполне разделяет, но в военных действиях участия не принимает. Таким образом, Россия избежала обвинений в нарушении международного права в вопросе ведения наступательной войны против суверенного государства либо ее инициации, но в то же время на всех политических переговорах, где обсуждались вопросы ограничения и сдерживания конфликта, она получила возможность выступать в роли неофициального покровителя сепаратистов. Эта своеобразная политика России устраивала ее европейских партнеров, поскольку они, таким образом, могли не признавать различные сепаратистские группировки в качестве партнеров по переговорам, посвященных территориальному будущему Украины, и в то же время имели возможность влиять на сепаратистов через Россию, допуская, что Россия сможет выполнять договоренности, принятые в отношении сепаратистов либо будет заставлять самих повстанцев брать на себя обязательства, которые иным образом вменить им не представлялось бы возможным. В отношении Украины, которая также направила батальоны, составленные из добровольцев, на борьбу с сепаратистами, дело обстоит проще, поскольку речь идет о военных действиях, которые ведутся на территории Украины и под украинским флагом. В данном случае ответственность и обязательства, по крайней мере с точки зрения международного права, прослеживаются совершенно четко.

Но помимо военного регулирования, которое привело к тому, что горячие войны превратились в «холодные» конфликты, и поныне существующие во многих районах прежних границ распавшегося Советского Союза, чрезвычайно опасное развитие получает и ситуация с гибридными войнами: такая война способна обойти систему военных запретов ООН и положение о предотвращении конфликтов ОБСЕ, смешать и подменить понятия, тем самым открыть каналы, по которым война, которая так пока даже не называется, смо-

жет вернуться в рамки политических процессов. Это может стать прецедентом, и в какой-то момент мы обнаружим, что таких случаев уже множество, причем о войне как таковой никто говорить не будет — эта семантика вообще под запретом и не должна всплывать ни при каких обстоятельствах. В это же время зазор между миром и войной — зазор, которого в условиях международного права просто нет, — будет заполняться насилием, которое, разрастаясь все больше, в конечном итоге взорвет всю систему изнутри. Сегодня мы сталкиваемся именно с этой опасностью. Если стратегия гибридизации войны получит достаточное распространение, это окончательно похоронит идею глобального мира: каждое государство обязано защищать своих граждан, и в случае если кто-то не будет или не сможет выполнять это обязательство, международное сообщество получит право интервенции под предлогом «обязанности защищать» и в течение какого-то времени будет исполнять функции *несостоявшегося государства*. В какой-то момент эта ситуация может оказаться конечной точкой развития, где на смену войне придет гуманитарная интервенция. Но если военные силы государства будут сражаться с субгосударственными структурами, то что будет регулировать их действия впредь — положения Гагской конвенции или же потребуются какие-то новые правовые стандарты войны? Все настолько сложно, что разобраться в этом практически невозможно<sup>23</sup>. И все же краткий экскурс в историю регулирования военных действий, предложенный в книге, может прояснить некоторые моменты.

### **Асимметричные стандарты гуманитарной интервенции**

При обсуждении инициативы «обязанность защищать» и гуманитарной интервенции сразу же встал вопрос о том, кто может и хочет играть роль мирового жандарма. Очевидный претендент в виде ООН не подошел на эту роль в пер-



вую очередь из-за вето, наложенных на это решение некоторыми постоянными членами Совета Безопасности. Кроме того, миротворцы ООН в принципе могут привлекаться только в случае необходимости восстановления нестабильного мира, в то время как их полномочий и способностей явно не хватает, когда речь идет о том, чтобы устранить мощного агрессора или сохранить мир вопреки желанию партий войны<sup>24</sup>. В таких случаях рассчитывать можно только на вооруженные силы крупных держав или союзов государств, возможность использования которых напрямую связана с конкретными интересами этих стран в затронутых регионах. Все это ставит под сомнение принципы *право-го дела* и *добрых намерений*. Когда мир является общественным благом, то есть благом, при котором инвестирование и потребление не находятся в прямой зависимости друг от друга, возникает проблема «безбилетников» — преодолеть ее можно лишь в том случае, если Организация Объединенных Наций введет предписания, обязывающие государства или союзы обеспечивать соблюдение мирных договоренностей. От этого мы еще довольно далеки, и, учитывая появившуюся тенденцию к гибридизации войны, рассчитывать на подобное не приходится. Поэтому гуманитарная интервенция в течение неопределенного времени будет носить избирательный характер, и одним из оснований для принятия решения в пользу военного вмешательства станет вопрос о том, входит ли интервенция в интересы государств, ее осуществляющих. Причем эти интересы могут быть продиктованы как стремлением к расширению геополитического влияния, так и попыткой остановить потоки беженцев, спасающихся от гражданской войны и направляющихся на территорию вторгающейся державы.

И все же готовность интервентов вмешиваться в такие войны напрямую связана с их асимметричным превосходством, как правило, военно-технического характера. В случае военной интервенции, направленной на пацификацию определенного региона, это преимущество призвано не до-

пустить крупных потерь со стороны вторгающихся сил. Такие потери существенно ограничивают готовность к участию во вторжении, когда речь не идет о жизненно важных интересах интервента, а это в практике гуманитарной военной интервенции недопустимо по определению. Асимметричность военно-технического оснащения стран-интервентов принципиальным образом отличает такие интервенции от дуэльных противостояний, характерных для классических межгосударственных войн, и соответственно влияет на свод правил, выработанных в рамках традиционной конфронтации. В некотором смысле она воссоздает схему противоборства морской державы, обладающей своим преимуществом, и сухопутной: одна сторона подвергается нападениям, что в результате должно принудить ее к изменению своих планов и намерений, а другая оказывается неуязвимой. Таким образом, этические самообязательства, установленные в рамках героизма, утрачивают свою силу за неимением симметричного противника. В этом случае модель героического самообязательства основывается не на правилах дуэльного поединка, а на образе героя нового типа, избавляющего мир от чудовищ и несчастий. Однако увязать операции по поддержанию мира с подобным героическим идеалом невозможно: даже Геракл, самый главный герой западной мифологии, спасающий мир от чудищ, едва ли может подойти на роль участника таких операций.

Скорее, следует рассчитывать на то, что на стороне противника появятся асимметричные типы победителей — Давид или Одиссей. При этом их целью, в частности, станут нормативные установки и самообязательства интервентов, которые не смогут нарушить их, не поставив под сомнение легитимность своих действий. Отправной точкой здесь служит новая фундаментальная асимметрия, принципиально сравнимая с асимметричностью конфликта морской и сухопутной державы. Силы интервентов, как правило, принадлежат странам с демографическими проблемами, в то время как территории, подверженные вторжению, все-

гда демонстрируют высокие демографические показатели. Человеческие потери имеют разное значение для каждой из сторон, поэтому даже небольшое количество убитых и раненых со стороны интервентов может привести к приостановке операции либо к ее отмене. В связи с этим интервенты действуют очень осторожно, избегая любых рисков — тем самым они напоминают наученного горьким опытом Голиафа, не подпускающего к себе близко ни единого пастуха. В подобной ситуации завоевать сердца и умы людей, живущих на территории вторжения, совершенно невозможно<sup>25</sup>.

В свою очередь картина боевых действий во время гибридных войн, таких, как на востоке Украины или как гражданские войны в Сирии и Ираке, начавшиеся в результате наступления боевиков Исламского государства, выглядит практически симметричной до тех пор, пока эти боевики сражаются со своими противниками, а не используют жесточайшие видео- и фотоматериалы для запугивания и подчинения населения, живущего на подконтрольной им территории. Подобное происходит там, где боевики ИГ избирают для себя стратегию терроризма: ужас и страх призваны компенсировать относительную слабость их объединений. Однако эти исконно асимметричные стратегические элементы дополняются симметрией в обычном смысле этого слова, когда комбатанты Исламского государства сталкиваются с силами сирийской или иракской армии или местных ополчений и начинают бороться с ними за контроль над определенными территориями. Подобное можно наблюдать на востоке Украины, где появился новый тип героического воина, для которого характерно сочетание малых военных действий и крупных боевых сражений. На чьей стороне больше таких бойцов, тот и побеждает в войне этого типа. С точки зрения норм военного права разница между боевиками Исламского государства и казачьими войнами в Донбассе кажется очевидной: последние, как правило, придерживаются определенных законов войны,

в то время как боевики открыто игнорируют любые правила и ограничения.

В таких обстоятельствах ничуть не удивительно, что эра гуманного интервенционизма, провозглашенная по окончании противостояния Востока и Запада, вновь подошла к концу. Попытка соблюдения норм международного права, сделанная интервентами, провалилась из-за асимметрии, возникшей в результате ответных действий со стороны населения затронутых регионов. А миротворческое вмешательство в конфликты, подобные войне в восточной Украине, по определению не может происходить иначе как посредством дипломатических инструментов. Посему наведение порядка уже довольно долгое время ограничивается попыткой локализации «беспорядка», что никак не вписывается в проект примирения разных сообществ. Такая стратегия территориальной локализации беспорядка — без попытки его устранения, с одной стороны, реализуется в проектах, стремящихся заморозить конфликты, а с другой, используется в борьбе с террористическими организациями, которая сама по себе ведется с позиции неуязвимости. Символом и инструментом такой борьбы являются беспилотные боевые дроны, с помощью которых интервенты не стремятся завоевать симпатии населения, находящегося в зоне интервенции, а реализуют свое асимметричное военно-техническое превосходство. Боевые дроны — оружие, характерное для постгероического общества: они позволяют сократить собственные потери и в то же время не допускают взаимного признания бойцов в какой бы то ни было форме. Их использование должно быть ограничено положениями военного международного права, правда, эти ограничения более актуальны для населения, спонсирующего их использование, нежели для жителей, населяющих территории их применения. Ведь дроны могут стать авангардом, за которым последуют боевые отряды и военная техника, и тогда о равноценности сил противостоящих комбатантов можно забыть<sup>26</sup>. Таким образом, асимметрия достигла уровня нормативных обязательств, а значит, стала непреодолимой.

## Героические и постгероические общества

### Герой и поэт

Фигура героя всегда привлекала особое внимание общества, начиная с «Илиады», представляющей собой первое крупномасштабное изображение героических ценностей и образа жизни героя, и до современных голливудских фильмов, которые создают весьма эффектное напряжение, значительно повышающее кассовые сборы блокбастера, за счет драматического изображения взлета, триумфа и падения героя. Тот, кого мы рассматриваем как героя, не обязательно является воином; существуют так называемые будничные герои, героизм которых проявляется не на поле битвы и не в убийстве врагов. И все же, как правило, наше представление о героях связано с насилием и войной. И каждый раз, когда поведение человека характеризуется как героическое, в центре такого определения лежит идея жертвенности: героем может быть лишь тот, кто готов пойти на жертву, в том числе на самую большую: пожертвовать своей собственной жизнью. Спасение других — своих товарищей или беззащитных соотечественников — ценою собственной жизни делает героя героем. За эту готовность пожертвовать собой героя ожидает признание, честь и слава. Спасенное героической жертвой от несчастий и бед общество выражает свою благодарность, чествуя героя при жизни и почитая его после смерти. Так идея спасительного поступка и спасающей жертвы связывает героя с обществом. Поскольку идея жертвенности, в которой один человек приносит себя в жертву ради спасения всего общества, чтобы спасти целое, имеет прямое отношение к религии, в основе героического общества обычно лежит религиозная сущность. И наоборот: развитию постгероических ориентиров способствует разрушение религиозной составляющей. В состав такого религиозного ядра также входят политические религии,

описанные философом и политологом Эриком Фёгелином<sup>1</sup>: идеологии, сплачивающие общества изнутри и снабжающие их символикой, которая представляет гибель в бою как героическое самопожертвование. Только те общества, которые способны наделять смерть символическим смыслом, можно рассматривать как героические общества. В предгероическом, как и в постгероическом обществе смерть в бою или на войне воспринимается как результат обычной резни. Не кровь, обагряющая оружие воина, делает его героем, а готовность к самопожертвованию, спасающая всех остальных. И характеризует героя именно эта жертвенность, а отнюдь не его боеспособность.

Ни одна другая фигура в рамках общественно-политической типологии не зависит так сильно от повествовательной парности, как герой, ибо он тот, о ком нужно рассказывать. Когда герой совершает героический поступок, но рядом нет никого, кто бы мог это видеть и затем рассказать об этом, положение смельчака становится весьма нестабильным: в этом случае герою самому придется докладывать о своем героизме. И даже если ему поверят, подобные рассказы будут отдавать бахвальством. Без наблюдателя, прославляющего героя, ореол героизма, призванного сопровождать существование воина, исчезнет вместе с мгновением героического поступка. И тогда героя постигнет судьба воина, о котором Гегель в своей «Феноменологии духа» говорит в начале главы, посвященной господину и рабу: тот, кто одолел и убил своего противника в поединке без свидетелей, никак не может «возвысить» свою победу, сулящую статус героя, поскольку доказать ее возвышенность может лишь тот, кто уже мертв — его противник<sup>2</sup>. Конечно, победитель может продемонстрировать вражеские доспехи или даже части тела своего соперника — от скальпа, заткнутого за пояс, до белого победного кольца, нарисованного на орудии танка в знак подбитой машины неприятеля, — но сам по себе трофей не может ничего сказать ни о характере борьбы, ни о героизме воина. Трофеи можно добыть и с помощью обмана или пре-

дательства. Нельзя исключать, что противник, доспехи которого герой принесет в качестве доказательства своих заслуг, мог быть слабаком или трусом. Трофеи для героя — это лишь крайнее средство, когда рядом нет ни певца, ни журналиста. «Но что пребудет в вечности, о том поэт решает», говорится у Фридриха Гельдерлина. Герою эти строки подходят более, чем кому-либо.

В «Одиссее» главный герой скрывал от феакийцев свою личность до того момента, пока певец на вечернем пиру не начал рассказывать о Троянской войне и падении города, при этом чувствуя заслуги Одиссея в победе греков после десяти лет борьбы<sup>3</sup>. Слушая певца, Одиссей не мог сдерживать слез, и сидящий рядом с ним царь феакийцев Алкиной, услышав его стенания, спросил о причинах печали странника. Одиссей раскрыл доселе тщательно оберегаемую тайну своей личности и рассказал о приключениях, выпавших ему на долю после падения Трои. Только подтверждение в виде слов певца да собственная реакция на историю дают Одиссею возможность показать себя тем, кто он есть. Без этих подтверждений его геройского статуса он рискует показаться обычным хвастуном. Между ними существует взаимосвязь: без героя поэту не о чем будет рассказывать, а герой без певца лишится всех привилегий своего существования.

Таким образом, общество лишь тогда может считаться героическим, когда располагает литературным наследием, чувствующим героизм и рефлексирующим на эту тему, или хотя бы кочующими певцами, в устной форме повествующими о подвигах героев. Но это означает, что общества без литературы не могут быть героическим, а значит, насилие в них является обычным делом. И именно эта литературная парность превращает преступника и убийцу в героя и обуславливает его героическую идентичность. И чем глубже она проникает в его внутренний мир или же наделяет героя этим внутренним миром, тем заметнее превращение. Ведь только гнев Ахиллеса, спровоцировавший его отказ от участия в войне<sup>4</sup>, но затем сменившийся согласием на возвращение

его друга Патрокла на поле боя, и после страдания, причиненные Ахиллу отчаянным самопожертвованием его соратника, превращают эту военную машину в героя.

Однако превращение простого воина в светозарного героя с помощью литературы содержит в себе нечто больше, нежели наделение насилия честью и славой; здесь речь скорее идет о процессе сублимации, в котором нарушитель подчиняется кодексу поведения, преступить который, не будучи опозоренным, он не может. Таким образом, поэт является не просто слепым поклонником героя — он выступает гарантом и контролером его героизма, и коли захочет он уничтожить героя, то сделает это силой своего дарования. Литература подчиняет себе героя, создавая его не только для своих собственных целей, но и порождая новые кодексы и правила, в соответствии с которыми применение силы не только допустимо, но и почетно. Лучше всего это прослеживается в развитии европейского рыцарского кодекса чести XII–XIII веков<sup>5</sup>. Защищать и охранять слабых, бороться со злодеями и наказывать негодяев, при этом четко придерживаясь правил рыцарского поединка — именно это отличает истинного рыцаря и выделяет его на фоне обычного головореза. В итоге литературная парность становится зеркалом для героя, критическое отражение которого формирует образ рыцаря и позволяет без оружия контролировать вооруженного героя. Изображение героя имеет двойственное воздействие: с одной стороны, оно возвеличивает воина, с другой — подчиняет его социальному контролю.

Позднее к кодексам чести, закрепленным в литературе, добавились нормы международного военного права, вводящие наказания за нарушения правил. Однако после закрепления международных гуманитарных норм в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, а также Женевских конвенциях понятие чести в условиях ангажирования мастеров насилия со стороны беспомощных и безоружных ничуть не утратило своего значения. И если Михаил Игнатьев, на данный момент один из самых информированных



и вдумчивых обозревателей военных событий на Балканах, сетует на разрушение образа военных партий и видит в восстановлении былой славы воинов возможность создать надежное средство, способное устранить постоянные нападения на гражданских лиц, в особенности женщин и детей<sup>6</sup>, то это служит актуальным указанием на спасительную функцию образа военного героя, который поддерживается и распространяется с помощью литературы, направленную на сдерживание насилия. Правда, предводители новых войн и их вооруженная свита отнюдь не подходят для подобных форм ограничения насилия. Для них важна не честь, а деньги и власть. Они не герои, а *военные предприниматели*. Если бы их можно было заинтересовать славой и почетом, то путь, предложенный Михаилом Игнатьевым, оказался бы вполне реальным. Однако, учитывая разобщающую силу денег и власти, подобное предположение едва ли можно считать возможным. Поэтому чрезвычайно редко общества, где ведутся «новые войны»<sup>7</sup>, можно рассматривать как героические. Уместнее их было бы называть «обществом головорезов».

### Упаднические настроения

Превращение воинов в героев с помощью литературного кодекса чести, конечно, имеет и обратную сторону, которая заключается в пресловутом роптании на деградацию и упадок, характерном для героической литературы: раньше-де и герои были героичнее, и войны сокрушительней, и победы величественней. Поэты, слагающие героические песни, оглядываются на прошлое и видят в своем настоящем начало эпохи декаданса, которой вскоре суждено завершиться окончательным крахом. Нынешние герои способны лишь ненадолго замедлить этот процесс, но предотвратить его они не в силах. Заведомо пессимистический тон героических сочинений распространяется на само понятие героизма: героические общества пронизаны трагическими настроениями. Герои считают

себя последними или как минимум предпоследними в своем роде; вокруг них распространяются негероические взгляды, которым, конечно, можно противостоять, но в конечном итоге все равно придется подчиниться.

Даже милитаристское сочинение Вернера Зомбарта «Торгаши и герои», опубликованное в 1915 году и упорно продвигающее идеалы героизма пред лицом мира, полного, по мнению Зомбарта, нечестивых врагов, проникнуто темой неумолимой гибели героя, что, в общем-то, неудивительно, если вспомнить о том, что в своем главном произведении Зомбарт прослеживает историю капитализма от его ранней стадии до позднего этапа, рассказывая о предприимчивых торговцах, которые по мере развития капитализма постепенно вынуждены были уступать власти обладателей капиталов, живущих на процентные доходы. Зомбарт называл это «ожирением капитализма»<sup>8</sup>. Успешное противостояние «немецких героев» «британским торговцам» Зомбарт считал временным достижением, не веря в окончательную победу героизма. В этом он был не одинок: героический пессимизм был широко распространен среди мыслителей его поколения. Они сопротивлялись упадку, но делали это словно по службе, не веря в победу.

Героические сообщества находятся в непростом положении. Реальность явно не соответствует запросам и ожиданиям героического общественного сознания. Та же «Илиада» пронизана осознанием угрозы гибели, нависшей не только над осажденными троянцами, но и над греками, триумфально возвращавшимися на родину, чьи корабли, разбитые штормом, поглотило море. Многих, кому удалось пережить роковую бурю, по возвращении домой ждала позорная смерть от руки членов их семей. Кульминацией истории каждого героя почти всегда становится их гибель. Подобная обреченность, сулящая героям смерть, характерна и для «Песни о Нибелунгах», которая завершается гибелью бургундских героев в замке Этцеля.

Образ героя ассоциируется со страданием. Такое восприятие героя обществом зиждется на опыте прошлого, ибо не находит себе опоры в настоящем и надежды на будущее.

Идея самопожертвования, приписываемая герою, едва ли может нести в себе заряд позитива на будущее, по крайней мере, с точки зрения самого героя. Общество, спасенное его жертвой, составляют люди, непохожие на него, иначе оно не требовало бы этой жертвы. Но даже среди себе подобных герой не чувствует себя в безопасности: всюду подстерегает предательство! Герой, идущий своим путем, всегда окружен завистниками и лгунами. Единственное, что остается герою в этих условиях — это эстетика гибели: героическая, красивая смерть. Феликс Дан весьма точно отобразил это в своем романе «Битва за Рим», популярном в первой половине XX века: именно такой героико-трагический пессимизм, характерный для его времени, он вложил в свое описание крушения империи остготов.

Вне всякого сомнения, подобные глубинные настроения обладают политической взрывоопасностью. И если уж конец неизбежен, то нужно, по крайней мере, избавиться от хвори, к нему ведущей. Из этого следует очевидный вывод: теперь, пока еще достаточно сил, нужно найти военное решение, чего бы оно ни стоило. Воинствующий настрой, основанный на героическом самосознании общества, берет свое начало не в твердой уверенности в победе, а скорее в понимании неизбежной гибели, и призван в какой-то мере воспрепятствовать ей посредством борьбы. Этот настрой в 1914 году серьезно повлиял на развязывание Первой мировой войны: начальник австрийского Генштаба Конрад фон Гётцендорф желал войны, надеясь с помощью ее остановить внутренний распад Дунайской монархии; в царской России в аристократических офицерских кругах\* также были распространены подобные идеи. Героическое общество не способно бороться с упадком и декадансом иначе, чем с помощью войны, на которую они смотрят как на акт нравственного обновления. Они приветствуют войну от отчаяния, разочаровавшись в по-

\* Такого понятия, как «аристократические офицерские круги» в Российской империи в начале XX века уже не существовало. — *Примеч. ред.*

рядке вещей, царящем в мирное время. Именно поэтому героическое общество порой играет с огнем, и если в том или ином регионе соседствует несколько героических обществ, то их самоуничтожение в великой войне весьма вероятно. Так же было и в Европе в начале XX века.

### Община и общество

часть II

До сих пор в вопросе положения героя границы между обществом и общиной не проводилось. Однако, говоря о последствиях упаднических настроений, определить различие между этими понятиями было бы весьма полезно. Такое разграничение принадлежит социологу Фердинанду Теннису, который стремился таким образом обозначить две основные формы человеческой социальности: органическую, в которой доминирует единение, и механическую, суть которой заключается в разделении и разобщении людей, причем эта разобщенность преодолевается и в то же время подкрепляется взаимообменом и сотрудничеством<sup>9</sup>. Однако в локальном разделении доводы Тенниса играют довольно условную роль. В этом случае общиной можно назвать группу, отличающуюся общим происхождением и средой обитания или единым пониманием ценностей и норм. Геройские общины часто имеют характер мужских объединений, обеспечивающий их составу соответствующую однородность<sup>10</sup>. Общества, напротив, представляют собой объединения людей и групп разного рода, связанных между собой результатами их сотрудничества и имеющих более или менее ясное представление о преимуществах такого взаимодействия. Общины основаны на единых представлениях о роде и ценностях, общества — на пользе сотрудничества. Учитывая героическое самосознание многочисленных групп людей, можно сказать, что героические общины существовали на протяжении долгого времени, отраженного в письменных источниках, а вот героические общества, напротив, являлись исключением.

Отсюда неудивительно, что идеал героического самопожертвования и четкое отделение от окружающего мира, который не поддерживает такое стремление либо подчинен другим ценностям, свидетельствует о социальности общины, а не общества. В первую очередь возникает вопрос физического воспроизводства: герои, как правило, не занимаются повседневной работой, особенно если она связана с тягостным физическим трудом. Они препоручают эту работу другим, тем, кто обеспечивает их всем необходимым — по дружбе либо по принуждению. Таким образом, герои зависят от работающих соплеменников. Не всем дозволено быть героями — их число весьма ограничено. Героическая община встраивается в негероическое общество, которое снабжает ее всем необходимым и взамен получает от героя защиту от внешних угроз и опасностей. При этом для героев крайне важно, чтобы их не путали с работниками. Они всеми силами стараются отличаться от них, и одним из важнейших инструментов такой демаркации служит образ героя и связанное с ним понятие чести. Именно это образует границу между героями и их окружением, обеспечивая эксклюзивность общине героев. Как раз об этом говорит один из кирасиров в трилогии Фридриха Шиллера «Валленштейн» («Лагерь Валленштейна»). Тому, кто готов поставить на кон свою жизнь, нужно ориентироваться на самое ценное в своей жизни, и этим может быть только честь:

Меч — не соха и не заступ ведь тоже,  
 Глуп, кто захочет им землю пахать:  
 Выходов зеленых ему не видать...  
 Нет у солдата родимого крова,  
 Нет у него своего очага;  
 Быстро его пробегает нога  
 Мимо приманок жилья городского  
 И деревенских зеленых лугов;  
 Нет для него колосистых венков,  
 Нет для него виноградного сбора.

Что же, скажите, солдату опора?  
 Что же он должен хранить и беречь?  
 Честь! Надо собственность дать человеку,  
 Иначе станет он резать и жечь<sup>11</sup>.

Образ героя и понятие чести могут иметь весьма разнообразное выражение — от определенных ритуалов до униформы. Выступая инструментом разграничения между героической общиной и негероическим обществом, попутно они служат сдерживающим фактором для применения силы и оружия. Без понятия чести и готовности к самопожертвованию нет и героической общины<sup>12</sup>.

Упаднические настроения как легкая форма пессимизма берут свое начало в опасениях, связанных с невозможностью полной изоляции от негероического окружения и вероятностью проникновения его ценностей и понятий в самое сердце героической общины. Община героев находится в постоянном страхе перед угрозой поглощения негероическим обществом. Чем сильнее этот страх, тем больше желание уединения и самоизоляции. Зависимые от взаимодействия с внешним миром, героические общины тем самым лишь приближают свою кончину. Там, где понятия жертвенности и чести актуальны лишь в пределах общины, происходит постепенный спад, а затем и разрушение. Героическая община угасает. А если окружающее общество не чтит и не уважает ее более, и даже наоборот, игнорирует или презирает ее, то эликсира временного возрождения ей испить не удастся<sup>13</sup>. Героическим общинам необходимы войны и сражения; в них они могут показать свою полезность для содержащего их общества и вернуть себе былой почет. Только тогда они вновь расцветают. Героическим общинам нужны войны, ибо только они позволяют обновить и нарастить их главный символический капитал — честь<sup>14</sup>. Именно на этом и построен механизм возникновения свойственного для этих общин страха перед упадком: затишье, мир и спокойствие являются для них угрозой; спасением им

служит вторжение чего-то ужасного и непостижимого. Вот он — звездный час, обеспечивающий им дальнейшее существование, по крайней мере, на ближайшее время. Об этом говорится в песне всадников из «Валленштейна» Шиллера\*:

Живее, друзья! На коня, на коня!  
 На поле! На волю честную!  
 На поле, на воле ждет доля меня —  
 И сердце под грудью я чую!  
 Мне в поле защитником чет никого:  
 Один я стою за себя одного!<sup>15</sup>

И далее:

Нет воли на свете! Владыка казнит  
 Рабов безответно-послушных;  
 Притворство, обман и коварство царит  
 Над сонмом людей малодушных...  
 Кто смерти бестрепетно выдержит взгляд —  
 Один только волен... А кто он? — Солдат!<sup>16</sup>

И наконец:

Живей же, друзья! Вороного седлай:  
 Бой жаркую грудь расколodит!..  
 И юность, и жизнь так и бьет через край:  
 Пей смело, пока еще бродит...  
 И жизни своей на игру не жалея:  
 Не выиграть иначе ставки, ей-ей!<sup>17</sup>

Подобный героический образ с характерным для него самосознанием может сохраняться в общине лишь в условиях ее изоляции от окружающего общества.

\* Перевод с немецкого Н. Славятинского. Вторую строфу автор приводит в книге уже во второй раз. — *Примеч. ред.*

Правовая норма, основанная на героическом самопожертвовании и честолюбии, как правило, ограничена небольшими общинами, имеющими четкие границы, и не рассматривает все общество как единое целое. За всю историю найдется лишь несколько примеров, которые могут составить редкое исключение. По-видимому, в рамках политических систем у героического начала формируется определенная потребность «социализации», привлекающей большее число политических деятелей, которые претендуют на равные права и равное признание — подобное наблюдалось в античности в греческих полисах и в Новое время в европейских государствах. В подобных случаях преимущество остается за тем, кто на протяжении более долгого времени обладает более мощным героическим потенциалом: этого можно добиться за счет оптимизации героической общности — примерами тому служат древнегреческие спартанцы или прусская армия Фридриха Великого в Европе Нового времени — либо посредством распространения героических понятий на все общество в целом — подобное наблюдалось во времена афинской демократии V и IV веков до н. э., а также в революционной Франции, а затем и в Пруссии с Германией.

Наряду с расширением политических прав на все гражданское население (мужского пола) и появление заметно более широких возможностей для социального развития, в героическом обществе готовность к самопожертвованию в случае войны стала актуальной и неоспоримой для каждого гражданина (мужчины). Афинская поголовная обязанность к несению военной службы, римско-республиканская военная система и всеобщая воинская повинность в Европе в XIX и XX веках являются результатом развития, в более или менее выраженной форме основанного на *внутренней милитаризации общества*. Униформа, военные знаки отличия и, в конце концов, офицерские патенты (в т. ч. офицеров запаса), ставшие характерными признаками этих обществ, служили не столько символом принадлежности к эксклюзивному сословию, сколько объединяющим фактором, затрагивающим



каждого члена общества<sup>18</sup>. Разумеется, и в кайзеровской Германии, так же, как и в республиканской Франции, военные стремились выделиться в *самостоятельное сословие*, однако из-за политической конкуренции с другими странами эти стремления жестко пресекались. Ни одно государство, претендующее на партию в хоре великих европейских держав, не могло позволить себе изъятия героической составляющей из всего общества и перенесения ее на небольшую общину. Англия, благодаря своему геополитическому положению, в данном вопросе является исключением.

В отличие от героической общины героическому обществу не свойственны пресловутые декадентские настроения; напротив, для них характерны ощущение своего могущества и вытекающая из него непоколебимая уверенность в своем будущем. Героические общества всегда несколько опьянены своей мощью и уверенностью в победе. В них царит идея национальной чести, малейшее затрагивание которой грозит применением оружия. Для героических обществ типично состояние непрерывного возбуждения, пребывание в постоянной готовности к войне. Если дело доходит до войны, то это уже не конфронтация героических общин, за которую платит общество, это уже война в условиях всеобщей мобилизации, охватывающей все материальные и психологические ресурсы. Такие войны истощают и изматывают общества, а после они из героических превращаются в постгероические. Растратив весь свой героический потенциал, они приходят к выводу, что — в случае поражения — война ни к чему не привела или — в случае победы — не дала ожидаемых результатов.

В такой ситуации возможны два варианта: либо вооруженный конфликт повторяется при первой же возможности, в расчете на то, что более решительная мобилизация повысит степень готовности к героическому самопожертвованию, которой не хватило для победы в прошлый раз, либо же план, предусматривающий жертвенность и преумножение чести, отвергается как общественное заблуждение, которого впредь

следует избегать. Как правило, к первому варианту прибегает проигравшая сторона, ибо она все еще находится во власти ожиданий, связанных с пока недостижимой победой, в то время как победители действуют более трезво и склоняются ко второй модели действий<sup>19</sup>. Именно такой была ситуация в Европе в период между мировыми войнами: Франция и Англия проводили политику умиротворения и делали ставку на военные стратегии, не требовавшие от них таких великих жертв, которые понадобились в ходе Первой мировой войны; в Германии же, напротив, могущественные политические силы стремились к пересмотру итогов войны посредством военных методов, разрабатывая тактики, в значительной степени основанные на героических представлениях и понятиях<sup>20</sup>. На первом этапе Второй мировой войны такая тактика принесла свои плоды в виде целого ряда побед германской стороны: от капитуляции французов, казавшейся немыслимой на фоне истории Первой мировой войны, до поспешного бегства англичан с континента. Потом Германия участвовала в этой войне до полного своего поражения, капитулировав лишь тогда, когда не осталось уже практически ничего, за что стоило бы бороться<sup>21</sup>. В итоге постгероический дух, сформировавшийся в немецком обществе в результате этой войны, оказался самым выраженным и глубоким на фоне остальных европейских обществ.

Столь же мало, сколь героические общества имеют внутреннюю тенденцию к пессимистическим настроениям, постгероические общества склонны осознавать свое наследие, рожденное героическим периодом, как момент упадка. Как правило, они истолковывают этот переход как политический прогресс или как социальный учебный процесс, в любом случае как некую социально-моральную ситуацию, которая в ретроспективе по большей части оценивается как патология. Оттого постгероические общества чаще всего находятся в ладу с самими собой. Они в основном рассматривают свое существование как финишную прямую на пути социального развития, при этом не концентрируясь на мобилиза-

ции всех возможных видов энергии, а, как правило, стараясь закрепиться на созданной ими позиции как можно дольше. Если они обсуждают необходимые реформы, то скорее метафорически, сводя их задачу к работе регулировочного винта: в целом все в порядке, и лишь иногда нужно кое-что отрегулировать.

### Демография и героизм

В последнее время все чаще говорится о том, что состояние героизма в меньшей степени связано с влиянием определенных политических идей, преобладанием воинствующих религий и вообще с учебными процессами, чем с демографическими факторами и, в частности, с количественной составляющей молодежи в возрасте до восемнадцати лет в обществе. Социолог Гуннар Хайнзон из Бремена, специалист в области сравнительного исследования геноцида, некоторое время назад сформировал гипотезу, согласно которой молодежь, а точнее «молодежные пузыри» (*youth bulges*), как он их назвал, будут создавать собственную идеологию и устанавливать свои законы, и главная роль в пробуждении готовности к насилию и самопожертвованию будет принадлежать отнюдь не политическим идеям или религиям. Звучит довольно условно, и местами Хайнзон предлагает такие же ограниченные аргументы; и все же его исследования демонстрируют весьма впечатляющую взаимозависимость между демографическим ростом и степенью насилия, направленного как внутрь общества, так и за его пределы. Тем самым акцент ставится на материальной, если не сказать, материалистической основе героических и постгероических обществ. В отличие от богатых стран — членов ОЭСР\*, «семьи в стра-

\* Организация экономического сотрудничества и развития, в которую входят 35 государств, в т. ч. большинство государств — членов ЕС. На долю государств — членов ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП. — *Примеч. ред.*

нах третьего мира могут позволить себе потерять одного или даже нескольких сыновей, и все еще продолжать функционировать. [...] Страны третьего мира могут миллионами отправлять на погибель молодых людей, которые у себя дома, будучи вторым или даже четвертым ребенком в семье, не имеют возможности проявить себя, и оттого видят в героизме свой единственный шанс»<sup>22</sup>. Богатые страны Северного полушария во главе с Соединенными Штатами могут противопоставить этому свое технологическое превосходство, но такой ход неизменно ведет к опасному моральному парадоксу: «в то время как противники продолжают бросать в топку войны, одного за другим, своих сыновей, ибо среди их детей уже целые готовые армии, США и их союзники серьезно рискуют каждую секунду, ведь в любой момент очередной их удар может принести смерть детям на стороне неприятеля»<sup>23</sup>.

Такова проблема появления постгероических обществ: в масштабе всей планеты их возникновение происходит несинхронно; богатые общества Северного полушария вступают в эру постгероизма, тогда как в рамках явления «неодновременности одновременности» многие общества на периферии богатых районов, страны Южного полушария, лишь только переходят из предгероической фазы в героическую. Неважно, что лежит в основе их героизма — материальная обеспеченность многочисленными сыновьями или идеалистическая сила религиозных представлений — динамика этих обществ почти всегда ведет к саморазрушению. Правда, иногда она приводит к формированию агрессии, направленной за пределы общества, которая вызывает панический страх у постгероических обществ, остро чувствующих любую опасность. Иногда дело заходит так далеко, что даже заявления террористических групп или видео из лагерей подготовки террористов-смертников становятся причиной истерических реакций в постгероических обществах, особенно если смертники уже наносили удар по их территории. Непонимание, рожденное патетикой жертвоприношения, соседствует с острым чувством беспомощности, и первой реак-

цией становится объяснение подобных проявлений нищетой и убожеством. Появляется надежда сдержать напор насилия с помощью материальной поддержки и тем самым устранить «первопричины терроризма». Такую реакцию нельзя назвать политически мудрой или стратегически дальновидной, это лишь проявление глубоко укоренившейся искупительной ментальности, характерной для постгероических обществ: желание отвести от себя удар со стороны одержимых смертников с помощью денег.

На самом деле терроризм, несмотря на исходящую от него объективную угрозу<sup>24</sup>, является самым серьезным испытанием для постгероического общества, ибо атакует его там, где общество, как правило, беззащитно. Переход от героического общества к постгероическому отнюдь не означает отказа от формирования институтов и организаций, оснащенных и подготовленных соответствующим образом и нацеленных на отражение внутренних и внешних угроз. Общество лишь сменило отношение к этим организациям, в том числе заменив валюту чести и почета деньгами. Под защитой этих организаций, безусловно, обнаруживающих разнообразные черты героических общин, постгероические общества обретают надежду на свое дальнейшее развитие в условиях мира и безопасности. Терракты, по крайней мере, современного типа, отличаются тем, что обходят стороной учреждения и организации, отвечающие за безопасность, даже в известной мере игнорируют их, сосредотачивая свой удар исключительно на гражданском населении. Они рассчитывают достичь внушительного эффекта за счет небольших усилий, и в этом постгероические общества предлагают им довольно неплохие шансы на успех. Попутно эти общества презирают членов террористических группировок, готовых пожертвовать своей жизнью, считая их декадентами. Такую позицию точно и емко описывает популярная цитата одного талибского бойца, говорившего о том, что Запад любит кока-колу, а исламские боевики предпочитают смерть. Мир вокруг постгероического общества неспокоен. И потому обществу необходимо создавать

героические общины для защиты своей хрупкой коллективной психики. И если оно хочет противостоять вызову террористов, ему нужно запастись «остаточным героизмом», способным пережить любые теракты.

## 8 Новые боевые системы и этика войны

часть II

В своем примечании к 328 параграфу «Философии права» Гегель описывает, как изобретение огнестрельного оружия превратило «чисто личный характер храбрости в характер более абстрактный». Таким образом, порох и усовершенствованное оружие, которое с помощью пороха теперь могло обстреливать неприятеля снарядами, сделали шаг от конкретного к всеобщему, тем самым вписавшись в исторический процесс, который Гегель характеризовал как прогресс. «Принцип современного мира, — по его словам, — *мысль и всеобщее*, придал храбрости высшую форму, в которой ее проявление представляется более механичным и делом не данного *особенного* лица, а членов целого, так же как и сама храбрость представляется вообще направленной не против отдельного лица, а против враждебного целого»<sup>1</sup>. Именно в этом заключается идея применения *частного* в интересах всеобщего принципа, который и отличает ведение современных национальных войн от простой готовности рисковать своей жизнью. По словам Гегеля, даже разбойники и убийцы, не испытывая страха перед смертью, преследуют определенную цель, но цель эта — преступление; искатели приключений рискуют своей жизнью ради цели, созданной их воображением. Все эти частные цели были сметены идеей *всеобщего*, которая и определяла ход войны со времен Французской революции.

Примечательно, что Гегель не дает никаких отсылок к Французской революции, коренным образом повлиявшей на формирование мышления его поколения, и что в качестве

стимулирующего фактора, участвующего в процессе интеграции героической составляющей в милитаристские союзы и уравнивающего передовых бойцов с мужами из арьергарда, он приводит не политический строй или военную систему, а развитие военной техники. Роль древнегреческих фаланг гоплитов в качестве предпосылки для появления демократии широко обсуждается в специализированной литературе: лишь тогда, когда каждый взрослый мужчина равным образом стал служить общине, полису, зародилась идея того, что равные на поле боя могут стать равными и в народном собрании. Но сражение в фаланге, образованной тяжеловооруженными воинами, было возможно только при наличии тактической дисциплины, безусловного доверия к своему соседу, безграничного упорства в соблюдении строя и шага — в общем, благодаря намеренному и последовательному уравниванию граждан. Порох и огнестрельное оружие, то есть военно-технические усовершенствования, в свою очередь создали совершенно непреднамеренный эффект обезличивания врага, тем самым, как подчеркивает Гегель, изменив и боевой дух, и облик воинов. В эту идею куда лучше взаимосвязи между конституцией и законодательством об обороне вписывается концепция, работающая «за спиной» участников процесса независимо от их целей и намерений. Винтовка и порох, следуя рассуждениям Гегеля, были отнюдь не разрушителями отваги, как утверждали благородные рыцари сразу же после появления этого вида оружия, а использовались как политический уравниватель, способствовавший подъему буржуазии. Для Гегеля, рассуждавшего с позиции буржуазии, военно-технический прогресс не вытеснил отвагу, а наоборот, аккумуляровал ее, переводя на более высокий уровень. В итоге для нового вида войны стало характерным сочетание крайней враждебности действий в отношении неприятеля «при полнейшем безразличии и даже доброжелательном отношении к врагам как к индивидам»<sup>2</sup>.

Подобные философские толкования военно-промышленного прогресса сегодня кажутся нам чуждыми. Мы даже

пытаемся защититься от них, решительно отвергаем их и, как правило, призываем на помощь мораль, стремясь удержать в рамках, а то и вовсе блокировать, любые совершенствования военных технологий вместе с их последствиями для ведения войны. Гегель же, напротив, рассматривал развитие военной техники в качестве стимула для совершенствования морали и этики. Попытка сдержать развитие военных систем за счет обращения к моральным устоям воинов или военной этике для него стало бы равносильно принятию консервативной, если не реакционистской позиции. Необходимо помнить об этом, чтобы осознавать всю глубину вопроса взаимосвязи новых военных систем с военной этикой. Мы более не хотим наслаждаться плодами военно-технического прогресса, восстаем против этого развития, призывая на помощь этику и правовые основы в качестве сдерживающих механизмов, рассчитывая притормозить этот ставший опасным процесс и попытаться направить его в нужное русло<sup>3</sup>.

Этот отход от гегелевской веры в гармонию прогресса и этики восходит к Гаагской конференции конца XIX — начала XX века, когда среди прочего были предприняты попытки запретить использование отравляющих газов во время военных действий — что, как известно из опыта Первой мировой войны, не удалось<sup>4</sup>, — а также к примерно 1910 году, когда некоторые публицисты необычайно прозорливо предупреждали о милитаризации воздушного пространства сразу после того, как братья Райт подняли в воздух сконструированные ими устройства. Берта фон Зутнер стала одной из первых, кто заговорил о последствиях воздушных боев, назвав их «варварством войны»; но и тогда эти предупреждения не принесли результатов, поскольку уже в Первой мировой войне обнаружили первые признаки стратегических бомбардировок<sup>5</sup>. Развитие систем вооружения стало нам неподвластно. Мы боимся его больше, чем ценим, и потому пытаемся вернуть его под наш контроль. Правда, пока добились в этом весьма скромных успехов: как правило, новые военно-технологиче-



ские разработки через какое-то время все же прокладывают себе дорогу. То, что возможно технически, продолжает развиваться и в результате доводится до стадии производства.

Военные технологии последних лет, символом которых стали разведывательные и боевые беспилотные летательные аппараты, развивались вопреки тысячелетней традиции, согласно которой вооружение должно становиться все более мощным и эффективным. Кроме того, современная электроника, управляемые ракеты и в первую очередь боевые дроны вернули *обобщенному* врагу статус *определенного, конкретного* противника, против которого ведется направленная война. С точки зрения технологии производства вооружения такой процесс является прямо противоположным процессу деиндивидуализации и абстрагирования врага, описанному Гегелем. И тем не менее такое развитие все же позволило существенно снизить количество «невинных жертв», то есть тех, кто, не будучи непосредственной целью нападения, становится его объектом. Множество признаков служит подтверждением значительному сокращению масштаба коллатерального ущерба, последовавшего за тем, как на смену истребителям-бомбардировщикам, наносящим удар бомбами и ракетами, пришли дроны, использующие ракеты высокой точности<sup>6</sup>. И если случаются ошибки, то происходят они, как правило, не из-за неточностей или погрешностей в системе вооружения, а вследствие ошибочной идентификации цели. Сбой дает не техника, а человек, и происходит это чаще всего по причине *когнитивных*, а не *этических* затруднений.

Можно пойти дальше, говоря о том, что разведывательные и боевые дроны являются системами, которые по своим техническим характеристикам призваны минимизировать подобные когнитивные затруднения за счет увеличения периода наблюдения за целью и снижения стресса в момент принятия решений относительно боевого удара<sup>7</sup>. Дрон представляет собой инструмент, способный замедлить ход боевых действий, то есть является полной противоположно-

стью того процесса развития, что на протяжении долгих веков ставил эффективность ведения боя в зависимость от возможности его ускорения<sup>8</sup>. Офицер, управляющий огнем и находящийся за сотни, а то и тысячи километров от цели, может заставить аппарат вновь и вновь облетать местность, чтобы удостовериться в том, что целью является группа вражеских бойцов, а не компания, гуляющая на свадьбе — в Афганистане подобные недоразумения не редкость из-за местных свадебных обычаев, в частности, стрельбы из оружия, — и лишь потому, что оператор беспилотника находится так далеко от места применения огня, он способен принимать решения более обдуманно и спокойно. И хотя, управляя дроном, он использует устройство, напоминающее джойстик для компьютерной игры War Games, сравнивать его положение с положением игрока, вынужденного немедленно реагировать на новые и абсолютно неожиданно возникающие задачи игры, нельзя, ведь благодаря технике в его распоряжении достаточно времени, необходимого для наблюдения и обдумывания. Именно этот факт особенно горячо обсуждался в ходе недавней дискуссии, посвященной приобретению и использованию боевых беспилотных летательных аппаратов<sup>9</sup>.

Рассматривая разведывательные и боевые дроны исключительно как системы вооружения, необходимо отметить три принципиальных изменения в планировании и проведении боевых действий, произведенных их появлением: возвращение к *индивидуализации* объекта насилия, *оттягивание* момента применения оружия и, наконец, *значительная территориальная отдаленность* военных, управляющих дронами, от места их применения. В последнее время обсуждение этих изменений сводилось в основном к этическому вопросу, не стал ли беспилотный летательный аппарат причиной фундаментального преобразования войны, заключавшегося в искоренении того типа войны, что развивался на протяжении последних трех тысячелетий. Несомненно, беспилотник является инструментом не дуэльной войны, а войны полицезированной, и потому не удивительно, что в США

внедрение дронов зачастую проводилось силами секретной службы ЦРУ, а не военными<sup>10</sup>. Рассмотрим эти изменения более детально.

История войны как коллективного и организованного применения силы, по сути, является историей деиндивидуализации борьбы. Поединок Гектора и Ахилла из «Илиады» или огромное количество дуэльных сражений во второй части «Песни о Нибелунгах», где рассказывается о разгроме бургундов в просторном зале Этцеля, короля гуннов, представляют собой сцены исключительно личностного противоборства. Здесь воины, выступающие друг против друга, знакомы между собой, они могут испытывать друг к другу ненависть либо уважение. Они сражаются потому, что к этому их обязывает воинский дух, либо потому, что желают снискать себе славу победой, одержанной в таком поединке. Во всяком случае, им глубоко безразлично все, кроме их соперника и хода сражения. Легко добытая победа сулит меньше чести, нежели завоеванная в упорной борьбе. И, конечно, куда более почетно сразить знаменитого противника, нежели победить бойца, о котором едва ли кто-то слышал, как бы хорошо тот ни дрался. Война, описанная в героических эпосах и песнях, — это битва героических личностей друг против друга<sup>11</sup>. Однако в момент формирования тактических объединений, таких как древнегреческие фаланги или древнеримские когорты, время индивидуального героизма ушло: исход битвы решали тактическая дисциплина и стратегическое мастерство, и чем многочисленнее были армии солдат, сражающихся на поле боя, тем неприметнее становилась их индивидуальность. Превращение личной отваги в абстрактную храбрость, о котором говорил Гегель в своей «Философии права», связывая его с изобретением пороха и применением огнестрельного оружия, стало одним из элементов этой личностной трансформации. По крайней мере, Гегель почитал доблесть, основанную не на поиске личной славы и почестей, гораздо выше, чем ее прежние формы, ибо она как раз не стремилась к самовозвеличиванию, а служила на благо об-

шего. Такая трансформация нашла яркое выражение в символическом образе «Неизвестного солдата».

Дело обстоит совсем иначе в отношении боевых беспилотников, используемых против поименного списка лиц. Здесь речь идет не о том, чтобы сломить волю врага или отнять у него инструмент для отстаивания его политической воли, здесь вопрос стоит о ликвидации конкретного человека. Именно этого конкретного человека нужно убить, чтобы лишить его возможности планировать и осуществлять теракты или диверсии. Индивидуализация цели в данном случае является признаком полицизации военного процесса, начавшейся после Второй мировой и значительно ускорившейся вместе с окончанием холодной войны. Теперь театр военных действий представляет собой не попеременное выступление равнозначных воюющих сторон, признающих друг друга, а солирование одной стороны, олицетворяющей в рамках теории справедливой войны правоту и добро<sup>12</sup>, которая с помощью военных средств вершит справедливость и борется с нарушителями прав и мира, по крайней мере, как она сама считает и утверждает. Можно рассматривать это как временную кульминацию в процессе искажения симметрии войны — такая тенденция является общепризнанной; кроме того, здесь прослеживается реакция на постепенную трансформацию терроризма, который шаг за шагом превращается из внутриобщественной насильственной стратегии по подготовке революционного переворота в стратегию международного и транснационального масштаба, направленную на усиление влияния и навязывание своих интересов<sup>13</sup>. В любом случае возвращение к индивидуализации войны за счет использования дронов не является возвратом к противостоянию героических личностей, характерному для «века героизма», а представляет собой формирование ситуации, в которой «преступник» персонифицирован, а «преследователь» обезличен. В этой связи в случае использовании дронов в военных операциях было предложено заменить понятие «войны» термином «охота»<sup>14</sup>.

Для истории (европейских) войн последних веков характерны не только постепенное обезличивание, но и, как уже говорилось ранее, растущая способность ускорения или форсирования военных действий: одна из причин успехов Наполеона заключалась в том, что его войска двигались быстрее своих противников; победой над Францией в войне 1870 года прусско-немецкие войска не в последнюю очередь были обязаны весьма эффективному использованию железнодорожных сетей; стратегия молниеносной войны, блицкриг, реализованная в первые годы Второй мировой войны, делала ставку на быстрое продвижение моторизованных войск; и, наконец, в воздушной войне выигрывала та сторона, что обладала более проворными истребителями и бомбардировщиками. Даже в ходе обеих интервенций США в Ирак вырисовывалась закономерность, согласно которой войну должен выигрывать тот, кто на протяжении долгого времени удерживает первенство в вопросе форсирования военных действий. Однако при этом все же упускалось из вида, что любая партизанская война имеет тенденцию к замедлению хода военных событий. В таких войнах превосходство регулярных сил в возможностях форсирования боевых действий нивелировалось запасом сил, выдержки и выносливости ополченцев, растущим в результате замедления военных процессов. Такое замедление достигалось благодаря стратегическому использованию географических особенностей местности, таких как высокогорье или непроходимые джунгли, а также благодаря значительно большей готовности к самопожертвованию одной из сторон, например той, что отказывалась капитулировать, невзирая на высокие потери среди солдат и гражданских лиц. По сути, форсирование войны — лишь способ ограничить военные потери; непосредственно в момент ускорения военных действий, например при штурме, количество потерь заметно вырастает, но этот период, имеющий высокие показатели смертности, ограничен за счет его кратковременности. Способность ускорять военные события стала предпосылкой для того, что в начале XX века на смену стратегии войны на истощение пришла молниеносная война.

В свою очередь партизанская война и терроризм следуют принципу замедления; они притормаживают ход событий, затягивают его, например, расширяя для этого пространство военных действий, и таким образом они лишают противника способности (смертельно) ранить своего оппонента. Разумеется, превосходящий по силе противник отказывается принимать подобное положение дел и пытается восстановить условия, при которых его способность к нападению вновь станет очевидной. Обе стороны продолжают раскачивать лодку военных событий, затянувшихся в пространстве и времени, до тех пор, пока признаки победы и поражения не станут еле различимыми. Нередко случалось так, что регулярные силы превосходили своих противников в военном отношении, однако общество, контролировавшее эти силы, было настолько утомлено бесконечной войной, что настаивало на отступлении своих же войск. Партизанская война в конечном итоге имеет под собой стратегию, направленную не только на лишение противника способности вести военные действия, но на подавление воли общества, желания «оставаться в седле» и продолжать саму войну. Замедление войны служит тому, чтобы не дать стороне, превосходящей противника в традиционном отношении, выставить свои военные победы в свете его политического успеха, что в свою очередь приводит к тому, что современные общества, ориентированные на ускорение, проигрывают те войны, которые нельзя выиграть быстро. Стратегия замедления, используемая уступающей в технологическом и военно-организационном плане стороной, делает ставку на один из основных факторов уязвимости современного общества:<sup>15</sup> на его нетерпение и нежелание участвовать в проектах, успех которых проявится не раньше, чем через десятилетие.

Боевые дроны как система, используемая превосходящим с технической точки зрения противником и нацеленная как раз на замедление военных действий, стали отражением такого подхода. В каком-то смысле они (отчасти) восстанавливают симметрию, расшатанную продолжительными попеременными действиями сильного и слабого игроков. Они

возвращают сильному игроку его утраченную силу, снабжая ее запасом времени. Таким образом, восстановление симметрии касается только возмещения времени и высвобождения территории и не является возвратом к дуэльной позиции в ее классическом представлении. Ведь, по сути, едва ли можно представить себе другую, более далекую от (симметричной) дуэли ситуацию с применением силы, чем стрельба по людям противотанковыми ракетами. Атака всегда происходит внезапно, и у противника нет ни единого шанса защитить себя. Это не битва воинов, это ликвидация тех, кто классифицируется как враг, долго выслеживается и, наконец, оказывается застигнутым врасплох.

И все же шпионские и боевые беспилотники с политической и стратегической точек зрения являются одной из форм восстановления симметрии, правда, только в отношении конкретного противника, а именно того, который не претендует ни на территориальный контроль, ни на образование политического «тела», а, создавая организационные сети, старается проникнуть в самую глубину социального пространства и оттого становится практически неуловимым. Тут и там он напоминает о себе то крупными, то более мелкими терактами. При этом атаки чаще всего направлены не против профессиональных органов безопасности, охраняющих общество, в котором происходит теракт, а непосредственно на неустойчивую психическую инфраструктуру социума, ибо теракты сеют в нем страх и ужас. Такого противника нельзя запугать, ведь его организационная сеть не является политическим образованием, а значит, применять против него аналогичные ответные меры не представляется возможным. Не в последнюю очередь именно поэтому террористические организации представляют перманентную опасность для современного общества — они практически неуязвимы. Их неуязвимость расширяет временные рамки для террористических организаций, и таким образом они сами могут задавать ритм в проявлении насилия, принуждать противоположную сторону к ответным действиям, а также выжидать, прежде чем нанести неожиданный удар.

В целом можно выделить три модели последовательной ответной реакции Запада, и в первую очередь США, на подобный вызов со стороны террористов. Первая модель включала в себя атаку крылатых ракет на тренировочные лагеря террористов или подобные объекты с целью вызвать как можно более высокие потери среди противника. Эта модель была характерна для эпохи правления Клинтона и показала себя не слишком успешной, ибо террористы, нанося очередной удар, каждый раз ожидали ответной реакции и потому либо предварительно покидали объекты атаки, либо маскировали под них безобидные гражданские сооружения, такие как фабрики или даже больницы, превращая их в настоящие мишени. Таким образом, США выглядели в глазах мира бестолковым увальнем, палящим без разбору направо и налево, нанося себе при этом непоправимый политический ущерб. Вторая модель осуществлялась в период правления Буша, сменившего Клинтона на посту президента, и проводилась за счет военных вторжений на территории, где террористические элементы, предположительно, глубоко укоренились в обществе. Основной областью вмешательства, происходившего в рамках такой модели, стал Афганистан: с этой операцией связывались надежды на создание нового полноценного государства, которое сможет предотвратить повторное укоренение террористических групп у подножья Гиндукуша и сумеет свести проблемы борьбы с терроризмом к задачам местной полиции. Учитывая весьма скромные успехи, достигнутые в ходе этой операции, а также крупные потери во время оккупации территории, такая модель показала себя необоснованной с экономической точки зрения, рискованной в военном отношении и слишком длительной в политическом плане. К насущным вопросам, связанным с установлением мира в Афганистане и развитием устойчивой экономики (то есть той экономической модели, в которой производство героина не играло главной роли), добавилась проблема слишком длительного военного вмешательства на фоне долгого ожидания первых успехов операции. Население стран, поддерживавших вмешательство вооружен-



ных сил, начало терять терпение, и таким образом в игру вступила асимметрия доступного времени, что сделало вторую реакционную моделью непрактичной.

Третьей моделью действий, сформировавшейся с момента вступления на пост президента Обамы, стала беспилотная война: в ней не проводилось массированных атак, как в случае первой модели, и не было многолетних оккупаций территорий, рассчитанных на запуск процесса постепенных преобразований, как во времена второй модели. Беспилотная война стала одной из форм (противо)действия, направленного непосредственно на террористов: после того как личность ключевых представителей террористических сообществ устанавливается, сами преступники уничтожаются (или ликвидируются) ударами беспилотников. Подобные удары могут быть нанесены в любое время и в любом месте; по сути, они происходят тогда, когда полицейские средства бессильны в отношении задержания террористов по причине отсутствия государственности на той территории, где террористы находятся, либо наличия условий, напоминающих гражданскую войну, или высокой коррумпированности полиции. Члены террористических организаций среднего и высшего звена, как правило, скрываются в регионах такого рода. Дрон выступает в качестве посредника между военным командованием, занимающимся ликвидацией сомнительных личностей при помощи вертолетов и легкой пехоты, и классическим полицейским задержанием преступников. Он соединяет в себе элементы полицейских и военных действий и таким образом находится на границе войны и мира. На границе между войной и миром действуют и террористические группы, против которых используются беспилотники. Противники терроризма преследуют террористов только в тех районах, из которых те нападают. И все же есть все основания сомневаться в том, что правовое государство может преследовать своих врагов, нарушая границы, которое само же и создает. Этот щекотливый вопрос является основной политической проблемой в дискуссии, посвященной дронам.

Беспилотная война не зрелищна, ее нельзя назвать событием, она растянута во времени и в пространстве и не ограничена какой-либо местностью. Она вездесуща и в то же время невидима, она есть, но в то же время в странах, ведущих такую войну, она не обсуждается на политическом уровне, по крайней мере, в той форме, в которой муссируется тема военного вмешательства. Это война окутана тайной, она больше напоминает операции секретных служб, чем классические войны военных.

Определенная засекреченность беспилотной войны очень выгодна для правительств, ведущих такие войны, поскольку позволяет избежать требований со стороны современного общества, касающихся форсирования или прекращения этих действий. По сути, этим достигается эквивалентность в отношении временных ресурсов террористов, а приевшиеся понятия — победа как показатель эффективности или мир как норма политического состояния — в этом случае не имеют особого значения. Благодаря боевым дронам современное государство приблизилось и, может, даже сравнялось по уровню возможностей с террористическими организациями, что позволяет ему эффективно бороться с ними.

Данная стратегия не направлена на то, чтобы победить конкретные группы или организации, то есть вынудить их к каким-либо действиям или вовсе уничтожить. Здесь достаточно ввести противника в состояние длительного стресса, заставить его озаботиться вопросом самосохранения, лишит возможности планировать и осуществлять крупные теракты в западных странах. Беспилотная война не сокрушает террористические группы, а втягивает их в изнурительные конфликты, выиграть которые они не в состоянии. Если терроризм — это стратегия, направленная, по сути, против нестабильной психологической структуры постгероических обществ, стремящаяся истощить коллективную психику этих обществ, то беспилотная война — это та же стратегия изнурения, но нацеленная на средние и верхние звенья управления террористическими группами: подвергаясь постоянному давлению, руко-

водство либо окончательно выбивается из сил, либо, пытаясь менять своих членов максимально быстро, исчерпывает запас кадров подходящего качества. Чисто с технической точки зрения на настоящий момент третья модель ответных действий на террористические угрозы является наиболее эффективной.

Неразрешимой в данной ситуации остается проблема взаимного риска, то есть возможности убивать и быть убитым, которая служит нравственной основой для всех традиций военного дела: пилот дрона, посылающий ракеты для уничтожения объекта, управляет сгнем через монитор. Связь между центром управления и местностью применения оружия осуществляется посредством спутников. Предполагаемый или реальный член террористической группы, таким образом, не имеет ни единого шанса защититься от нападения. И даже если он не будет захвачен врасплох, а начнет обороняться с помощью оружия, то в лучшем случае сможет обстрелять беспилотник, а не противника, управляющего дроном. В вопросе применения беспилотников такая несоразмерность риска для жизни подвергается особенно жесткой критике<sup>16</sup>.

Против технологии «освоения поля боя» с помощью дронов есть свои аргументы, и в первую очередь это идеалы и представления героического общества: отсутствие симметрии в противостоянии воинов, невидимость и неуязвимость той стороны, что не выходит на бой сама, а посылает вместо себя приборы, тем самым проявляя трусость. Таким образом, и на это необходимо обратить внимание, развитию современного оружия противопоставляются идеалы вестернов, где в честном бою побеждает лучший. Там, где в духе постгегелевской философии можно было бы говорить о новом витке развития вооружений и этическом прогрессе, в котором целью смертоносной атаки становится не обобщенный образ врага, а конкретная личность, напротив, призывается традиционный идеал военного дела, основанный на представлениях рыцарской аристократии и лежащий в основе литературных и кинематографических вестернов о войне, снятых в ностальгическом духе. На самом деле порох и огнестрель-

ное оружие уже развенчали это идеал. Более того: рыцарству, признававшему один лишь только поединок, любое оружие дальнего действия внушало омерзение, и потому к лучникам и арбалетчикам, захваченным в плен, рыцари относились как к военным преступникам и калечили их. Знаменитый жест «виктория» — «победа», образуемый указательным и средним пальцами руки, которым в битве при Азенкуре английские лучники дразнили французских рыцарей, изначально был не знаком победы, а демонстрировал положение пальцев, натягивавших тетиву при выстреле из лука. Коли лучники попадали в плен к рыцарям, то им, если вообще оставляли в живых, отрубали эти пальцы, чтобы те уже больше никогда не могли совершить «военных преступлений»<sup>17</sup>.

В конце концов, лучники все же прорубили себе дорогу, и не только при Азенкуре, а этика рыцарства в силу распространения пороха и огнестрельного оружия оказалась устаревшей. Конечно, она сохранила свое значение, и особенно в тех районах, где небольшие героические общины обособлялись от остального общества и, ссылаясь на свой героизм и соответствующую ему этику, претендовали на особые права и привилегии. При этом мундир был олицетворением особого духа, отличавшего его владельца на фоне всего остального общества и делавшего его частью отдельного класса. Военное сословие эпохи европейского модернизма, обособившееся от остального общества, долгое время основывалось не на владении передовыми военными технологиями и склонности к новейшим системам вооружения, вызвавшим переворот в искусстве военной стратегии, а на героическом образе воина<sup>18</sup>. Постгероические общества, такие, как наше, должны с особой осторожностью относиться к разговорам об этике войны, в особенности если эта этика используется для того, чтобы требовать от солдат больше того, чем они сами от себя ожидают. Те, кто говорят об этом, де-факто поддерживают словесное самосознание. Именно образ военных, оторванный от общественной этики, может стать средством для создания государства в государстве. С точки зрения военных технологий

для «граждан в погонах» беспилотники гораздо более предпочтительны, чем напичканный героическим самосознанием солдат классической армии, и потому, когда их целью является устранение реальной или предполагаемой угрозы путем непосредственного контакта с неприятелем, они предпочитают легкой пехоте дроны. Проще говоря, в критике дронов находит отражение этика предбуржуазного общества с характерными героически-ностальгическими идеалами. Такая критика с политической точки зрения сама себя еще не осознала.

Необходимо признать, что мы живем в постгероическом обществе и что трудности, с которыми мы сталкиваемся, носят асимметричный характер. Ключом к этике в вопросе сохранения безопасности постгероических обществ служит не борьба в условиях симметричной взаимности, а оценка нашей собственной уязвимости и попытки ее снижения. При этом ключевыми понятиями в этом процессе являются «постгероизм», «асимметричность» и «уязвимость»: постгероизм отличает те общества, которые утратили идеалы жертвоприношения и чести, а точнее, те общества, где под жертвоприношением подразумевается не подвиг, а мученичество. Мученическая, а не героическая жертва обозначает жертвоприношение, принесенное в качестве возмещения ущерба, а не в виде спасительного или искупительного поступка<sup>19</sup>. Доля страховой суммы в национальном достоянии является показателем степени постгероизма в обществе. Такие общества, в случае если они участвуют в вооруженных конфликтах, принципиально ориентированы на недопущение или по крайней мере сведение к минимуму численности собственных жертв: их девиз — как можно меньше потерь.

Решающими факторами для трансформации героического общества в постгероическое служат снижение демографических показателей и уменьшение важности религий<sup>20</sup>. Первый фактор обуславливает возможность зарождения постгероизма, а второй обеспечивает создание системы мотивации героического поведения. Поскольку героическая смерть следует иной логике, нежели жертвоприношение ради получения

выгоды, для нее необходимо наличие руководящей религиозной идеи или политической религии<sup>21</sup>, которая в случае необходимости сможет потребовать этого героического поступка или мотивировать на его совершение. Постгероические общества недостаточно готовы к этому. Судя по европейской истории первой половины XX века, исчезновение героических обществ и вступление в эпоху постгероизма стали предпосылкой для мирного существования Европы в начале XXI века. Пока все хорошо. Но проблема заключается в том, что постгероические общества оказываются чрезвычайно уязвимыми и чувствительными к шантажу, если сталкиваются с героическими обществами, то есть с теми, кто до сих пор обладает как способностью к жертвоприношению, так и готовностью к нему.

Постгероизм появился не повсеместно и не одновременно. Постгероические общества всегда соседствуют с обществами героическими или с небольшими военизированными общинами. На данный момент постгероические общества технически превосходят героические общины, и в результате симметричное противостояние, как правило, оказывается безнадежным для героев: у них нет никаких шансов. Поэтому они начинают разрабатывать методы асимметричной войны, которые, если говорить обобщенно, стремятся превратить относительную силу атакуемой стороны в ее слабость. Таким образом, слабый соперник получает шанс, но этот шанс он может реализовать только через свою возросшую готовность к героическому самопожертвованию. Неслучайно террорист-смертник стал воплощением образа асимметричного воина нашего времени: он использует инфраструктуру постгероических обществ — метрополитен, воздушное сообщение, небоскребы и так далее, — чтобы атаковать их в самое сердце, ударить по их безопасности. Именно в этом аспекте постгероические общества особенно уязвимы, и устранить эту особую уязвимость они могут лишь только путем коллективной регрессии: им снова придется стать героическими обществами. Помимо того, что подобная трансформация не достигается принятием политических решений, она также имеет

огромное количество нежелательных побочных эффектов и потому не может представлять собой желанную и всерьез воспринимаемую политическую опцию.

Таким образом, уязвимость является ключевым понятием в концепции безопасности XXI века. В симметричных условиях рамки уязвимости задавала повышенная опасность противника, его способность наносить удар, равноценный ответному<sup>22</sup>. Предпосылкой появления такой симметричной системы взаимной опасности, основанной на понятии «запугивания», послужила однородность участников, то есть наличие некой *правлящей политической элиты*, благодаря которому целью становится уязвимость. *Правящая политическая элита*, которая в случае государства представляет территорию, находящуюся под его юрисдикцией, вместе с живущим на ней населением, обладает уязвимостью, которая делает его опасность для противника относительной: противник *правлящей политической элиты* сможет отплатить ему той же монетой. Именно этого не хватает носителям героизма в эпоху постгероизма: сетевые организации не формируют *правлящую политическую элиту*, они совершенно незаметны и необъятны, поэтому их едва ли можно всерьез запугать. Это еще один аспект в целом комплексе асимметрий, характерном для ситуации, сложившейся вокруг безопасности в начале XXI века<sup>23</sup>. Беспилотники, роботы и тому подобное являются основными инструментами, с помощью которых постгероические общества защищаются от запугиваний и угроз со стороны героических общин. Несомненно, даже этот вид самозащиты нуждается в соблюдении этичности, но определять этику героических обществ он не может. «Оружие есть суть воинов», как называл это Гегель в своей «Феноменологии духа»<sup>24</sup>. А оружием постгероических обществ являются беспилотники и системы наблюдения.

Какова же альтернатива? В военной истории последних лет можно наблюдать, как состоятельные общества пользуются международными рынками военной рабочей силы и нанимают там бойцов, которых затем используют в своих целях. Собирательное понятие для таких услуг звучит как

частные военные компании (Private Military Company)<sup>25</sup>. Капитал, доступный постгероическим обществам, инвестируется по сути не в развитие технологий, превосходящих уровень врага, а в чужую военную силу, способную за счет героических общин компенсировать отсутствие своей готовности к жертвоприношению в противостоянии угрозе. И хотя ведущий игрок в этой области — Соединенные Штаты — на протяжении долгого времени делает ставку как на частные военные компании, так и на беспилотные летательные аппараты, вопрос об этичности самоутверждения постгероических обществ военными методами все же остается актуальным: что предпочтительнее с этической точки зрения, если в распоряжении общества недостаточно бойцов, которыми можно пожертвовать: приобрести их у другого общества или заменить ультрасовременным оружием? В дискуссии, посвященной этике войны в условиях новых боевых систем, этот вопрос является ключевым.

## 9

### Что же нового в «новых» войнах?

Потребовалось определенное время, чтобы закостеневшая в своей повседневности наука конфликтология обратила внимание на теорию «новых» войн, а специалисты по международным отношениям осознали, что теория демократического мира, с жаром отстаиваемая ими, неспособна вместить себя военные проблемы конца XX — начала XXI века. Тем ожесточеннее были эпизодические нападки на теорию «новых» войн. Можно выделить четыре основных довода, оспаривающих эту теорию: в первую очередь, это сомнение в новизне некоторых явлений, которые преподносятся как нечто новое, а не как привычный фон военных действий. Кроме того, подразумевается, что «новые» войны рассматриваются только в контексте территории Центральной Европы, и при этом военные конфликты колониальных держав за пределами Европы упу-



скаются из виду. В-третьих, утверждается, что теория «новых» войн уделяет недостаточное внимание сохраняющейся ядерной угрозе и переоценивает геополитическое значение партизанской войны и терроризма. И наконец, высказывается опасение, что распространение идеи «новых» войн способствует антропологизации концепции войны, где внимание сосредотачивается на политическом управлении войны, и оттого война рассматривается лишь с определенных аспектов<sup>1</sup>.

Конечно, со многим здесь нельзя не согласиться. Правда, относятся эти доводы скорее не к самой теории, а ко многим авторам, ее представляющим. Критики не особенно заботились о том, чтобы отсортировать мнение некоторых представителей теории «новых» войн и хорошенько разобраться в их аргументах. Например, британский военный историк Джон Киган не имеет никакого отношения к концепции «новых» войн и уж тем более не внес в нее никакого вклада<sup>2</sup>, и тем не менее его постоянно приводят в качестве представителя этой теории, а сама теория разбирается на примере его работ. В свою очередь Мартин ван Кревельд уже давно говорил о «трансформации войны» и даже прогнозировал сведение крупных государственных конфликтов к «войнам малой интенсивности»<sup>3</sup>. В этой связи он называл теорию войны, предложенную Клаузевицем, устаревшей, предлагая и вовсе списать ее со счетов. Это неприятие позиции Клаузевица роднит его с Джоном Киганом, который, продолжая традицию его учителя, Бэзила Лиддел Гарта, не испытывал особой симпатии к прусскому военному теоретику<sup>4</sup>. Но в то время как в своей оценке теории Клаузевица ван Кревельд основывался на описанном им же переломе в сути войны, Киган считал, что это теория и для толкования военных событий прежних лет не подходила. По мнению Кигана, она просто сама по себе была неверной. Обе точки зрения в отношении Клаузевица можно без труда отделить друг от друга, ибо они основаны на принципиально разных предпосылках; но даже это не всегда удастся критикам теории «новых» войн. Причина проста: сами они знакомы с теорией Клаузевица лишь в об-

щих чертах. Этот недостаток имеет последствия, выходящие далеко за пределы обычной путаницы в позициях относительно Клаузевица и его работы «О войне»<sup>5</sup>.

Первой, кто провел грань между старыми войнами и новыми, стала конфликтолог Мэри Калдор, предложившая подобное разграничение на примере югославского конфликта. Однако теоретическую модель «новых» войн, противопоставляемую «старым» войнам, Калдор пока не разработала. Первым шагом в этом направлении стало описание трех основных признаков, предложенных автором, которые можно рассматривать в качестве характеристики «новых» войн:

1. Постепенная *приватизация* войны, которая приводит к тому, что государства утрачивают свою монополию на войну<sup>7</sup>. На самом деле они необязательно могли владеть ею, но с точки зрения международного права начиная с XVII века в Европе принято было считать, что эта монополия существовала. Такое предположение, послужившее основой для многих положений международного права, в большинстве случаев все же выглядит неубедительным; около- и субгосударственные действующие лица оказывали как минимум такое же влияние на военные события, как и государства и используемые ими регулярные войска. Положения Вестфальской системы международных отношений, лежащие в основе множества аналитических трудов представителей американской политологии, можно считать устаревшими, ибо они опираются на представления о государственной монополии на войну. Можно привести немало примеров полевых командиров из разных слоев общества, сумевших в последние два десятилетия оказать решающее влияние на ход войны.

2. Появление непреодолимых военных асимметрий и, как следствие, *антисимметризация* военного насилия за счет менее боеспособных участников<sup>8</sup>. Чтобы осознать масштабы этого явления, нужно обратиться к истории войн и военного дела, которая наглядно показывает, что не симметрия, а именно асимметрия является стандартным состоянием войны: симметрия в отношении территориальных государств основы-

валась лишь на договоренностях и соглашениях воюющих сторон, а позже на международном законодательстве. Появление асимметрий относится к эволюционным процессам войны, в то время как симметрии образуются за счет военно-этических конвенций или посредством компенсирующей модернизации вооруженных сил. Потому изначально симметрия в войне невозможна. И все же антисимметризация отличается от естественного возникновения асимметрии: она является результатом стратегических расчетов, с помощью которых сильные стороны противника превращаются в слабые.

3. *Демилитаризация войны*, под которой подразумевается, что регулярные вооруженные силы утрачивают свою монополию на ведение войны<sup>9</sup>. Это отражается на составе сил воюющих сторон, которые все чаще состоят из воинов, а не солдат, а также на военных целях, которые все реже представляют собой объекты военного назначения; как правило, под удар попадают гражданские лица и гражданские объекты. Вследствие этого разница между комбатантами и некомбатантами, которая в свою очередь является одним из самых важных достижений международного военного права, постепенно стирается. Мало того, демилитаризация войны также влечет за собой стирание четких различий между войной и миром, и на место военной парадигмы мало-помалу приходит парадигма криминальная.

Теория «новых» войн исходит из того, что три этих признака тесно связаны между собой, и поодиночке ни один из них нельзя выделить и охарактеризовать. Это является ключевым моментом теории: соединение всех трех особенностей в результате порождает принципиально новый тип войны. В то же время каждая из этих тенденций уже наблюдалась ранее, что дает почву для разговоров о том, что те элементы, которые в теории преподносятся как новые, уже давно присутствуют в истории военного дела. Особенно в колониальных войнах можно обнаружить некоторые элементы «новых» войн. Однако в этом случае не учитывается сама суть аргумента, где новизна элементов, предлагаемая теорией «новых» войн, заключается в соединении всех трех признаков и их взаимном усилении.

При этом важную роль играет то, что в результате постепенного отхода от межгосударственных войн, в которых друг с другом сражались соседствующие страны, и благодаря усилившемуся вмешательству глобальных сил в периферийные конфликты вдали от зон экономического благоденствия, возросло число *транскультурных войн*. Это имеет большое значение для теории «новых» войн, поскольку в транскультурных войнах вероятность возникновения симметрий гораздо ниже, чем в войнах, где стороны принадлежат к одной и той же культуре, что обуславливает формирование определенных правил и традиций. Конечно, явление транскультурных конфликтов не так уж ново, его можно наблюдать практически во всех колониальных войнах; в истории европейских войн оно получило актуальность в момент открытия и покорения Нового Света<sup>10</sup>. Новизна этих конфликтов, описанная в теории «новых» войн, в данном случае заключается в том, что такой тип войны определяет направление развития военных событий, а не является одним из видов военных действий,<sup>11</sup> из уроков которого ничего принципиального для ведения больших войн извлечь нельзя, как это было в период колониальных войн. Характерной особенностью «новых» войн является то, что тип малой войны в них в гораздо большей степени задает направление развития, нежели большая война, бывшая мерилom военной стратегии вплоть до середины XX века.

### **Обманутые надежды после отхода от межгосударственных войн**

Завершение конфликта между Востоком и Западом породило надежды на то, что время войн и военных угроз осталось в прошлом и человечество сможет осуществить свою давнюю мечту о длительном, если не вечном, мире и вскоре за счет сокращения военных расходов получить весьма весомые «мирные» дивиденды. Такие ожидания основывались на прогнозах целого ряда социологов прежних лет, от Огюста Конта до Йозе-

фа Шумпетера, которые считали, что курс на войну и военное дело продиктован традиционной элитой, которую постепенно вытеснит развитие торговли и промышленности и пришедшая вместе с ними новая элита. Даже сочинение Иммануила Канта «К вечному миру» базируется на представлении о том, что «дух торговли» и «дух войны» не могут сосуществовать на протяжении долгого времени. Именно эта идея владела умами по окончании холодной войны: казалось, теперь, когда национализм и тоталитаризм больше не стоят на пути прогресса, проявятся наконец те тенденции, что заставят войну исчезнуть навсегда<sup>12</sup>. Речь шла о войне в единственном числе: не то чтобы войны станут реже, сама война должна была исчезнуть как таковая.

Но надежды не оправдались. Завершилась эра классической межгосударственной войны, но не эпоха войны. Не в последнюю очередь благодаря технологическому прогрессу крупные межгосударственные войны стали невозможны, с одной стороны, из-за разрушительной силы ядерного оружия, а с другой — ввиду резкого роста уязвимости современного общества, закованного в рамки промышленности и оказания услуг<sup>13</sup>. Оба фактора привели к тому, что межгосударственные войны стали стоить больше, чем могли принести в случае победы: как правило, их больше не рассматривали как возможность расширить территорию государства, обогатить его и тем более решить политические проблемы. Разумеется, в таком прогнозе не так много нового: уже в конце XIX века такие разные современники, как начальник прусского Генерального штаба Гельмут фон Мольтке, польский банкир и публицист Иван Блюх и англо-германский промышленник и революционер Фридрих Энгельс пришли к выводу о том, что война, начавшаяся в будущем в Европе, приведет к огромным потрясениям и глубоко преобразует социальный и политический порядок на континенте<sup>14</sup>.

Во время Первой мировой войны именно это и произошло, и вплоть до 1990-х годов Европа в каком-то смысле боролась с последствиями этой «пракатастрофы XX века», чтобы не допустить повторения Первой мировой войны. По оконча-

нии Второй мировой войны европейцы предприняли ряд мер предосторожности, от создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) и Европейского экономического сообщества (ЕЭС), разрушивших политические и экономические границы, до проведения конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Благодаря преобразованию ЕЭС в Европейское сообщество, а затем в Европейский союз (ЕС) и трансформации СБСЕ в ОБСЕ, эти системы безопасности обрели независимость от условий холодной войны и с тех пор формируют структуру политического и экономического порядка Европы. Это вселяет надежду на то, что война более не будет инструментом европейской политики<sup>15</sup>.

Однако европейское начинание не смогло распространиться на весь мир, оно даже Европу целиком не охватило, оставив незатронутым юго-восточное окончание континента, Балканский полуостров. Примерно к середине 1990-х годов надежды на то, что окончание противостояния Востока и Запада принесет с собой искоренение войны, улетучились. В то же время происходил целый ряд войн, которые не были войнами в классическом смысле, но тем не менее обнаруживали высокую степень насилия и имели серьезные последствия<sup>16</sup>. Войнами *первого* типа стали операция в Персидском заливе в 1990–1991 годах, нацеленная на освобождение Ираком оккупированных территорий Кувейта, а также американско-британское завоевание Ирака, начатое в 2003 году и завершившееся свержением диктаторского режима Саддама Хусейна. К этому же типу можно отнести и вмешательство НАТО в югославские войны, приведшие к распаду государства.

Под войнами первого типа в данном случае подразумеваются *войны за миропорядок*, которые проводятся с мандатом Организации Объединенных Наций или без него и призваны обеспечить соблюдение основных принципов международного порядка. Таким образом, им требуется особая степень легитимности, а их целесообразность горячо обсуждается с политической точки зрения, поскольку у многих наблюдателей заявленные мотивы вызывают сомнение. С дру-

гой стороны, эти войны в значительной степени отличаются от традиционных колониальных и империалистических войн, проводимых в интересах империй-завоевателей. Подобное корыстолюбие не свойственно более консервативным войнам мирового порядка: столь же неправдоподобно, сколь американские доводы в пользу войны, согласно которым Саддам Хусейн имел в распоряжении оружие массового уничтожения, звучат заявления критиков о том, что интервентов в той войне интересовали только иракские нефтяные ресурсы: если бы это действительно было так, то американцы не вывели бы свои войска так скоро, да и обвал цен на нефть, произошедший в 2014 году, объяснить было бы сложно.

В качестве примера войны *второго* типа можно привести дезинтеграционные процессы в Югославии, где война между сербами и хорватами сопровождалась массовыми убийствами и этническими чистками, а боснийская война привела к всплеску насилия, направленного против гражданского населения, глубоко пошатнувшему веру в успешность миротворческой политики Европы. В ходе боснийской войны обозначились границы европейской уверенности в том, что использование военной силы можно всегда и везде избежать путем дипломатических переговоров и финансовых предложений. Чтобы не допустить повторения ужасов боснийского конфликта в Косово, НАТО решилась на беспрецедентную военную интервенцию, которая, по ее мнению, подпадала под определение войны за миропорядок. Однако в случае дезинтеграционных войн речь идет о *сепаратистских конфликтах* и *войнах за самоопределение*, в которых часть населения желает обособиться от государственной единицы, но это право не признается правящей элитой и оставшимся населением. В результате дело доходит до военной конфронтации, а которой регулярные войска играют весьма ограниченную роль; наряду с ними в войне участвуют добровольные объединения, проявляющие насилие не только в отношении комбатантов, но и против гражданских лиц «непокорного» этноса. К этому типу войн можно причислить обе чеченские войны,

войну в Грузии и войну на востоке Украины. Такие войны могут заканчиваться мощным вмешательством третьей стороны, как, например, происходило в Боснии, Косово или в Грузии, но они также могут тянуться годами, подобно чеченским войнам, чтобы в результате превратиться в бесконечную череду террористических актов и систематических преступлений (такая ситуация сложилась в странах Латинской Америки, например в Колумбии и Гватемале, после официального прекращения гражданских войн); либо, путем переговоров с привлечением третьих держав, они превращаются в «замороженные» конфликты, как, например, было в случае конфликта на востоке Украины.

Наконец, представителями *третьего* типа войны служат военные конфликты в Сомали и Руанде, причем в Сомали военная интервенция, проведенная без мандата ООН, с треском провалилась, не сумев положить конец гражданской войне — война длится уже три десятилетия, и никаких надежд на ее прекращение пока нет. В Руанде, где военное вмешательство со стороны ООН или ОАЕ (Организации африканского единства) не производилось, жертвами массовых убийств стало более миллиона человек. В результате война в Руанде завершилась победой армий тутси, но переместилась на территорию Восточного Конго, где слилась с другой войной и в итоге унесла жизни более четырех миллионов человек, став самой кровопролитной со времен Второй мировой войны. Такие войны не заканчиваются путем вмешательства третьих лиц; в них возникают особые экономические системы, в которых, согласно выражению времен Тридцатилетней войны, охватившей Центральную Европу, «война питает войну». Для военной экономики торговля нелегальными товарами, такими как героин, кокаин, «кровавые алмазы» или ценные породы дерева, так же типично, как и пиратство, процветающее не только в районе Африканского Рога. Противоборствующие стороны ведут борьбу за контроль над ресурсами страны, стремясь использовать их в своих интересах. Поэтому эти войны можно охарактеризовать как *ресурсные*.



## Трансформация образа войны в истории

Война не исчезла с момента прекращения противостояния Востока и Запада, она лишь изменила свой образ. Военный теоретик Карл фон Клаузевиц называл войну «истинным хамелеоном», приспособляющимся к окружающей среде<sup>17</sup>. В этом смысле разгосударствление или приватизация войны являются формами ее адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды, а конкретно к снижению созидательной мощи государств и глобализации экономики. На место войны с использованием регулярных армий, стремящихся поразить друг друга, сломить политическую волю противника и принудить его к капитуляции<sup>18</sup>, пришло диффузное взаимодействие различных вооруженных групп, от сил интервенции, обладающих мандатом международных организаций, до местных полевых командиров и глобальных поставщиков военных услуг. Принципиальная для определения порядка войны граница, разделяющая государственную и гражданскую войны, то есть межгосударственный конфликт и внутрисоциальное насилие, стерлась: оба типа войны смешались друг с другом. В то же время военная сила сохранила свою нормативную легитимность: развертывание многонациональных вооруженных сил, осуществляющих задачу принуждения к миру, настолько сблизило понятия войны и полицейских действий, что отличить их друг от друга стало практически невозможно.

Этой «констеблизации» войны<sup>19</sup> противостоит дерегулирование принципов применения силы, где все больше и больше игроков определяют ход военных событий, не обращая внимания ни на Гаагскую, ни на Женевскую конвенции. Напротив, их оперативный потенциал как раз основывается на несоблюдении положений военного права: они втягивают в военные действия гражданские лица, не только используя их в качестве прикрытия и материально-технической базы, как происходит в случае партизанских войн, но и выставяя их главной мишенью своих атак, подобно терроризму нового вида. Гло-

бальная стратегия терроризма на данный момент является финальным пунктом процесса, в ходе которого война из противостояния профессиональных военных составов превратилась в убийства мирных жителей силами бойцов, замаскированных под гражданское население. Важнейшее достижение международного военного права — разделение комбатантов и некомбатантов — можно считать устаревшим<sup>20</sup>. Размыwanie различий, характерных для классических войн, и их правовой кодификации и стирание границ, регулирующих ведение военных действий, являются главным признаком новых войн.

Описанные процессы послужили для теоретиков войны достаточным поводом для того, чтобы заговорить о принципиально новых формах военных действий и, следовательно, о «новых» войнах. В истории войны и военного дела принципиальные перевороты не редкость: так, например, военно-организационные и технологические инновации стали поводом к коренному изменению военной стратегии в XVI и XVII веках (все более широкое использование пушек сначала в осадной войне, а вскоре в открытых сражениях на поле, в строительстве крепостей и тактическом построении боевой армии)<sup>21</sup>. Пресловутая *революция в военном деле* конца XX века, то есть появление так называемого интеллектуального оружия, оптимизация меткости орудий дальнего действия и развитие средств передачи информации на поле боя за счет использования микроэлектроники дала Соединенным Штатам превосходство, сравнимое с отрывом, обусловленным уровнем развития *военной революции* в начале современной эпохи.

Такое сравнение очень поучительно, ибо в нем обнаруживаются не только сходства, но и принципиальные различия: инновации, привнесенные в военное дело на заре новой эпохи, запустили первую в европейской истории гонку вооружений, в которой все было нацелено на то, чтобы не допустить преимущества потенциальных противников в области технологического и организационного развития. Результатом этой гонки вооружений стало не формирование асимметричных обстоятельств, ведущих к конфронтации разнородных сил, а постоян-

ное нивелирование преимуществ одной стороны, вследствие чего обстоятельства военных действий возвращались к симметричной форме<sup>22</sup>. В случае военной революции, произведенной за счет развития микроэлектроники, все было иначе: США достигли настолько высокого уровня военных технологий, что ни один из фактических или потенциальных конкурентов Америки не в состоянии их догнать, за исключением, пожалуй, европейцев и Китая, хотя европейцам для этого не хватает воли. В итоге Соединенные Штаты из мирового гегемона превратились в настоящую империю, в которой все притязания на власть не в последнюю очередь основаны на военном потенциале страны<sup>23</sup>.

Однако «новые» войны представляют собой нечто большее, нежели преобразование сути военного дела и военной стратегии; с ними связаны изменения в политических и социальных типовых условиях, обуславливающих порядок расположения войск и ведения войны. По сути, оба фактора, военную стратегию и политически-общественный порядок, нельзя рассматривать по отдельности, как это часто делается в исследованиях. Таким образом, военная революция, ознаменовавшая собой начало современной эпохи, коренным образом изменила политические условия ведения войны.

Рост популярности артиллерии, повлекший за собой обесценивание замков и городских стен, а следовательно, вызвавший необходимость возведения более мощных оборонительных сооружений, а также потребность иметь в распоряжении все три рода войск — пехоту, кавалерию и артиллерию, — чтобы использовать их в сражении в нужный момент, привели к резкому удорожанию войны<sup>24</sup>.

В такой ситуации монополии на ведение войны получало централизованное государство, поскольку только оно могло позволить себе расходы на содержание армий таких размеров. Бесчисленные субгосударственные и квази-частные лица, населявшие прежде зоны военных действий, от вассальных рыцарей до предприимчивых маркитантов и кондотьеров, исчезли из поля зрения либо были «национализированы». Произошло, как говорил Макс Вебер<sup>25</sup>, от-

деление рабочей силы от средств производства, которое на заре современности привело к национализации войны: новое оружие было слишком дорогим для того, чтобы кто-то мог купить его и отправиться защищать своего сюзерена либо явиться на место призыва, объявленное военным нанимателем, предложив на время войны свои услуги взамен на жалование. Кроме того, войска необходимо было долго «муштровать», а подобное было невозможным в условиях, когда наем военной силы осуществлялся в момент начала военных действий. Наемников размещали в казармах и усиленно тренировали, а форма, в которую они были одеты, и оружие, используемое ими, были уже не их собственностью, а принадлежали государству. Воины, превратившиеся в солдат, носили, как тогда говорили, «королевский мундир». Таким образом, государство стало хозяином войны, а юристы выработали для такого положения соответствующие правовые нормы.

В явлении, называемом «новыми» войнами, с одной стороны, наблюдается продолжение этой тенденции, с другой — ее изменение и искоренение. *Революция в военном деле*, приведшая к асимметричному превосходству США даже в условиях традиционной войны, вновь подстегнула процесс, запускавший удорожание военного аппарата и значительно сокращавший численность боеспособных сторон. По сути, США на данный момент являются единственной державой, способной на ведение войны мирового масштаба. До начала 1990-х годов на эту роль также претендовал Советский Союз, но после того как он больше не смог позволить себе расходы, необходимые для модернизации своих вооруженных сил за счет использования микроэлектроники, он перестал составлять конкуренцию США, ограничившись положением их равносильного оппонента с наличием у него ядерного потенциала. Мировая политика вмешательства, проводимая Соединенными Штатами с 1990 года вплоть до момента вывода войск из Ирака, была основана на их военно-техническом превосходстве и том факте, что равноценного им противника в мире не было. Симметричная война, как правило, влечет за собой серьезные военные потери, но

постгероические общества богатого Северного полушария на такие жертвы не готовы. Их готовность вмешательства зависит от способности минимизировать потери, что, в свою очередь, основывается на асимметрии военного потенциала.

Такие асимметрии начинают проявляться тогда, когда технологически более развитая держава открывает новые пространства войны, недоступные для ее противника, и ведет войну с этих позиций. В прежних войнах таким пространством, находившимся под контролем одной державы, в первую очередь было море, в первой половине XX века им стало воздушное пространство, а в последние десятилетия этого века к ним добавилось еще и космическое пространство. Именно контроль над морским, воздушным и космическим пространствами позволяют США проводить военные интервенции на территории Евразийского континента, не опасаясь быть вовлеченными в малую войну, способную измотать их непрерывными потерями. Не в последнюю очередь это асимметричное превосходство Соединенных Штатов заставило других участников, стремящихся противостоять навязыванию им чужой воли насильственными методами, задуматься о стратегической асимметризации борьбы, способной дать отпор асимметричному использованию военной техники. Как то: способности ускорения, успешно реализуемой Соединенными Штатами, должна была противостоять стратегия замедления, а битва вооружений превращалась в битву картинок, и если военные Соединенных Штатов долго могли оставаться неуязвимыми, то американское население нет. Самой главной задачей здесь оставалось максимальное снижение собственной уязвимости, что скорее всего было возможным в случае отсутствия единой *правлящей политической элиты* и ведения деятельности из самого сердца социального пространства в качестве сетевой организации, то есть находясь вне досягаемости военных средств.

В то же время в 1980-х годах начался процесс, противоположный использованию все более дорогих военных аппаратов в развитых странах Северного полушария: бесчисленные войны, идущие на окраинах богатых районов, ведутся без

применения дорогих, требующих ухода и регулярного обслуживания установок, управлять которыми могут лишь высококвалифицированные специалисты. Вместо этого используется дешевое и доступное с точки зрения применения оружие: автоматы, мины, легкие ракетные пусковые установки и пикапы, служащие в качестве военного транспорта. Да и персонал, с помощью которого ведутся боевые действия, как правило, состоит не из профессиональных солдат, а из спешно набранных бойцов, иногда даже подростков или детей, для которых война является способом выживания и возможностью снискать славу<sup>26</sup>. Такие войны получаются относительно недорогими для тех, кто их ведет, благодаря чему в последнее время круг участников, способных вести военные действия, значительно расширился. Порой для того, чтобы начать войну, достаточно пары миллионов долларов; эти деньги могут поступать от эмигрантских общин, крупных экономических предприятий, стран, действующих за спиной своих соседей, лидеров кланов или частных лиц, выступающих в качестве военных предпринимателей<sup>27</sup>. Таким образом, порог возможностей в ведении войны снизился настолько, что перешагнуть его стало возможным для огромного множества групп. В результате мы имеем дело с противоположными процессами: асимметрия систем вооружения продолжает снижать численность боеспособных держав, в то время как стратегия антисимметризации делает возможности ведения войны доступными для новых игроков. Такая встречная направленность процессов является одной из характеристик «новых» войн, в то время как подготовка и ведение прежних войн являла собой линейный векторный курс.

### **Новый тип войны — периферийные войны**

Картина трансформации войн в течение последних трех десятилетий выглядит весьма запутанно и противоречиво. С одной стороны, для применения военной силы продолжают вы-

рабатываться юридические нормы, с другой — образ солдата вытесняется во многих войнах образом воина, не чтящего ни идеалов рыцарства, ни положений международного военного права, а целенаправленно применяющего насилие по собственному усмотрению. С одной стороны, в мире сформировались геополитические регионы, в которых война более не рассматривается в качестве политического инструмента, и примером тому служит большая часть Европы, а с другой — есть регионы, где война, сопровождающая развал государства, стала привычным и характерным состоянием. Причина отсутствия мирной перспективы заключается в большом количестве сторон, участвующих в войне, их организационной разобщенности и, наконец, типичной для «новых» войн взаимосвязи между финансированием войны и международной преступной деятельностью<sup>28</sup>. Из-за этой особенности военной экономики многие из «новых» войн длятся не месяцы или годы, а целые десятилетия.

С учетом такого развития событий ограничиваться перечислением подробностей и анализом статистики больше нельзя; политология должна сосредоточиться на вопросе: отличается ли та модель, что лежит в основе большинства войн, ведущихся в последние два или три десятилетия, от прежней или нет? Подходит ли модель европейских войн, основанная на принципиальной симметрии воюющих сторон и возлагающая на эту симметрию задачу этического и правового регулирования, для достоверного анализа новейших войн или нет? Это закрытые вопросы, ответить на которые можно только «да» или «нет». Подробности и статистические данные позволяют сделать вывод об отклонении от модели, но не об ее смене.

Вопрос о военной модели, лежащей в основе анализа, имеет огромное значение, поскольку эта модель отражает степень нашей креативности, рациональности и легитимности стратегических действий, определяя возможности и перспективы искоренения войны. Лишь в рамках теоретически смоделированных предположений, основанных на определенной модели, можно сделать выводы о креативности или тра-

диционности действий, о рациональности или бессмысленности перспективы применения насилия, а также о законности или незаконности тех или иных решений. Без такой теоретически смоделированной конструкции ни решения, ни перспектива, ни действия не получают адекватной оценки, разве что будут подвергнуты *моральному суждению*, не имеющему отношения к конкретной политической ситуации. Конечно, такой подход тоже возможен, хотя и не особенно продуктивен для политического анализа, поскольку суждения такого рода, как правило, предсказуемы. Кроме того, они вполне возможны и без анализа конкретных обстоятельств и условий — в этом случае речь идет о суждениях, для которых научный анализ является необязательным. Вынесение научно обоснованных суждений в свою очередь возможно лишь на основе теоретически смоделированных предположений, отражающих вид войны — симметричный или асимметричный, — тип противоборствующих сторон, их политические цели и прочие параметры. Теория «новых» войн исходит из того, что в данный момент в сущности войны происходит коренное изменение. Как говорил Клаузевиц, грамматика войны изменилась коренным образом<sup>29</sup>, война ведется по другим правилам, и потому путь к миру должен быть проложен заново.

Тут же можно услышать возражение: разве в войнах, идущих за пределами Европы в XVI–XX веках, уже не встречалась подобная структура? Вполне возможно; но перспективы и ритм политического и военного развития в Америке и Азии задавала европейская модель. Даже те государства, что боролись за свою независимость, используя партизанскую войну, выстраивали модель своих военных сил по примеру Европы. Превращение партизанских групп в регулярную армию и трансформация подпольщиков в солдат вели к тому, что с обретением полной государственности асимметричные истоки появившегося государства забывались, а претензия на взаимное признание была основана на полученной возможности ведения симметричных военных действий. Сегодня надежды на такое признание уже неактуальны; вряд ли



кто-то из многочисленных полевых командиров в полуприватизированных периферийных войнах стремится облечь доставшуюся ему на время власть над определенной территорией, используемой с целью экономической эксплуатации, в государственную форму. Также и террористические группы, имеющие сетевую форму организации, не предпринимают особых усилий для закрепления за собой политической формы государства с фиксированной территорией, за исключением, пожалуй, группировки ИГИЛ в Сирии и Северном Ираке. Они имеют на это полное основание, ведь в противном случае они становятся легкой мишенью для стран, которым сами могут нанести серьезный ущерб, не имея территориальной целостности. Поэтому точка зрения, согласно которой «новые» войны представляют собой государствообразующие войны, наподобие европейских войн XVI и XVII веков<sup>30</sup>, выглядит довольно неубедительно. Скорее, в данном случае речь может идти о дезинтеграционных войнах, вследствие которых государства распадаются. Ведь так или иначе, наблюдается определенная синхронность в распространении «новых» войн и растущем числе распадающихся государств<sup>31</sup>.

В асимметрии в плане военно-технической оснащенности и военной организации, а также антисимметризации как своеобразной реакции на эту асимметрию нет ничего нового: в мировой истории асимметричные войны встречались, пожалуй, куда чаще симметричных. Да и участие субгосударственных или получастных игроков было далеко не редкостью. Самым известным европейским примером тому служат итальянские кондотьеры XV и XVI веков<sup>32</sup> и Тридцатилетняя война, в которой частные экономические интересы оказывали значительное влияние на ход военных действий<sup>33</sup>. Концентрация насилия военного характера типична для той модели войны, которая сложилась в Европе в условиях Вестфальской системы<sup>34</sup>. Однако на протяжении XX века обязательства, связанные с этой системой, постепенно утрачивали свою силу. Тем не менее до недавнего времени европейская модель войны, спроецированная на глобальные взаимосвязи,

продолжала формировать систему политических представлений. Все клятвы о вечном мире, описанном Кантом в его трактате, и попытки теоретиков демократического мира приписать себе эмпирические доказательства правильности суждений философа были основаны на предположении, в котором фактическим хозяином войны выступало государство. Но как только война выходит из-под контроля государства, а негосударственные субъекты получают возможность вести военные действия, перспектива вечного мира, описанная Кантом, рассыпается на части, а Организация Объединенных Наций постепенно утрачивает свое влияние. Пыл, с которым многие критики обрушиваются на теорию «новых» войн, берет свое начало в политическом разочаровании, связанном для них с центральными заключениями этой теории.

Таким образом, принципиальная новизна «новых» войн заключается не в отдельных процессах, а во сочетании приватизации, антисимметризации и демилитаризации военного насилия. Классическая европейская военная модель перестала быть эталоном, но оплакивать ее нет оснований. Классическая межгосударственная война до момента ее изживания обрела такой разрушительный потенциал благодаря возможности использования атомной бомбы, что развитые индустриальные общества более не готовы ее вести, по крайней мере, в прямой конфронтации друг против друга, в виде симметричного противостояния. Это наглядно показала Первая мировая война, а затем и Вторая. Все межгосударственные войны, происходившие после 1945 года, велись исключительно на периферии богатых областей, где противостоящие государства были неспособны сражаться без поставок оружия и оборудования из развитых индустриальных стран. Последними классическими межгосударственными войнами стали война между Ираком и Ираном (1980–1988), а также война Эфиопии и Эритреи. В отличие от партизанских войн эпохи деколонизации симметричные войны оказали довольно ограниченное влияние на международный порядок: границы в этих войнах перемещаются либо отстаи-

ваются, но не более. Если не брать в расчет Первую и Вторую мировые войны, то можно сказать, что межгосударственные войны имели скорее консервативные последствия для международного порядка. При этом асимметричные войны имеют буквально переломные последствия: в них нарушаются и растворяются нормы и правила существующего строя<sup>35</sup>.

Эра классических межгосударственных войн прошла. Однако история войны еще не закончена. Об этом свидетельствует теория «новых» войн. Замечание о том, что многие характерные для «новых» войн признаки уже встречались в прошлом, звучит неубедительно. Большинство элементов, характеризующих войны, ведущиеся в Европе после 1648 года, как правило, уже встречались раньше. Но и здесь сила влияния нового военного порядка была основана на комбинации из некоторых неизвестных и множества известных факторов. Вестфальский мир 1648 года стал символом перемен, затянувшихся на несколько десятилетий. Изменения часто происходят незаметно и, как правило, в течение весьма длительного периода. Теории «новых» войн ставится в упрек вероятность преувеличения происходящих изменений. Но как раз это необходимо для того, чтобы своевременно, в том числе с политической точки зрения, распознать эти изменения.

## 10

### **Информационная война.**

#### **Роль СМИ в асимметричных войнах**

##### **Идеал объективности**

Средства массовой информации в условиях «новых» войн имеют совсем другой характер и функцию, чем в классической войне, что совсем неудивительно. В тот момент, когда, благодаря появлению фотографии, «военные репортажи» стали представлять собой нечто большее, чем просто текст, произошла медийная революция — СМИ обрели свою иден-

тичность, что в свою очередь привело к тому, что средства массовой информации стали активно вмешиваться в те события, которые они должны просто освещать. Это давно известно, и на эту тему написано немало трудов<sup>1</sup>. Объективные и беспристрастные репортеры, рассказывающие о военных событиях, в результате этих изменений все чаще оказываются участниками военных действий, хотя бы они того или нет; а средства массовой информации теперь образуют часть стратегии терроризма и в то же время стоят на службе ответной государственной политики.

Особенно наглядно это проявляется в видео, гуляющих по интернету и демонстрирующих казни захваченных в плен западных журналистов или гуманитарных сотрудников, проводимые боевиками ИГИЛ. При этом задача этих видео заключается не в документальном запечатлении события — они служат посланием боевиков ИГИЛ западному обществу: мы готовы на все; кто попадет к нам в руки, того либо выкупят, либо казнят; держитесь подальше от тех территорий, на которые мы претендуем. Есть и иная точка зрения: например, исламовед Гидо Штайнберг<sup>2</sup> считает, что эти видео призваны провоцировать западные державы на то, чтобы те высылали против боевиков ИГИЛ свои наземные войска, сражение с которыми для боевиков выглядит более перспективным, нежели деморализующее противостояние воздушным силам западных и арабских государств. Видео послания превращаются в некий перформанс, в удар, наносимый с помощью массмедиа. Они нацелены на коллективную психику западных обществ. Они атакуют не военных и полицейских — специально обученный защите общества персонал, а само общество, при этом средства массовой информации позволяют без труда преодолеть их линию обороны. На данный момент это конечный этап процесса, в общих чертах описанного далее.

Для традиционных военных репортажей было всегда характерно *принципиальное* различие между истиной и ложью, причем истина понималась как эквидистанта для обеих конфликтующих сторон, а ложь отождествлялась с под-

держкой, оказываемой одному из участников конфликта. В «новых» войнах все иначе<sup>3</sup>: здесь тоже — по крайней мере задним числом и при соответствующем журналистском усердии — можно провести грань между истиной и ложью, но при этом истина уже не будет гарантом беспристрастности. Информация стала оружием; борьба за горы и предгорья сменилась битвой информационных потоков или сражением за право владения информацией. Распространение определенной информации стало частью стратегии. В прежних войнах также нередко правдивые сообщения о войне приравнивались к демонстрации поддержки одной из сторон, при этом воины-победители или те, кто предположительно претендовал на это место, получали *фактическую поддержку*, а *моральная поддержка* оказывалась тем, кто, по мнению репортера, представлял интересы справедливости и порядочности. Фактическая поддержка заключается в объективном отображении событий, правда, чаще информация преподносится завуалированно, а не открыто; чтобы обозначить свою приверженность более успешной либо превосходящей стороне, репортер должен снабдить сообщение своей оценкой и прогнозом развития событий. Таким образом он превращается из корреспондента в комментатора. В случае с моральной поддержкой подобное перевоплощение репортера приобретает еще более выраженные черты: здесь к описанию происходящего добавляется оценка, основанная не на самих событиях, а на независимых от них критериях. В военном репортаже, представленном в виде текста, отделить описание от комментария не так уж сложно. Но когда речь идет об изображениях, это становится проблемой.

Все началось с масштабных батальных сцен кисти художников, сопровождающих Наполеона в его походах, а заканчивается интернет-видео, ставших постоянным спутником любых военных событий. Полотна живописцев из окружения Наполеона — а затем и его генералов — изображали момент, в который военачальник принимает решение о битве. Эти картины пронизаны безоговорочным согласием и поддерж-

кой и потому обретают пропагандистское свойство. В ходе XX столетия, в процессе перехода от живописных полотен к кинематографу, такая тенденция только усилилась<sup>4</sup>. С другой стороны, мы можем наблюдать крайне парадоксальный процесс, в котором достоверность изображения и позиция живописца идут рука об руку: каждый здравомыслящий зритель, любующийся картиной XIX века, способен различить позицию художника и его точку зрения на происходящее — как правило, он смотрит с позиции победителя. Вообще, вся батальная живопись XIX века демонстрирует взгляд с позиции побеждающей стороны. Иные перспективы, как правило, оставались вне поля зрения творца. Но для зрителя, наблюдающего картины войны в режиме реального времени, все обстоит совсем иначе: он видит непосредственную реальность, и именно потому, что эта реальность не дает ему возможности усомниться в своей достоверности, он и попадает под влияние пропагандистских инструментов СМИ.

Все изменилось с появлением новой коммуникационной среды — интернета. Поначалу Всемирная паутина расценивалась как инструмент подрыва всевластия авторитарных режимов, поскольку их возможности в отношении контроля и управления сообщениями тонули в безграничном океане возможностей интернета. Тем временем выяснилось, что развитие интернета не только позволяет обойти контроль авторитарных режимов, но и способствует появлению огромного количества информации, не отягощенной, в отличие от традиционных печатных или аудиовизуальных средств массовой информации, оценкой профессиональных журналистов. Она нацелена непосредственно на интернет-пользователя, который теперь сам решает, что правда, что ложь, что может быть, а чего не может. Это привело к молниеносному распространению теорий заговора, для которых общим является то, что заговорщики — кто бы это ни был — оставляют за собой право знать правду, скрывающуюся за снимками и сообщениями. Быстрая популяризация теорий заговора в последние два десятилетия также связана с возможностью «сортировки»

обилия информации. Теории заговора пришли на смену профессиональным журналистам, став функциональным эквивалентом оценки информации.

### Внутренняя цензура репортеров

Несомненно, революция в сфере медиатехнологий и возможности молниеносной передачи информации сыграли весьма важную роль в трансформации средств массовой информации в области военной журналистики: при транслировании военных событий в режиме реального времени, начиная с ночных ракетных ударов по городам и вплоть до наземных боев «на другом конце света», иллюстративные репортажи могут оказывать непосредственное влияние на ход военных действий: либо атакуемый противник видит то, что для него не предназначается, либо население стран, не принимающих участие в войне, наблюдает за ней в режиме реального времени и формирует свое политическое отношение к происходящему на основе увиденного. Уйти от этой ответной реакции путем дальнейшего ускорения войны, как это было в случае прежних медийных революций, противоборствующие стороны уже более не способны, ибо в условиях реального времени потенциала для ускорения у них больше нет<sup>5</sup>. В результате они пытаются перехватить контроль над информацией в момент ее формирования, стремясь сохранить за собой контроль над самими событиями, происходящими в опутанном сетями СМИ мире. Но это возможно лишь в том случае, если грань между репортером и цензором стирается, а сама цензура имплантируется в сознание репортера. В истории СМИ наличие цензуры на раннем этапе создания репортажа само по себе не так уж ново, но только теперь это явление уже не ограничивается «самоцензурой» репортера: здесь речь идет не об ограничительном контроле сообщений, а о самом составлении материала и о событии, наблюдаемом в реальном времени. В результате возникает инверсия происходящего и его описания.

Явный поворот в отношениях между СМИ и войной сначала произошел в политической, а не технологической сфере, приняв форму обширной антисимметризации войны и сопровождаясь появлением постгероических обществ в богатых районах Северного полушария. Асимметричные войны случались и раньше, но велись они на периферии мировой политической арены, не сумев захватить ее центр: судьба наполеоновской империи решалась не в Испании, а в боях под Лейпцигом и Ватерлоо. И уж, конечно, существовали негероические общества, ориентированные на работу и благосостояние и предпочитающие держаться подальше от символических практик жертвоприношений и культа чести. Но в данном случае речь идет о политических игроках, которые еще несколько десятилетий назад представляли собой героические общества и потому пытались закрепить за собой право на международное признание. Они по-прежнему обладают большим политическим весом, однако те средства, которыми они добились этого влияния, как правило, более им недоступны. Антисимметризация войны и постгероическое состояние крупных мировых и западных держав повлияли не только на манеру освещения войны в СМИ, но и на саму роль информации, касающейся насилия и военной угрозы.

### **Дилемма асимметричной войны**

Асимметрия — довольно сложный и поэтому часто неверно толкуемый термин; он предполагает понимание симметрии, ее предпосылок и последствий, из которого следуют систематические (а не случайные) выводы. Не следует путать асимметрию с несимметричностью, для толкования которой таких знаний не требуется<sup>6</sup>. Антисимметризация предполагает наличие симметрий, она наблюдает за их эффектами и отзывается на них эстетическими, политическими и военными реакциями. Понятие антисимметризации подразумевает под собой не отсутствие симметрии, а конкретную реакцию



на имеющиеся симметрии. Желая избежать негативных последствий, рожденных симметрией, человек пытается отказаться от стандартов симметрии, обещая себе выгоду от антисимметризации и рассчитывая на то, что в асимметричную модель его способности и возможности впишутся куда лучше.

Если говорить о репортерах или корреспондентах периода симметричных войн, то в идеале их задача заключалась в том, чтобы забраться на колокольню, подобно британскому военному корреспонденту сэру Уильяму Говарду Расселу в битве при Кёниггреце в 1866 году, пронаблюдать оттуда за движениями войск и результатами их ударов и контрударов, а на следующий день спокойно и обстоятельно сообщить в репортаже, кто из сторон одержал победу. Такая метафорическая «колокольная» перспектива вполне применима к модели многолетней войны. В ней сама война предстает в образе затянувшейся на дни, недели, месяцы или годы, сколько бы их ни было, дуэли равных противников, желающих помериться друг с другом силами.

Но симметрия в этом случае не подразумевает *равносильности* противников, речь лишь об *однотипности* их вооружения и оснащения. При этом симметрия может иметь более или менее выраженную форму: рыцарский турнир представляет собой высшую степень симметричности, в то время как в столкновении воинов, принадлежащих к разным родам войск (пехоте, кавалерии и артиллерии), симметрия может заключаться лишь в совокупности всех сил, имеющихся у воюющих сторон. В сражении двух рыцарей на турнире симметричность дуэлянтов, обусловленная рыцарским кодексом и правилами поединка, более чем наглядна; в битве двух армий, прежде чем говорить о симметрии, необходимо мысленно сопоставить силы обоих противников. Для зрителя, наблюдающего за рыцарским турниром, симметрия очевидна; для наблюдателя сражений, идущих на поле боя при участии многочисленных войск, оценка возможна лишь после мысленных вычислений. Причем для этих вычислений ему необходимо гораздо более глубоко разбираться в родах войск,

чем свидетелю турнира — в тонкостях рыцарского поединка. Наблюдатель, следящий за ходом войны, видит симметрию лишь тогда, когда приходит к выводу, что действия обеих сторон равноценны с точки зрения изобретательности, рациональности и законности. Такой подход рождает необходимый нейтралитет, отличающий наблюдателя войны от сторонника одного из воюющих лагерей. Он способен считать, измерять и при этом сравнивать тактику и боеготовность обеих сторон. Но если различия между сторонами не поддаются исчислению в цифрах и мерах, наблюдатель начинает анализировать свое отношение, рискуя утратить свою беспристрастную позицию. Таким образом в игру вступает элемент субъективной оценки и индивидуальных предпочтений, подрывающий объективность и нейтральность наблюдателя.

В случае асимметрии, где возможности одной стороны не имеют зеркального отображения у стороны противника, дилемма наблюдателя только усиливается. В первую очередь это связано со стратегическим использованием пространства и времени, например, когда одна сторона, стремясь к решающей битве, концентрирует свои силы в определенном месте и времени, а другая, пытаясь избежать сражения, расщепляет свои силы, выбирая для себя тактику малых войн, и максимально затягивает военные действия. Затягивание войны, то есть уклонение от решающего боя, возможно лишь тогда, когда в природной среде — за неприступными скалами или непроходимыми джунглями — одна из сторон использует гражданское население в качестве прикрытия. Таким образом, удар противника затрагивает не только сражающихся партизан, но и невинных мирных жителей; по крайней мере, при осмотре погибших достоверно установить, кто был комбатантом, а кто нет, невозможно. Растягивание войны в пространстве и ее продление во времени — основная предпосылка для антисимметризации — приводит к тому, что наблюдатель физически не может охватить весь объем информации и вынужден судить о событиях понаслышке; на первый план для него в этом случае выходит вопрос о по-

следствиях насилия для общества в целом и для каждого его члена. Такой подход определенно соответствует фокусу внимания и восприятия, характерному для постгероических обществ<sup>7</sup>, но основан он на недостатке информации, с которым сталкивается репортер.

Такой репортаж будет на руку той стороне, что воюет силами партизан, поскольку ее жертвы будут более многочисленными, а страдания — более глубокими. Это почти неизбежное следствие антисимметризации, ибо она основана не только на разном подходе к пространству и времени военных действий, но и на разной степени готовности к жертвоприношению и страданиям. Поэтому для всех видов партизанских войн со времен испанской герильи начала XIX века характерно стремление населения и воинов из более слабого лагеря компенсировать военно-техническое и организационное превосходство противника своей готовностью к самопожертвованию. Таким образом, репортаж, в центре которого находятся страдание и жертвы войны, автоматически занимает сторону партизанского лагеря и выступает против регулярной армии. Конечно, этических и правовых оснований для такой позиции предостаточно, но не они имеют решающего значения; ее обуславливает асимметрия. Партизаны, несомненно, используют это в своих целях и при любой возможности выставляют удары противника как нападения на мирных граждан. Для них военные репортажи становятся оружием, нацеленным на легитимность действий неприятеля.

Для повстанцев такая возможность является огромным преимуществом, поскольку это не стоит им ни копейки, ведь репортажи финансируются за счет средств противника или нейтральных стран. Это еще одна особенность стратегической антисимметризации, нацеленная на самоанализ противника, в котором неприятель постепенно поддается самокритике и сомнениям в правильности своих действий. И не потому что в каждом конкретном случае для этого есть веские причины — хотя такого, как часто показывает практика, исключать нельзя, — а благодаря некоему структурному фак-

тору, который актуален даже тогда, когда этих веских причин не имеется. По существу, антисимметризация нацелена не на истощение сил неприятеля в результате безостановочных боевых действий; эта стратегия направлена скорее на моральное дезориентирование населения, представляющего сторону политического противника. Клаузевиц охарактеризовал войну как измерение моральных и физических сил посредством последних<sup>8</sup>. Для асимметрии характерен перевес в пользу моральных сил, параллельно этому растет важность репортажей и в особенности съемок зон боевых действий.

### **Стратегия терроризма и медиаэффекты**

В сравнении с партизанской войной, в стратегии терроризма асимметричные последствия «военных репортажей» проявляются еще более выражено: репортажи и видео с места совершения террористических актов и захвата заложников становятся важнее непосредственных последствий этих действий, хотя и сами материальные разрушения, возникшие в результате этих событий, зачастую нацелены на создание психологического эффекта — посеять страх и ужас среди населения. Функция терактов, взрывов или захвата заложников, по сути, заключается в создании резонанса в виде репортажей и видео, эффект от которых длится гораздо дольше<sup>9</sup>. Подобный подход можно было наблюдать в терактах 11 сентября 2001 года — атаках на башни-близнецы торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, где степень материальных разрушений и количество жертв было в разы выше, чем во всех остальных терактах до и после этого момента. Но даже тогда материальный ущерб и погибшие люди стали всего лишь инструментом: целью атаки была хрупкая коллективная психика американского общества и в целом общества Запада.

Длительный эффект от терактов не в последнюю очередь обусловлен показом телепередач, постоянно транслирую-

щих кадры с изображением атаки зданий Всемирного торгового центра самолетами, а затем обрушения обеих башен. Если бы этих съемок не было, а в СМИ фигурировали только кадры с грудями пепла посреди нью-йоркских улиц, то после ликвидации всех материальных последствий теракта впечатление о произошедшем постепенно стиралось бы, становясь все менее ярким. Нервное возбуждение, с которым западные общества реагируют на катастрофические события, через какое-то время сменяется забвением под маской утрюмого безразличия, в котором быстро и бесследно исчезает все то, что прежде вызывало тревогу и волнение. Истеричность, с которой наше общество отзывается на катастрофы, является формой проработки, преодоления страхов, за которыми вскоре следует привычная безмятежность, глядя на которую можно подумать, будто ничего и не было, никакого события и не происходило. Если терроризм — это стратегия, направленная на распространение ужаса<sup>10</sup>, то утрюмое безразличие нашего общества служит первым оборонительным рубежом в борьбе с терроризмом. Предводители террористического движения знают об этом рубеже и о его эластичности, благодаря которой ужас, посеянный террором, сдерживается и «притупляется»; и потому они ищут тактику, способную преодолеть это. Одна из таких тактик — серийность терактов: целый ряд атак, следующих друг за другом на протяжении недолгого времени, не допускают забвения и сменяющего его безразличия; дополнением к этому служат эффект повторения в СМИ и вскормленная информационной средой жажда сенсаций западных обществ — здесь самим организаторам терактов даже не приходится прилагать никаких усилий. Кроме того, регулярное повторение кадров гибели башен-близнецов в Нью-Йорке только поддерживает образ опасной уязвимости американской сверхдержавы. Хотя, конечно, с точки зрения материальных последствий теракт в отношении башен Всемирного торгового центра остается абсолютным исключением.

Если бы фото- и видеоматериалов было достаточно для победы в войне, то разве не стало бы это предпосылкой к гуманизации войны, где место оружия занимала бы информация:

воюющие стороны показывают своему населению или союзникам обнадеживающие снимки, а неприятеля устрашают деморализующими картинками и в результате получают желаемый эффект без дельнейшего материального ущерба и человеческих жертв. Война исключительно на экранах телевизора, как пророчили некоторые культурные теоретики!<sup>11</sup> Конечно, не все так просто, и в первую очередь именно западные постгероические общества не могли бы допустить такого. Способность сохранять спокойствие при взгляде на пропагандистские снимки, укрепляться за счет страданий, наносимых врагу, и извлекать из этого политическую выгоду дана не каждому: по крайней мере тех, кто руководствуется правовыми нормами права и принципами гуманности, она явно обходит стороной.

Мало того, если, согласно наблюдению историка Майкла Гайера, главная особенность военной истории XX века сводилась к вопросу о привилегированности держав, которые — в разумных пределах, конечно, — налагали на себя моральные и правовые обязательства<sup>12</sup>, то в XXI веке, судя по всему, этот процесс идет в обратном направлении: информационная война способствует росту жестокости и насилия. И даже если число жертв значительно уступает количеству погибших в войнах XX века, такая война не ведет к гуманизации, а способствует тому, что дальнейший ход событий определяют более жестокие участники войны. Гораздо более яркое выражение, чем в случае террористических актов против гражданского населения, осуществляемых в течение целых десяти лет *Аль-Каидой* и ее союзниками, этот процесс находит в видео с изображением казней западных заложников, распространяемых террористами *Исламского государства*: это не просто убийства конкретных людей, это производство контента, нацеленного на зарождение страха и ужаса у соотечественников жертв, и не важно, какая при этом преследуется цель: сломить их политическую волю или потребовать выкупа за освобождение следующего заложника.

Поэтому для западных обществ так важно защититься от нападений, в которых используется не обычное оружие,

а информация. В этой «самозащите» особое внимание уделяется тому, чтобы люди не впадали в апатию и не испытывали сострадания к неприятелю, гибнущему от авиаударов западных сил. В этом вновь проявляется дилемма асимметричного противостояния: в симметричной войне ни одна из сторон не извлекала какой-либо стоящей выгоды из своей безжалостности, поскольку противник всегда мог пойти еще дальше и проявить еще большую жестокость. От противного следует, что великодушие, человечность и сострадание в симметричных противостояниях вреда не приносили; в войне, подчиняющейся этическим и правовым нормам, такой пример вполне мог замотивировать противника на подобное поведение. Но в асимметричных противостояниях все выглядит иначе: в них демонстрация все более изощренной жестокости может решить исход войны. Например, кадры с растерзанным американским солдатом, которого после неудачной попытки ареста генерала Мохаммеда Фараха Айдида проводили по пыльным улицам сомалийской столицы Могадишо, буквально шокировали американский народ, оставив в его душе опустошающее впечатление от сомалийской интервенции, ее моральных и материальных потерь, и в результате администрация Клинтона была вынуждена вывести американские войска, в свое время направленные в Сомали, и предоставить население страны Африканского Рога самому себе. Так несколько кадров оказали больший эффект, чем боевые действия; они просто аннулировали все возможные и вполне обоснованные причины военного вмешательства в Сомали.

Несомненно, специалисты по стратегической аналитике разных стран сделали из этого свои выводы: одни решили, что такие кадры и их распространение могут использоваться в случае, если необходимо заставить интервенционистов отступить; другие стали говорить о том, что распространения таких изображений следует избегать любой ценой, и только когда интервенция окажется успешной. Определенно, сомалийский конфликт стал тем рубежом, после которого информационная война обрела новое измерение. Между снимка-

ми мертвого солдата, которого в качестве трофея проволокли по улицам Могадишо, и видеосъемкой казней, осуществляемых боевиками ИГИЛ, несомненно, существует определенная стратегическая связь. Ну а разница между снимками Могадишо и видеороликами ИГИЛ заключается в том, что первые были сделаны после ожесточенных боев, развернувшихся между американскими солдатами и сомалийскими войсками в самом центре Могадишо, а для создания и распространения вторых боевики ИГИЛ специально организуют казни западных заложников. Получается, что асимметрично слабая сторона, желающая подавить коллективную психику своего противника, все-таки сумела извлечь для себя урок из прежних событий.

### **Стратегические последствия асимметричных информационных войн**

Делая ставку на стратегию антисимметризации, более слабый игрок начинает действовать из подполья, использовать мирное население в качестве прикрытия, спасаясь от сил интервенционистов, «наступающей державы»<sup>13</sup>, или совершает диверсии под видом гражданских лиц, как это обычно делают террористические группы. Однако и более сильный с политической, экономической и военной точек зрения участник видит свои преимущества в антисимметризации, и, как ни странно, заключаются они в уязвимости его населения, способного при виде собственных жертв терять политический интерес к интервенции и требовать ее отмены. Очевидным следствием этих обстоятельств становится использование оружия, позволяющего оставаться максимально недостижимым для противника и избегать потерь, выгодных для военно-информационной стратегии неприятеля. Вершиной этого процесса становится «тайная война» асимметрично превосходящего участника, в которой ни его военное вмешательство, ни понесенные потери не предаются огласке, а их плюсы и минусы не обсуждаются открыто. «Тайная война», которая



практикуется в последние годы, и в первую очередь Соединенными Штатами Америки<sup>14</sup>, стала реакцией на уязвимость западных обществ и защитой коллективной психики населения от информации, используемой врагом в своих интересах.

Однако ведение «тайной войны» предусматривает наличие военно-технического оборудования, на данный момент доступного только США: начиная с внедрения военно-воздушных сил и заканчивая использованием крылатых ракет с GPS-наведением и беспилотных боевых летательных аппаратов, управление которыми ведется с удаленных экранов. Оператор наносит удары по противнику, оставаясь невидимым и недосягаемым. Так проявляется реакция на собственную уязвимость в отношении оскорбительных и пугающих фото и видеозаписей, которая оборачивается неуязвимостью военных. Реакция противника в таких обстоятельствах — не нападать на недосягаемых военных, а атаковать незащищенное мирное население. В этом скрывается еще одно различие между снимками из Могадишо и видеозаписями с убивающими заложников боевиками ИГИЛ: в Могадишо жертвой был солдат, чей труп сомалийские головорезы превратили в трофей, а на видео боевиков в ходе жестокого ритуала обезглавливания гибнут гражданские лица, попавшие в руки палачей. Асимметричная информационная война тоже подчиняется условиям эскалации.

Если сторона, обладающая асимметричным превосходством, проявляет тенденцию к недосягаемости своего военного аппарата, ей, безусловно, необходимо следить за вторым фронтом своей уязвимости: непропорциональностью потерь со своей стороны и со стороны противника. Парадокс уязвимости заключается в том, что сведение к минимуму собственных потерь не должно вести к немедленному увеличению количества жертв неприятеля. По возможности, потери должны нести комбатанты, и в первую очередь их командование, но никак не мирное население. Проще говоря, необходимо гарантировать соразмерность применения силы<sup>15</sup>.

Но и этот вопрос решается в форме информационной войны. Населению западных обществ (то есть превосхо-

дядшей стороне) военные действия, ведущиеся от его имени, должны преподноситься как хирургически точные и максимально ограниченные во времени и пространстве операции, создавая впечатление того, что жертвами этих вмешательств в первую очередь являются вражеские комбатанты и лишь изредка — «коллатеральные» мирные жители. Такой была информационная стратегия НАТО во время бомбардировок Сербии, осуществляемых в ходе войн в Югославии. Противник, в свою очередь, старается разрушить этот образ и предоставить как можно больше наглядных доказательств убитых мирных жителей, в особенности женщин и детей. Это можно назвать попыткой политической делегитимизации действий асимметрично превосходящего оппонента, но на самом деле здесь речь идет о тактическом приеме, нацеленном на предотвращение дальнейшего использования неприятелем его военно-воздушных сил и ракет, то есть на лишение врага его превосходства. В таком случае снимки погибших мирных жителей не просто препятствуют реализации информационной стратегии противника (освещение точных ударов, нацеленных исключительно на комбатантов), но и блокируют его возможности использования оружия. Во время Июльской войны в Ливане в 2006 году наблюдалась следующая картина: сторона, неспособная дать отпор воздушным силам — на тот момент израильским — противника, использовала снимки с изображением жертв авиаударов среди мирного населения в качестве ответного и весьма «дешевого» средства защиты, компенсирующего недостаток собственных военных сил. Если сделать такие снимки не удавалось, то в ход шла фальсификация. Позднее факт подделки действительно был установлен, но свое дело фотоснимки к этому моменту уже сделали<sup>16</sup>.

Между тем одним из орудий информационной войны стал захват заложников в политических, а часто и в криминальных целях<sup>17</sup>. Поскольку ни одно государство не может защититься от шантажа посредством захвата его граждан, существует общепринятое правило не поддаваться давлению похитителей и не вести с ними переговоры относительно выкупа

заложников. Такую политическую линию вполне можно было бы проводить, если бы не телевидение и интернет, где появляются фото и видео с униженными и молящими о спасении их жизни заложниками. Родственники жертв, а с ними и часть населения, настроенная против действующего правительства, начинает давить на руководство страны, заставляя его не только пойти на переговоры с похитителями, но и принять все их требования. Как правило, позднее правительство объявляет о том, что похитители являлись не политическими оппонентами, а криминальными элементами, а захваченные заложники были освобождены после уплаты определенной, обычно не разглашаемой, суммы. Правдивость таких заявлений по большей части вызывает сомнения. В целом все заявления о бескомпромиссности в отношении шантажа сводятся к выкупу заложников; при этом все совершенные политические уступки неизменно отрицаются. Ведь, по сути, любое официальное признание выглядело бы как приглашение к дальнейшим политическим требованиям путем похищения и захвата заложников.

Важную роль в создании политического давления играют средства массовой информации, большинство из которых, как правило, ставят акцент на человеческом, а не политическом аспекте захвата заложников. Однако государство, испытывающее подобное давление, не так уж беззащитно: получив заложников в обмен на деньги, оно может выдать информацию об обмене и личности похитителей их жадным до наживы «конкурентам», и в результате похитители сами будут не рады, что сорвали такой куш. Подобная стратегия оправдала себя в 2003 году во время похищения немецких туристов в Западной Сахаре. Однако такой подход работает только в отношении преступных банд, в то время как на политические группы, такие, как боевики ИГИЛ, отчасти наживающиеся на захвате заложников<sup>18</sup>, он не действует.

В информационной войне, так же как и в обычной, очень важной задачей является определение слабого места противника и маскировка своей уязвимости. Если для классической войны поиски уязвимых мест неприятеля и защита

своей ахиллесовой пяты были характерной чертой, то в войне информационной эти факторы имеют решающее значение. Как правило, постгероические общества стремятся скрыть свою уязвимость за героическими жестами; однако, судя по выводу интервентских войск из Сомали и временному размещению сил в Афганистане, это им не слишком удается. «Эстетика террора» стала излюбленным оружием в борьбе против политической и социально-экономической доминанты Запада. Более слабый асимметричный противник видит уязвимость западных обществ скорее в психологическом, а не в физическом аспекте, и об этом уже известно всему миру.

Проблема западных обществ заключается в том, что уйти от этой уязвимости невозможно без нанесения существенного ущерба главным принципам свободного и открытого общества. Для таких обществ огромное значение имеет дальность распространения их политики, в частности, их способность продвигать свою волю и свои ценности за пределы собственных государственных границ. Ни партизанские войны, ни террористы не могут пошатнуть основы существования постгероических обществ, ведь если бы такое произошло, конфронтация перешла бы совсем в иную плоскость, лишив стратегию информационной войны ее политического потенциала. Информационная война — это битва за периферийное влияние: битва за окраины богатых районов и периферию Евросоюза. Как только в обществах, подвергнутых информационной атаке, речь заходит об экзистенциальных вопросах, тема психологически-моральной уязвимости немедленно сворачивается.

Однако в странах, где нападению подвергаются районы, популярные у туристов из западных стран, все обстоит иначе. Здесь террористическая атака направлена на экономический центр страны, где туризм образует основу национальной экономики, как, например, в Тунисе или в Кении. Запугивающий эффект терактов рассчитан в первую очередь не на население страны, а на туристов, — сообщения о множественных взрывах заставляют их утрачивать ощущение безопасности и отказываться от поездок. Как правило, туристов затрагивают

не сами теракты, а сообщения и репортажи о них; жертвы теракта служат лишь средством, способным заставить других туристов воздержаться от поездки в определенную страну. Поэтому стратегический эффект теракта наступает лишь тогда, когда сообщения о нем, подкрепленные иллюстративным материалом, появляются в средствах массовой информации; подобные атаки являются террором в буквальном смысле этого слова (*лат. terror* — страх, ужас), ибо призваны вызывать страх и ужас у тех, кто едет в ту или иную страну ради ее достопримечательностей, пляжей или доступных отелей. Правда, эти «адресаты», как правило, располагают довольно широким выбором в отношении курортов, и им ничего не стоит сменить направление своей поездки. Но основной эффект этих атак проявляется тогда, когда в туристической отрасли страны, в которой совершаются теракты, начинается серьезный спад, происходит рост безработицы и недовольства населения, что в свою очередь создает благодатную почву для еще большего укоренения террористических групп в стране. На примере Египта, Туниса и Кении эту стратегию можно охарактеризовать как атаку, в краткосрочной перспективе разрушающую экономическое благополучие, а в долгосрочной — подрывающую политическую стабильность.

Самая большая проблема руководителей атакуемых стран заключается в том, что фактическая цель этих нападений находится не на их территории, и потому влиять на последствия этих атак они могут лишь косвенно. Успех или неудача их ответных действий во многом зависит от их обращения с новостными и иллюстративными материалами: они должны создавать впечатление того, что безопасность туристов полностью восстановлена после проведенной работы над ошибками и устранения ряда недостатков, причем для этого даже не понадобилось объявлять режим чрезвычайного положения, способный серьезно ухудшить уровень отдыха в курортной стране. Как в случае любой террористической атаки, по сути, являющейся коммуникативно-стратегическим вызовом, здесь очень важен коммуникативно-стратегический ответ<sup>19</sup>, но он должен

быть столь же деликатным, сколь убедительным. В свою очередь, чем более жестоким будет вызов, брошенный террористами, тем он эффективнее. В этом вопросе асимметрия проявляется и в коммуникативной среде: в информационной войне террористы обладают определенным преимуществом, ибо проявление насилия с их стороны не имеет никаких ограничений и ничем не обусловлено, в то время как встречные действия властных структур обязаны следовать целому ряду правил, порой весьма противоречивых, что оборачивается для них гораздо большим риском потерпеть фиаско со своей коммуникативной стратегией, чем для террористов.

Все три аспекта коммуникативной уязвимости к террористическим атакам, описанных ранее, объединяет одно: асимметрично слабая сторона, представленная, например, террористами и похитителями заложников, может значительно повысить эффективность своих действий, если будет подкреплять их сообщениями и изображениями, нацеленными на хрупкую психику представителей постгероического общества. При этом им не приходится заботиться о резонансе, создаваемом средствами массовой информации вокруг терактов, вместо этого они используют медийную насыщенность западных обществ в качестве ресурса, подходящего для их военных целей. В результате проходной порог для слабых игроков значительно снижается. А информационная война наглядно демонстрирует, как гражданская инфраструктура той стороны, на которую направлены теракты, превращается в оружие для их исполнителей.

### **Информационная защита, которой больше нет**

Несомненно, богатые страны заинтересованы в том, чтобы не допустить превращения их гражданской инфраструктуры в оружие для террористов. В случае авиационного сообщения эта задача может быть решена — хотя бы отчасти — за счет

более строгого контроля пассажиров; в городском транспорте густонаселенных районов все гораздо сложнее, поскольку долгие и тщательные проверки, наподобие досмотров в аэропорту, здесь не представляются возможными. В этом отношении электрички, метро и автобусные линии оказываются более доступными для атаки террористов, нежели воздушный транспорт; но зато теракты здесь выглядят не так зрелищно, как самолетные захваты, и потому для информационной войны они имеют не такое большое значение.

Но как обстоит дело со средствами массовой информации? Классическим средством, позволяющим блокировать быстрое распространение информации и изображений, полученных в ходе теракта, и предотвращающим панику среди населения, является запрет на освещение событий. Однако запрет действует лишь до тех пор, пока государственные органы контролируют основные средства массовой информации. Это в первую очередь касается радио и телевидения, которые способны молниеносно реагировать на любые события, в то время как печатным изданиям для выхода новости в свет необходимо время, и эта задержка позволяет несколько приглушить шок и ужас от произошедшего. На тот момент, когда выходят газеты, о событии уже известно; в этом случае задачей печатной прессы становится тщательное исследование предпосылок и взаимосвязей. Что касается частных телевизионных компаний, то власти теоретически способны запретить им освещение теракта; однако такой запрет способен породить самые дикие слухи, что в результате может привести к нарушению запрета со стороны (частных) компаний, охваченных жадной репутацией. Но даже если бы было возможным наложить печать молчания на частные радио- и телекомпании, то интернет свел бы все эти усилия на нет<sup>20</sup>. Эффективность запрета весьма ограничена, а его действие скорее контрпродуктивно, чем полезно, ибо опустошенное информационное поле становится лакомым куском для диких слухов и домыслов.

Это касается не только террористических атак, но и справедливо для всего современного медийного ландшафта

та. Государство больше не контролирует новости и изображения даже в случае конфликтов и стихийных бедствий, и тем меньше его контроль, чем больше его политическое самосознание привержено либеральным ценностям. Это, в свою очередь, означает, что демократические государства Запада обнаруживают в информационной войне большую уязвимость, чем авторитарные государства, такие как Россия, Китай и страны арабского мира. Но даже там государственная власть утратила полный контроль над распространением информации. Это можно расценивать как шаг на пути к глобальному распространению демократии, главенству закона и мира — в этом видится заслуга интернета, много лет назад задуманного именно для этого. Однако в результате этого процесса образовались новые области уязвимости — либеральные демократические государства стремятся к контролю над ними, при этом стараясь не посягать на основу их ценностей и убеждений. В результате в этих областях между свободой и безопасностью, идущими обычно рука об руку, наметилось серьезное напряжение<sup>21</sup>.

Конечно, можно сказать, что некая неопределенность — это та цена, которую либерально-демократические правовые государства платят за свои ценности, и ввиду обладания свободой такая цена не кажется слишком высокой — особенно если учесть, что риски для жизни и здоровья в нашем обществе, где постоянно происходят автомобильные и бытовые аварии, неизмеримо выше по сравнению с риском стать жертвой теракта<sup>22</sup>. И здесь перевоплощения либеральных обществ — по крайней мере произошедшие в Европе — сыграли с ними злую шутку: героические общества превратились в постгероические, а постгероические общества теперь обнаруживают особую потребность в безопасности, а значит, являются гораздо более уязвимыми к террористическим действиям, чем предыдущие формы общества. Проще говоря, войны XXI века — по крайней мере в богатых районах Северного полушария — демонстрируют более низкий уровень смертности по сравнению с войнами XX века, поскольку те



перь для укрощения политической воли можно использовать запугивание. На место массовой гибели на полях сражения и под градом бомбардировок, типичной для войн первой половины XX века, пришли показательные казни, имеющие тот же самый эффект, — выражаясь словами Клаузевица, убийство противника способно сломить мужество всей неприятельской стороны<sup>23</sup>. Если этот анализ верен, то наше общество должно готовиться к конфликтам, имеющим форму не физического воздействия на неприятеля, а деморализующего влияния с помощью сообщений и изображений. Информационная война не является второстепенным компаньоном войны фактической, это и есть сама война, может, не везде и не всегда, но в ряде случаев — определено. И пока военное противостояние не является вопросом выживания, она будет оставаться таковой.

В данных обстоятельствах большую роль играет формат новостей: возможность эффективной борьбы заключается не в блокировке, а в умелом обращении с информацией. Новость может преподноситься по-разному, и от этого зависит и эффект терактов, направленных на запугивание: он либо усиливается, либо снижается. Например, выбор способа модерации контента — премодерации или постмодерации — может заметно влиять на то, как теракты и захваты заложников воспринимаются зрителями и слушателями. Журналисты в этом случае выходят за рамки позиции простого наблюдателя и репортера; являясь частью стратегии террористов, они обязаны самостоятельно бороться с нею.

Для начала необходимо осознать свою новую роль в ситуации теракта. Одной доброй волей и чистыми намерениями в борьбе с такой стратегией не обойдешься. Информационные материалы нужно максимально смягчать, и делать это должны те, кто их тиражирует и комментирует. Поскольку запреты на освещение более неактуальны, теперь это возможно за счет «банализации» новостей: информация о теракте подается в виде набора клише, способных снизить напряжение в обществе: вместо резкого прерывания программ на спец-

выпуск новостей или бегущей строки с пометкой «срочно», идущей в нижней части экрана, сообщения преподносятся в формате, не создающем эффекта запугивания. Если страха не будет, то и теракт превратится в несчастный случай или аварию, с последствиями которых мы уже научились справляться. В этой ситуации журналисты обретают политическую функцию: из вектора терроризма они превращаются в анти-террористическую блокаду.

Конечно, решения относительно того, использовать изображение или нет, считать его фальшивкой или нет и сообщать ли об этом в репортаже, не всегда даются легко. И все же эти решения нужно принимать, поскольку редакционный отказ от решения — это тоже решение, причем выгодное для террористов. Во времена асимметрии от привычного комфорта приходится отказываться — такова цена за то, что великая межгосударственная война, так долго державшая всю Европу в напряжении и, наконец, разрушившая ее в начале XX века, больше никогда не повторится.

# Часть III

## Классическая геополитика, новые представления о пространстве и гибридные войны

11

### Плюсы и минусы геополитического мышления

Геополитическое мышление в Германии после окончания Второй мировой войны оказалось весьма щекотливым вопросом<sup>1</sup>. Любой, кто оперировал геополитическими категориями, то есть говорил о географической структуре пространства, о его исторических и культурных особенностях и природных ресурсах в аспекте политических целей, обвинялся в пособничестве новым попыткам изменения политических границ и пересмотра пределов зон экономического влияния в Европе. Таким образом, аргументация политических действий в Германии все больше смещалась в сторону правовых и этических обоснований и по возможности избегала любых рассуждений, касающихся геополитики.

В политическом аспекте такая позиция была вполне допустимой, ибо в условиях противостояния Востока и Запада геополитическое мышление превратилось для немцев скорее в теоретическую забаву, не имеющую каких-либо практических политических последствий. Геополитические вопросы обсуждались в Москве и Вашингтоне, в Лондоне и наверняка в Париже, но только не в Бонне. *С политической точки зрения* это было даже удобно: геополитическое восприятие

мира пробуждало тоску по «утраченному Востоку», а значит, играло на руку сторонникам юридических фикций, например, выступавшим за возвращение государства к границам Германской империи по состоянию на 1937 год; кроме того, это давало возможность отвлечься от политической реальности. Ведь геополитические заявления были способны еще больше сдерживать и без того весьма ограниченный потенциал немецкой политики: ни прозападная стратегия Конрада Аденауэра, ни «восточная» линия Вилли Брандта, которая фактически сводилась к отказу от областей к востоку от Одера и Нейсе, не имели ничего общего с геополитическими воззрениями немцев, характерными для первой половины XX века. Однако с *научной точки зрения* отказ от геополитического подхода оказался проблемой, поскольку альтернатива немецкой традиции, образуемая американским и английским геополитическим мышлением, а также обновленным подходом французов к геополитическим проблемам, основу которого заложил географ Ив Лакост, долгое время вообще не принималась во внимание<sup>2</sup>.

Обстоятельства, обуславливающие эту немецкую сдержанность, изменились в период между 1989 и 1991 годами, то есть между распадом Организации стран Варшавского договора и развалом Советского Союза, только этого довольно долго не замечали. Занимаясь экономическими и социальными последствиями воссоединения Германии, немцы упустили из виду, насколько важным для восприятия Германии ее соседями было воссоздание европейского центра, и какое оно имело значение для действий объединенной Европы на ее окраинах. Европейский долговой кризис, конфликт между Россией и Украиной и крах политического порядка на Ближнем Востоке вернули геополитике политическую актуальность<sup>3</sup>. Политическое мышление явно не было подготовлено к возвращению этих «призраков прошлого».

При этом достаточно было лишь взглянуть на воцарившийся после 1945 года «миропорядок», чтоб получить

представление о том, что снижение важности геополитического мышления в Германии и Европе стало результатом чрезвычайных политических обстоятельств, а не следствием цивилизационного прогресса, как это нередко принято считать. Так, например, США контролировало оба побережья в атлантическом и тихоокеанском пространстве, таким образом закрывая СССР, своему геополитическому противнику, доступ к мировым океанам, а значит, не допуская его до роли морского противника Америки. В основе американской политики лежало убеждение, высказанное военно-морским стратегом адмиралом Альфредом Тайером Мэхэном, согласно которому контроль Мирового океана является ключом к мировому господству; с другой стороны, она основывалась на позиции теоретического противника Мэхэна, английского географа Хэлфорда Джона Макиндера, который к началу XX века провозгласил, что одного лишь морского превосходства недостаточно для удержания сильнейшей европейской державы от мирового лидерства, и потому необходим контроль прибрежных районов Евразии<sup>4</sup>. Именно этим американцы и занялись после Второй мировой войны<sup>5</sup>, и то, что в Европе им удавалось с легкостью, в Восточной Азии сопровождалось двумя войнами — Корейской и Вьетнамской. Созданная Америкой НАТО хотя и объединила страны, формально придерживавшиеся одной системы моральных ценностей, но в большей степени все же оказалась геостратегическим союзом, ведь иначе в нее не попали бы военные диктатуры Португалии, Греции и Турции. Протестные движения 1960-х годов ощутили это противоречие между политической реальностью и правовым самосознанием Соединенных Штатов, однако не смогли понять его причин, ибо геополитическое мышление было им глубоко чуждо<sup>6</sup>.

Сегодня речь о геополитике ведется с двух ракурсов — с позиции силы и с позиции слабых. Сильная сторона использует геополитические заявления для того, чтобы навязывать свою волю, диктовать, что нужно делать, а чего

следует избегать. Слабые игроки, напротив, говорят о том, что любые политические планы должны учитывать геополитический аспект; даже ориентируясь на иные приоритеты, не следует забывать о том, что политические союзники и противники могут мыслить геополитическими категориями<sup>7</sup>. Основная ошибка европейской стратегии в отношении Украины заключалась именно в том, что главного соседа Украины, Россию, просто не брали в расчет и не обратили внимания на заявление президента России Владимира Путина о том, что распад СССР стал «величайшей геополитической катастрофой XX века». В ином случае можно было бы заранее подготовиться к соответствующей реакции России или хотя бы гораздо раньше привлечь Россию к переговорам. ЕС угодила в ловушку собственной геополитической наивности. Несложно предположить, что разорение Восточной Украины в результате продолжительной войны, а также экономическое истощение всей страны и намечающееся соперничество за право опеки над Украиной обойдется европейцам совсем недешево и станет для них поистине горьким опытом.

По случаю столетней годовщины начала Первой мировой войны велось немало разговоров — а еще больше споров — о вине и ответственности немцев. В этой связи нелишним будет взглянуть на психологический настрой главных действующих лиц, принимавших политические решения летом 1914 года: боязнь упадка в Австро-Венгрии и страх изоляции Германской империи. Вообще боязнь упадка царила не только в Австро-Венгрии; ее признаки, порой не менее явные, наблюдались в Санкт-Петербурге, Париже и Лондоне. Для восприятия геополитической ситуации это имеет большое значение, поскольку эффект неблагоприятных условий и невыгодного баланса сил, воспринимаемых через призму определенных страхов, только усиливался. Некоторые историки, оценивая страх изоляции немцев в ретроспективе, утверждали, что он фактически не имел никаких оснований и что речь в данном случае шла о навязчивой идее, охва-

тившей целую нацию. Как бы то ни было, ничто не изменит тот факт, что основные действующие лица Июльского кризиса 1914 года принимали свои решения под действием этих настроений. Споры о том, были ли эти опасения оправданы — это всего лишь очередная глава длинной истории, посвященной одной весьма важной проблеме — недостатку информации, в условиях которого принимаются политические решения. К вопросу о том, какой урок следовало извлечь из событий, предшествующих началу войны в 1914 году: не заметить того, что российская политическая и военная элита уже в 2014 году, еще до свержения дружественного ей правительства в Киеве, была охвачена страхом изоляции и боязнью упадка, было невозможно. Революция в Киеве только обострила эти опасения. Психологически мудрое и компетентное с геополитической точки зрения руководство ЕС должно было учитывать это, планируя свои действия в отношении Украины.

Европейский союз больше не может позволить себе таких просчетов, поскольку теперь главной геополитической проблемой Европы является не Черноморский регион и Кавказ, а Ближний Восток. Система, построенная французами и англичанами после Первой мировой войны, распалась, и никто не знает, какая альтернатива придет ей на смену и как достичь стабилизации в этом регионе. Ведь джихадисты, которые занимаются разрушением старого строя, возникшего на основе соглашения Сайкса — Пико, безусловно, охвачены геополитическими идеями реорганизации пространства, и при этом они руководствуются принципами расширения власти, которой (арабский) ислам обладал на пике своей популярности<sup>8</sup>. В результате у европейцев не получается делать вид, будто все эти драматические события их не касаются; они просто не могут, подобно гуляющим горожанам из «Фауста» Гете, вальяжно прохаживаться, пока «где-то в Турции, в далекой стороне, народы режутся и бьются».

Беспорядки на Ближнем Востоке будут все больше затягивать Европу в пропасть: экономически — за счет стабиль-

ного роста цен на сырье, а социально — вследствие нарастающих потоков беженцев. И тогда европейцы будут вынуждены инвестировать в стабильность в регионе уже в своих собственных интересах, а это принципиально отличается от гуманитарной помощи, которой они ограничивались ранее. Правда, для этого необходима геополитическая концепция, которая будет приниматься и поддерживаться населением Ближнего Востока. Но такой концепции нет, как нет и серьезной озабоченности европейцев этим вопросом.

Геополитическое мышление XXI века основано на иных аспектах, чем геополитика XIX века, которая тогда только превращалась в академическую дисциплину. В то время еще не было воздушного сообщения, не было военной авиации, межконтинентальных ракет и боевых дронов, а подводный коммуникационный кабель, соединявший Германию с Америкой, был перебит английскими военно-морскими силами сразу после начала Первой мировой войны, что возымело серьезные последствия для немецкой осведомленности в отношении американского участия в войне. При этом проливы, мысы и острова все еще имели ключевое значение для контроля за морскими передвижениями, а значит, и за мировой экономикой, и именно эти геополитические позиции лежали в основе становления Британской империи.

В то же время не исключено, что таяние полярных льдов коренным образом повлияет на морские передвижения, а межконтинентальная коммуникация будет обходиться без использования кабеля. Какое-то время считалось, что из-за этих изменений геополитическое мышление утратит свое значение; но на самом деле они лишь сместили геополитические ориентиры<sup>9</sup>: на место ключевых геостратегических позиций, характерных для классической сухопутной и морской войны, пришли принципы скорее экономические, чем военные. В целом контроль над динамикой вытеснил контроль над статикой: управление потоками людей и товаров, капитала и информации стало важнее захвата ограниченных географических территорий<sup>10</sup>. Присоединение Путиным Кры-



ма к России как раз можно отнести к последнему, а политику глобального контроля, проводимую США, — к новому типу управления. В такой классификации можно наблюдать классическое противостояние сухопутной и морской держав, и в то же время сопротивление устаревших форм империализма своим новейшим преемникам. В любом случае здесь речь идет о конкуренции двух геополитических моделей, которые, основываясь на терминологии Делеза и Гваттари<sup>11</sup>, можно описать как рифленую и гладкую, со всеми вытекающими ассоциациями. При этом рифленая выступает за проведение границ и дробление пространства. А гладкая, наоборот, воспринимает пространство как единое целое, в котором взаимосвязи гораздо важнее разграничительных линий.

А европейцы? Им особенно необходимо контролировать эти изменения, даже если этот контроль будет заключаться лишь в своевременном разгадывании стратегий других крупных игроков. В последнее время именно этого и не хватало. Однако в среднесрочной перспективе европейцам все же придется выработать свою четкую геополитическую позицию: намерены ли они выступить в качестве региональной державы, пытающейся в пределах своих возможностей обеспечить стабильность на своей периферии, либо претендуют на равноправное соперничество с США в оказании влияния на формирование мирового порядка XXI века. А немцам придется осознать, что, находясь в самом центре Европы, они несут особую ответственность за будущее Европейского союза: они обязаны сохранять единство Южной и Центральной Европы, скреплять Западную и Восточную Европу и противодействовать центробежным силам, нарастающим с каждым днем. Не экспансия, как прежде, а сплоченность теперь является ключевым понятием их геополитической деятельности<sup>12</sup>. А основной политической задачей Федеративной Республики Германия на ближайшие годы станет придание центробежным силам в Европе центростремительной динамики. И едва ли это будет возможным без освоения курса геополитического мышления.

## Украина и Левант: войны на периферии Европы и борьба за новый мировой порядок

### Описание ситуации

Нередко можно услышать мнение, что война на востоке Украины положила конец эпохе мирного существования Европы, начавшейся в 1980-х годах. Следовательно, дивиденды, ранее получаемые странами от сохранения мира, теперь должны расходоваться на армию. Однако это утверждение упускает из виду тот факт, что в 1990-х годах несколько кровопролитных конфликтов на Балканах унесли жизни более 200 тысяч человек, а на Кавказе разразился целый ряд опустошительных войн, начиная от Чеченской в северном регионе до конфликтов в Армении и Азербайджане на юге. Конфликт на востоке Украины на самом деле является лишь географическим звеном между войнами на Балканах и Кавказскими конфликтами. Лишним подтверждением служит присоединение Крыма к России, которое хотя и не сопровождалось военными действиями, но все же [с точки зрения западных стран] противоречит международному праву.

В данном случае речь идет о политико-географическом пространстве, растянувшемся от Западных Балкан до Каспийского моря, которое издавна славится этническим, религиозным и конфессиональным многообразием и где в прошлом постоянно происходили конфликты, грозящие перекинуться на примыкающие территории. Многонациональность и мультиконфессиональность при этом, по сути, являются пороховой бочкой, способной превратить классическую внутринациональную борьбу за власть в гражданскую и даже межгосударственную войну. Наиболее известным и самым значительным стал конфликт между Сербией и Австро-Венгрией, вспыхнувший в результате Июльского кризиса 1914 года и повлекший за собой начало Первой ми-

ровой войны. Если взглянуть на ситуацию на востоке Украины с этой точки зрения, то этот конфликт, выступающий очередным звеном в длинной череде войн, вспыхивающих в пределах этого пространства, действительно можно рассматривать как конец почти тридцатилетней эпохи европейского мира<sup>1</sup>.

Как и успехи пророссийских сепаратистов на востоке Украины, территориальные победы боевиков ИГИЛ в Сирии и в Северном Ираке заметно встревожили европейцев, приведя к военному выступлению против Исламского государства в этом регионе. Интерес мировой общественности к Ливану в большей степени был вызван не территориальными захватами, а варварством и бахвальством, с которым боевики ИГИЛ демонстративно уничтожали культурные ценности, рассчитывая на широкий резонанс в СМИ<sup>2</sup>. Однако медийный акцент на зверствах ИГИЛ показал лишь одну из бесчисленных войн и военных конфликтов арабского мира — между Анатолийским нагорьем и Йеменом, Месопотамией и Тропической Африкой, — образующих грандиозную мозаику войны на этой территории. В этих противостояниях сплетаются самые разнообразные мотивы и цели. Эти конфликты и войны, а некоторые из них могут тянуться годами, способны объединиться в одну большую войну, положить конец которой, ввиду ее обширного территориального распространения и огромного разнообразия действующих сторон, не смогут ни политические договоренности, ни военное вмешательство извне. Таков наихудший сценарий, нависший над арабо-исламским пространством, и не допустить его — главная задача европейской политики.

По сравнению с ситуацией, сложившейся в отношениях Месопотамии и Северной Африки, а также Средиземноморья и Тропической Африки, политический кризис в регионе между Балканами и Кавказом выглядит не таким существенным; для нас он важен лишь потому, что в него вовлечена Россия, а она все еще располагает самым большим после Америки потенциалом ядерного оружия и ракетносителей. Можно посмотреть на этот вопрос и по-другому: конфликт в отноше-

нии Крыма и война на востоке Украины потому так опасны, что могут привести к продолжительной конфронтации России, которая будет препятствовать общемировым и региональным усилиям по поддержанию политического порядка в Западном мире. И даже если до самой конфронтации не дойдет, то даже выпадение России из числа стран, участвующих в установлении мира в кризисных районах, станет серьезной и невосполнимой потерей. Мировой порядок XXI века все еще зависит от конструктивного сотрудничества России в вопросах, касающихся ограничения военных конфликтов и регуляции кризисов, по крайней мере, с точки зрения европейцев, и с учетом наличия кризисных регионов на территории, раскинувшейся от Балкан до Кавказа, и в арабо-исламском мире.

Вопреки тому, что можно было ожидать еще десять лет назад, США, как «мировой жандарм», заложивший во второй половине XX века главные принципы миропорядка и, как правило, активно их продвигавший, до этого времени не принимали особого участия в решении проблем этих кризисных регионов. При этом роль Америки в ограничении и прекращении войны в Югославии, вспыхнувшей в 1990-е годы, стала решающей, хотя мнения европейцев по поводу целесообразности участия Штатов и занятой ими позиции в тот момент разделились. Тогда, спустя короткое время после завершения противостояния Востока и Запада и распада Восточного блока, конфликтное поле, характерное для лета 1914 года, вновь дало о себе знать, и развитие кризиса на этом поле не в последнюю очередь было вызвано военным вмешательством Соединенных Штатов. Как и в начале XX века, конфликты, замороженные противостоянием Востока и Запада, в 1990 году начали проявляться вновь. Агрессивная борьба сербов за власть и сопротивление других наций и народностей Югославии сербской гегемонии, выражавшееся в разной степени активности, привели к войне, в результате которой западноевропейские державы разделились, оказав поддержку разным сторонам балканского конфликта: Франция симпатизировала своей прежней союзнице Сербии, в то время как

Германия и Австрия демонстративно поддерживали Хорватию. Россия, получившая большую часть наследства бывшего Советского Союза и испытывавшая недостаток внешнеполитических ресурсов в связи с внутренними проблемами, приняла сторону Сербии как своего бывшего союзника, в то время как Великобритания, для которой Балканский кризис в 1914 году был далеко не единственной причиной для вступления в войну, обрушила на Сербию поток обвинений в зверствах и военных преступлениях<sup>3</sup>.

На этом этапе европейской самоизоляции США взяли инициативу в свои руки и вступили в балканский конфликт, направив свои дипломатические и военные ресурсы против режима С. Милошевича. Затем европейцы попытались выстроить в регионе достаточно надежный режим, являвшийся собой комбинацию сил достаточно ограниченного военного присутствия, полиции и административного персонала, с использованием значительных средств «компенсаций» и перспективой вступления в Евросоюз; режим в том же виде существует и сейчас. Какие бы мотивы ни лежали в основе американского вмешательства на Балканы — опасения, что с продолжением конфликта уже наметившиеся трещины внутри НАТО и Европейского союза могли превратиться в серьезные разногласия и противоречия, страх перед ростом влияния русских на Балканах или тот факт, что наемники-джихадисты постепенно наращивали свое присутствие в Боснии, стремясь превратить сербско-боснийский конфликт в межконфессиональную войну на задворках Европы, — американская интервенция провела четкую грань между последствиями 1914 года и 1990–1991 годов.

Насколько успешным оказалось американское вмешательство на Балканах, настолько же провальной стала интервенция США в Ирак, потребовавшая гораздо больших ресурсов и высоких затрат, в результате чего сама операция стала переломным моментом в американской стратегии демонстрации силы на Ближнем Востоке. То, что задумывалось как пилотный проект по построению процветающего режима при

поддержке местного населения, который должен был стать моделью для подражания в преодолении самоблокировки и политической и социально-экономической модернизации арабского мира<sup>4</sup>, обернулось политическим фиаско<sup>5</sup>. Американское вмешательство в Ираке не только не привело к стабилизации и процветанию, а лишь ускорило процесс разрушения режима в регионе. Но тем не менее не стоит искать причину конфликтов и войн, вспыхнувших в этом районе, исключительно в участии Соединенных Штатов, как делают некоторые наблюдатели арабско-исламского мира<sup>6</sup>: вмешательство Америки, безусловно, ускорило процесс распада, но ответственность за социально-экономическую изоляцию арабского мира нужно искать в другом. Ведь на самом деле попытки упразднить арабо-исламскую самоизоляцию предпринимались, вот только все они закончились провалом.

Только на фоне этих провалов можно в полной мере понять надежды и ожидания, которые возлагались, и в первую очередь европейцами, на «арабскую весну»<sup>7</sup>: то, что невозможно было реформировать извне, могло измениться при участии самого народа. Такая оптимистическая оценка «арабской весны», по-видимому, была основана на ожидании того, что произошедшее в 1989–1990 годах в Центральной Европе, а именно падение коммунистических режимов, повторится вновь в арабском мире. Но такая надежда не оправдалась. Все, что осталось от «арабской весны», это как минимум та же катастрофическая картина, что и в Ираке, пережившем американское вторжение: гражданская война в Сирии, стоившая жизни более чем 200 тысячам человек, миллионы беженцев, противостояние между полевыми командирами и ополченцами в Ливии, военный режим в Египте, который проявляет еще большую агрессию, чем свергнутый в ходе арабской революции режим президента Хосни Мубарака, обостряющаяся борьба за зоны влияния между Ираном и Саудовской Аравией и как единственное светлое пятно — Тунис, где в настоящее время на основе демократических выборов произошло две смены власти, но эконо-

мический подъем, способный решить социальные проблемы страны, до сих пор не наблюдается. Не удивительно, что джихадисты в Тунисе направляют свои атаки главным образом против туризма как главного источника поступления валюты, то есть по самой уязвимой точке экономического развития Туниса.

Конечный результат в отношении надежд, возлагаемых на «арабскую весну», выглядит отрезвляюще. Но что еще хуже: нет никаких реальных представлений о том, как можно прекратить гражданские войны в Сирии и Ливии, кроме временного практического решения в виде слегка завуалированной военной диктатуры, как в Египте. Так или иначе, для США и большинства европейских стран режим генерала ас-Сиси в Египте стал «вынужденным решением», которое они теперь поддерживают военными и экономическими ресурсами. Их поддержка связана не с тем, что они видят в этом режиме долгосрочную перспективу для Ближнего Востока, а с стремлением сохранить Египет в качестве единственного стабильного региона, разделяющего пространства ливийской войны и палестинского конфликта. Египет имеет особое геополитическое значение не только из-за Суэцкого канала, упрощающего транспортное сообщение между Южной и Восточной Азией и Европой, а также из-за своей роли буферного государства, разделяющего зоны разнообразных конфликтов на Ближнем Востоке. Если бы его, как Сирию, разрушила гражданская война, это стало бы политической катастрофой; Ближний Восток на годы, если не на десятилетия, погрузился бы в хаос. Бесконечные потоки беженцев стали бы лишь одним из очевидных последствий для Европы. Политическая и социальная стабилизация Египта является одной из ключевых задач европейской, и, соответственно, западной политики, которую нельзя ставить в зависимость от долгосрочной перспективы развития нильских берегов. Поскольку после провала американского проекта процветания Ирака и скорого увядания цветков надежды, распустившихся в результате «арабской весны», расчет на долгосрочные перспективы бо-

лее неактуален, действия европейцев и американцев впредь должны ограничиваться мерами, нацеленными в первую очередь на сохранение статус-кво опекаемой территории, а не на ее перспективные преобразования.

В другом кризисном регионе на окраине Европы, на территории, растянувшейся между центральной частью Балкан и Кавказом, все выглядит совсем иначе. Здесь краткосрочные меры пересекаются с долгосрочными перспективами развития, причем не исключено, что оба действующих лица, Европейский союз и Россия, вступят друг с другом в конфликт. Краткосрочные меры заключаются в локализации конфликтов, грозящих перерасти в открытые войны, в ограничении и прекращении насилия и преобразовании войн в «замороженные» конфликты. Сам конфликт, таким образом, конечно, не исчерпывается, а все еще ждет своего решения, но только вот никакого мирного решения в сложившихся обстоятельствах быть не может. Поскольку надежды и чаяния населения на Украине никоим образом не соответствуют территориальным запросам ведущих держав Запада, замораживание конфликта является единственным реальным способом положить конец войне и открытому насилию. Впрочем, юго-западная окраина бывшего Советского Союза обнаруживает целый ряд подобных «замороженных» конфликтов.

Как правило, замораживание конфликта происходит для согласования между обеими сторонами вопроса о том, что в отношении конфликтного региона у них согласия нет («мы согласны с тем, что не согласны» — *we agree to not agree*), но при этом считается, что в будущем в изменившихся условиях такое согласие может оказаться возможным. В этом случае обе стороны убеждены в том, что дальнейшее военное развитие конфликта повлечет за собой непредсказуемые риски и непомерно высокие расходы. Таким образом, важной предпосылкой для проведения политики замораживания является наличие в одном регионе участников, преследующих общие среднесрочные и долгосрочные цели, трезво оценивающих все издержки и выгоды конфликта и способных ради своих основных интересов отказаться от продолжения конфликта.



Это самое важное различие между кризисным регионом, протянувшимся от Балкан до Кавказа, и арабо-исламским миром с его войнами в Сирии и на севере Ирака, Йемене, в Ливии и Нигерии. В этом пространстве отсутствуют доминирующие силы, которые были бы заинтересованы и способны на замораживание конфликтов и прекращение военных действий. И хотя в этом регионе тоже есть крупные державы, такие как Иран, Саудовская Аравия и Египет, они не сильно заинтересованы в стабилизации всего общего региона, а скорее готовы разжигать конфликты и поддерживать войны, за счет которых пытаются расширить свои зоны влияния и поддержать своих протеже. Одной из причин отсутствия общей заинтересованности в достижении стабильности этой области, вероятно, являются религиозные и конфессиональные различия, которые только способствуют возникновению конфликтов: противостоянию христиан и мусульман в Тропической Африке, а особенно в Нигерии, и конфликту между суннитами и шиитами в Ираке, Йемене, Сирии и Ливане. Насильственная конфронтация, таким образом, основывается на различиях в системах ценностей и самоидентификации участников, и в результате «политический расчет» рухнет из-за вопросов веры и вероисповедания. Это еще одна причина, по которой арабо-исламский кризис в сравнении с балкано-кавказским конфликтом в долгосрочной перспективе выглядит куда более опасным и труднопреодолимым.

### **Явная сдержанность США**

Эскалация конфликтов и превращение их в войны в обоих упомянутых регионах сопровождается политической и военной сдержанностью со стороны США, которой еще десять лет назад никак нельзя было от них ожидать. Постоянные звучащие в США требования в предоставлении Украине за счет Запада летального вооружения и участие американских бомбардировщиков в атаках на позиции боевиков ИГИЛ ни-

чего в этом факте не меняют. Конечно, эти атаки представляют собой нечто большее, чем символические акты, но их очевидно недостаточно для быстрого прекращения военной конфронтации. Скорее, они служат для предупреждения своих дальнейших поражений и призваны не допустить отступления противников ИГИЛ и поддержать контрудары курдских формирований пешмерга и регулярной иракской армии. Подобная сдержанность со стороны США на фоне прежних масштабных операций, проводимых в этом регионе, выглядит подозрительно. По сегодняшней оценке, Саддам Хусейн и его режим в Ираке представляли меньшую опасность для сохранения мирового порядка, определяемого США, чем нынешняя угроза разрушения политических структур на Ближнем Востоке в случае дальнейших успехов боевиков ИГИЛ. Кроме того, трудно представить, что прежняя администрация США могла воздержаться от бурной реакции в случае аннексии какой-либо территории соседним государством, как это произошло с Крымом. В конце концов, США является одним из гарантов территориальной целостности Украины после ее отказа от владения ядерным оружием, оставшимся после развала СССР\*. Для сдержанных действий США в обоих кризисных регионах существует целый ряд объяснений, которые могут не противоречить друг другу, но при этом имеют разное значение для будущего облика войны и мира.

Для начала, существует стандартное объяснение, согласно которому после многочисленных военных интервенций — от Сомали и освобождения Кувейта до вторжения в Ирак и Афганистан — американское население так устало от последствий этих операций, что обратилось к политике сдержанности, в которой большая часть ответственности

\* США подобным гарантом являться не может, поскольку Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанный 5 декабря 1994 г. представителями Украины, США, России и Великобритании, не был ратифицирован ни одной из стран-подписантов. Также гарантии предоставили Франция и Китай, но они этот документ не подписали.

перекладывается на союзников или региональные государства<sup>8</sup>. Американцы больше не хотят выступать в роли «мирового жандарма», которому всюду и везде предъявляются требования и претензии, в то время как остальные лишь пожинают плоды чужих обязательств, не внося особого вклада со своей стороны или критикуя промахи и провалы политики США. В результате такая политика, делающая ставку на ведущие региональные государства и их политические интересы, сводится к отказу США от влияния ради возможности инвестирования существенной части своих ресурсов в процветание своей страны. США сделало политические выводы из ситуации, которая в экономике называется «трагедией общин»<sup>9</sup>: явление, где в случае коллективного блага инвестиции приносят доход не только инвестору, но и всем остальным, поскольку никто не может быть исключен из числа пользователей коллективным благом. Это приводит к тому, что участник, соотносящий расходы с доходами, предпочитает не инвестировать в общее дело, желая получать прибыль без собственных вложений. В результате «общее благо» истощается, и его использование становится невозможным. В экономической теории это явление представлено на примере пастбища общего пользования, но его вполне можно перенести в сферу политики: мир и общая безопасность представляют собой коллективное благо, в котором явно присутствует разрыв между инвестициями и доходностью. Согласно этой версии новая политика США является результатом применения экономических практик при организации мирового порядка.

Проблема соотношения инвестиций и расходов в отношении мирового порядка может быть решена в случае, если большинство пользователей решится на *распределение бремени* — в данном случае, на пропорциональное распределение расходов на поддержание и восстановление порядка. Оптимальным решением относительно политического обращения с коллективным благом станет поддержка идеи распределения бремени максимальным числом участников. По сути, на этом принципе и построена политика Организации Объеди-

ненных Наций. Тем не менее здесь тоже возможны конфликты по поводу пропорциональности распределения влияния и его совместимости с разнообразными интересами «инвесторов»: совместное решение проблем коллективного блага, если этим благом является сохранение мира и безопасности, чревато тем, что все участники, когда дело коснется самой важной для них темы, могут почувствовать себя обманутыми и предпочтут «развод» совместной деятельности. В мировой истории есть немало примеров взаимосвязи между развитием процесса политического упадка, переживаемого «мировыми жандармами», или постепенной утратой главенствующих позиций и появлением конфликтов в области международной политики, а также растущей угрозы крупных войн. Так на рубеже XIX и XX веков стало очевидным, что Британская империя в будущем уже не сможет сохранить свою прежнюю роль<sup>10</sup>. Относительный упадок могущества англичан отчасти способствовал разжиганию Первой мировой войны, и потому есть опасения, что относительный закат американской власти в XXI веке может привести к схожим последствиям<sup>11</sup>. Если принять версию относительного упадка американского могущества или вариант сознательного отказа США от роли «мирового жандарма», то тогда война на востоке Украины и присоединение Крыма к России, распространение сирийской гражданской войны на территорию Леванта, а также бездействие Запада в случае эскалации гражданской войны в Ливии можно расценивать как первые признаки гораздо более масштабных войн, перемещающихся с периферии богатых районов к их центрам. Вполне возможно, как гласит еще одно объяснение сдержанности США, что после горького опыта интервенций в Афганистане и Ираке «мировой жандарм» решил пересмотреть свою задачу и стал вести себя более осторожно и сдержанно. Согласно этой версии Америка пришла к выводу, что ее надежды на миротворческие последствия военных интервенций оказались переоцененными и что ее действия едва ли смогут привести к стабильному решению проблем в районах военного вмешательства. С приходом к власти президен-

та Барака Обамы США отказались от политики глобального вмешательства, проводимой с начала 1990-х годов, и вернулись к линии прагматичного властного реализма: осуществление вмешательства только тогда, когда это отвечает собственным интересам, а не из гуманной ответственности за жителей зон военных действий. Таким образом, принятая незадолго до этого инициатива Организации Объединенных Наций «обязанность защищать» могла лишиться единственного участника, способного осуществлять ее реализацию по всему миру. Так что более осторожное поведение США в области мировой политики могло привести к такому «коллатеральному ущербу». Ну а преимущество такой позиции заключается в том, что упреки в империалистических маневрах, особенно исходящие от жителей Южного полушария, слышны все реже и реже. Да и сам риск *имперского замаха* (*imperial overstretch*) оказался для США сведенным к минимуму<sup>12</sup>.

Наконец, есть и третье объяснение, согласно которому важнейшие вопросы организации мирового порядка, по мнению авторитетных кругов в Соединенных Штатах, больше не касаются темы обладания территориями и не могут решаться путем пересмотра территориальных границ, а заключаются в контроле за воздушным, морским и космическим пространствами. Соответственно, успехи, достигнутые на земле, могут повышать престиж и вызывать уважение у непосредственных соседей, но для мирового порядка и позиции в мировом сообществе они не имеют никакого значения. Территориальный контроль границ утратил свою важность, в то время как в центре внимания мировых держав оказались потоки — людей, товаров, капитала и информации — контроль над ними и управление ими<sup>13</sup>.

Теперь вопрос расстановки сил в области мировой экономики и торговли не решается в формате вооруженных конфликтов, направленных на завоевание территории, за исключением, пожалуй, тех районов, где добываются стратегические природные ресурсы. Но даже эти районы, по сути, являются бесперспективными, если не связаны с мировыми торговыми каналами. Способность обеспечить соблюдение

экономических и торговых санкций в этих обстоятельствах является куда более эффективной, чем контроль над богатой ресурсами территорией.

Это изменение также отразилось на характере войны и на ее формах: борьба за территорию происходит на земле при помощи традиционного смертоносного оружия, но эти войны практически не влияют на мировой порядок, поскольку ведутся в нишах, не имеющих для него большого значения. Ведь борьба за мировой порядок ведется между богатыми и технологически развитыми державами на уровне киберпространства, где вопрос о завоевании территорий не стоит; здесь важен доступ к системам управления противника, с помощью которых можно ввести неприятеля в политический, социальный и экономический ступор<sup>14</sup>. Подобные войны, как правило, не ведут к летальным последствиям. Там, где фокус власти переместился на контроль за потоками, война больше не нацелена на уничтожение солдат как представителей воли противника, а ориентирована на парализацию нервной системы оппонента, то есть на лишение его способности эту волю развивать.

В чем проявляется выбор США соответствующей формы демонстрации власти? Доказательством этого выбора может служить недостаточное внимание, уделяемое Вашингтоном войне на востоке Украины и в какой-то мере войне в Леванте. С одной стороны, более глубокое внедрение в районы Черного моря и Восточного Средиземноморья противоречило бы доктрине Обамы, вследствие чего самые актуальные для XXI века вопросы могли переместиться из атлантического пространства в тихоокеанское, а с другой стороны, администрация Обамы открыто исходит из того, что их противниками в будущем станут не территориальные захватчики а-ля Путин, а конкуренты по организации и контролю за потоками. К ним среди прочих относятся объединения джихадистов и их последователи, независимо от того, как они называются, *Аль-Каида* или *Исламское государство*. Только в форме сетевых организаций, способных действовать по всему миру, они представляют для США реальную

проблему, но не как участники, борющиеся за обладание той или иной территорией, как это было на момент объявления халифата и сосредоточения сил в священном для ислама регионе<sup>15</sup>. Потому относительно молодая группировка Исламское государство уже не слишком опасна для США<sup>16</sup>, а строго дозированное использование американских ВВС против боевиков можно также объяснить тем, что Америка все же не заинтересована в том, чтобы джихадисты в Северном Ираке и Сирии вновь превратились в гибкую, «потоковую» организацию<sup>17</sup>. Предпринятый джихадистами переход от динамики к статике для Соединенных Штатов равноценен обезвреживанию тикающей бомбы, то есть глобального терроризма. Одно из последствий этого процесса заключается в том, что европейцам в будущем придется самим заботиться о своей безопасности и решать проблемы своей периферии, поскольку времена, когда Соединенные Штаты занимались этим в рамках своей роли «мирового жандарма», уже позади.

Соединенные Штаты будут и дальше работать над развитием своих возможностей в области беспилотных и кибернетических войн, стараясь расширить свой контроль над потоками и усовершенствовать средства борьбы с противниками, обосновавшимися в этих потоках и адаптировавшим к ним свою организационную структуру<sup>18</sup>. В первую очередь это касается террористических организаций, отказавшихся от закрепления своих структур на определенной географической территории и действующих из глубин социального мира и самых разнообразных уголков Земли. Их преимущество заключается в том, что они не образуют *правлящей политической элиты* и потому не столь уязвимы, как те, кто ею обладает. Сетевые организации имеют такую подвижность, которой суверенные государства не смогут добиться никогда. Однако США, несмотря на признаки имперской гибкости, есть и остаются суверенным государством, и потому обязаны развивать способности, позволяющие действовать так же гибко, как и сетевые структуры, и снизить уровень своей уязвимости. Краеугольным камнем этих способностей является управление элек-

тронными данными и коммуникационный контроль, а также возможность проведения беспилотных атак против лиц, причисляемых к участникам террористических групп, даже там, где они чувствуют себя в безопасности, например, в некоторых районах Йемена или исконно пакистанских областях.

Однако вооруженное противостояние с использованием беспилотников все же не является типичной формой разрешения конфликтов в области потоков, впрочем, как и исконно военные методы, которые в данном случае играют второстепенную роль. В потоковой среде основные столкновения происходят в области экономики, а военные операции, как правило, выступают в качестве их поддержки и подкрепления. При этом экономическая власть имеет гораздо больший удельный вес, чем военная мощь<sup>19</sup>. Возможности давления посредством экономической силы, которое нельзя нейтрализовать с помощью военной мощи, в потоковой динамике гораздо выше, чем в традиционной статике. На уровне территориального пространства военная сила в будущем все еще будет играть определенную роль, но ее задача будет сводиться к физическому контролю за теми или иными областями; вопросы мирового порядка или мирового господства таким образом решаться уже не будут<sup>20</sup>.

### **Два типа военных действий и комплексное соотношение пространства и времени**

Разоблачения Эдварда Сноудена, вскрывшего факты глобальной слежки, осуществляемой секретной службой АНБ США за информационными коммуникациями, регулярные сообщения из Йемена и приграничных регионов Пакистана о беспилотных атаках на людей, подозреваемых в терроризме, неожиданный успех боевиков ИГИЛ и, наконец, присоединение к России Крыма, имеющего геостратегическое значение, а также война на востоке Украины<sup>21</sup> — все это привело к со-



зданию ясной и неоднородной картины, отражающей эволюцию военных действий. В ней не обнаруживается линейного развития военного насилия и способов его применения. Скорее, здесь речь идет о двух различных типах боевых действий и их логике эволюции. Границу между ними можно провести в зависимости от их отношения к динамике и статике — потокам и «твердыням». Проще говоря, война за территорию в обозримом будущем будет продолжать использовать военные средства, а борьба за овладение надтерриториальными пространствами, напротив, обратится к экономическим средствам, которые имеют весьма ограниченные возможности военного применения. Контролирование потоков и строгое ограничение применения смертоносного оружия больше напоминают полицейские методы, подтверждая предложенный более полувека назад тезис Мориса Яновица о перспективе всеобъемлющей констеблизации войны<sup>22</sup>.

Феноменология войны, еще продолжая развиваться во множестве своих ответвлений, должна учитывать два направления развития. С одной стороны, это деформализация войны на земле, где все чаще и чаще события определяют полевые командиры и банды, международные бригады добровольцев и частных военных компаний, имеющих доступ к рынкам военных наемников, в то время как государства и их армии уже давно утратили свою монополию на войну и ведение военных действий<sup>23</sup> — доказательством тому служат войны в Сирии и Северном Ираке, а также конфликт на востоке Украины. С другой стороны, война, которая по большей части ведется специалистами по прослушке и засекреченными операторами беспилотных летательных аппаратов. Классический тип военного находится где-то посередине и толком не знает, какому эволюционному направлению нужно следовать. Это еще одна причина, по которой военные возможности государств утратили свою актуальность.

Издавна использование военных возможностей на земле подчинялось другим временным законам, чем на море или в воздухе: до момента замены физической силы энер-

гией полезных ископаемых войну практически никак нельзя было ускорить, и единственное различие во временном ритме и скорости создавало деление войск на пехоту и кавалерию. В отличие от сухопутных военных средств парусные суда были способны покорять большие пространства в весьма короткие сроки<sup>24</sup>. После короткого периода выравнивая баланса сил, связанного с появлением железных дорог, развитие потоков в воздушном и космическом пространствах восстановило временные различия между сухопутной, морской и воздушной войной.

Но это только один из аспектов разнообразных пространственно-временных отношений между потоками и «твердынями». Очень важно понимать, что власть, управляющая потоками, в отличие от силы, оперирующей «твердынями», имеет гораздо больший запас времени и потому способна затягивать войну, не испытывая при этом серьезного противодействия со стороны сухопутных держав. Морские и воздушные силы благодаря техническим возможностям могут по своему усмотрению ускорять либо замедлять ход военных действий, сухопутные же силы располагают лишь ограниченным запасом времени. Поэтому противостояние сухопутных и морских держав было асимметричным всегда, и морские державы, как правило, извлекали из этой асимметрии заметные преимущества. И только развитие партизанской войны, в которой временные преимущества противников хотя бы частично компенсировались повышенной готовностью воинов и солидарного с ними населения к страданиям и самопожертвованию, изменило это положение. При этом главной стратегией партизан стала интеграция потоковых элементов и отказ от линий фронтов и других территориальных категорий. Военный историк Вернер Хальвег называл партизанскую войну «войной без фронтов»<sup>25</sup>. История партизанских войн свидетельствует о том, что развитие стратегий борьбы с партизанами является для классических сухопутных сил более серьезной проблемой, чем для морских государств, поскольку последним война без границ уже хорошо знакома<sup>26</sup>.

Главное преимущество морских сил в противостоянии с сухопутными войсками заключалось и заключается в том, что их борьба не ограничивается собственной военной мощью, а может принимать форму торговых блокад и экономического эмбарго, то есть использовать ресурсы мощи экономической. Конечно, способность использовать в качестве инструмента для подавления воли противника свою экономическую силу в сочетании с военной очень сильно зависит от запаса времени, поскольку по сравнению с военными инструментами экономические средства имеют отсроченное действие. Очевидная для сухопутных войск контрстратегия в этом случае сводится к максимальному увеличению временных затрат морскими силами, нацеленному на восстановление баланса временных ресурсов. Подходящим оружием здесь служат подводные лодки, направленные не на военный, а на торговый флот морской державы. В Первой мировой войне Германская империя в борьбе против Великобритании сделала ставку на эту стратегию<sup>27</sup> — и потерпела неудачу, поскольку страны, до того момента сохранявшие нейтралитет и воспринимавшие морское пространство как свободную от военных действий зону, тоже вступили в войну.

В отношении этого нового измерения, с одной стороны, теллурического, с другой — морского пространства, Карл Шмитт провел «эффективную аналогию» между партизанами и экипажем подводной лодки: подобно партизанам, подводная лодка «добавила неожиданное измерение глубины к поверхности моря, на которой разыгрывалась морская война старого стиля»<sup>28</sup>. При этом вопроса распределения запасов времени в этих условиях Шмитт не касался<sup>29</sup>. Происходившая во время Первой мировой войны подводная борьба за обладание временем повторилась в эпоху ядерного оружия, когда оснащенные атомными боеголовками подлодки размещались на морских глубинах или под полярными льдами, чтобы в случае обмена ядерными ударами оказаться в недостижимом для противника месте. Таким образом, неприятель едва ли может рассчитывать на успех своего первого разрушитель-

ного удара. Стратегическая функция атомной подводной лодки представляет собой сочетание возможностей ускорения и замедления военных действий: атомный реактор позволяет субмарине оставаться под водой в течение нескольких месяцев, а ядерные ракеты, в любой момент готовые к запуску, лишают противника возможности нанесения сокрушительного удара по установке, не будучи обстрелянным в ответ.

### **Войны на востоке Украины и в Леванте**

Традиционное использование экономической мощи в военных конфликтах морских держав всегда зависело от военного потенциала участников. К тому же эффект экономических мер, как показала Первая мировая война, проявлялся лишь спустя какое-то время и становился по-настоящему действенным, лишь когда число нейтральных участников, способных прорвать британскую торговую блокаду, постепенно уменьшалось. Для ситуации, в которой ЕС реагирует на действия России на востоке Украины, характерно то, что использование военных ресурсов для повышения эффективности экономических мер даже не рассматривается. Европейские экономические санкции ввиду непредсказуемого риска эскалации войны должны осуществляться без какой-либо военной поддержки. Проблема подобного столкновения с участием экономических и военных сил заключается в вопросе временных ресурсов: военная сила действует быстро и четко, в то время как экономическая мощь обнаруживает эффект лишь спустя какое-то время. Иначе говоря, военная сила создает обстоятельства, повлиять на которые экономические меры могут — если это вообще возможно — только через довольно длительное время. Вот почему европейская реакция на действия России многим кажется слабой и недостаточной. Это заблуждение в основном связано с особенностями временных структур, характерных для обеих силовых моделей. В долго-

срочной перспективе экономическая мощь обладает гораздо большим потенциалом. Экономические последствия, связанные с присоединением Крыма, окажутся для России весьма ощутимыми, а за репутацию, заработанную президентом Путиным за рубежом, ему придется дорого заплатить, если у европейцев будет достаточно времени на то, чтобы продлить санкции в отношении России на длительный период.

Правда, здесь существует одна проблема: экономические санкции Евросоюза являются реакцией не на официальное, а на скрытое применение военной силы, поскольку официально военные действия осуществляются исключительно сепаратистами, а российское правительство выступает в качестве политического посредника между ними и украинским правительством. Информация о поставках российского вооружения сепаратистам и их поддержке силами добровольцев из России, возможно, и достоверна, но поступает она либо из украинских источников, либо от НАТО, в связи с чем оправданно оспаривается российской стороной. При этом присоединение Крыма и война на востоке Украины рассматриваются как два отдельных инцидента<sup>30</sup>. Кроме того, российская поддержка сепаратистов в Донбассе выглядит весьма дозированной, ибо, сумев дать отпор украинской армии и даже нанести ей тяжелые потери в двух крупных сражениях, ополченцы не могут серьезно продвинуться вглубь территории Украины, что при более серьезном участии российских вооруженных сил не составило бы особого труда. Поэтому войну на востоке Украины называют «гибридной войной»: изначальная грань, проведенная международным правом между межгосударственной и гражданской войной, стерлась и в данном случае нейтрализовала запрет на ведение агрессивных войн, прописанный в Уставе ООН. Международно-правовой запрет на самом деле касается только (наступательных) войн, идущих между государствами, при этом гражданские войны не попадают под нормы международного сообщества. Если посмотреть на число стран, представленных в Генеральной Ассамблее ООН, которые сформи-

ровались в результате антиколониальных освободительных войн, то понятно, что большинства голосов, выступающих за санкционирование гражданских войн, набрать не получится.

Гибридизация войны путем смешивания обоих типов военных действий, которая станет моделью для будущих войн, обернется гораздо худшими последствиями, чем политические результаты, достигнутые и ожидаемые в ходе войны на востоке Украины. Для европейцев это стало дополнительной проблемой: если они признают результаты войны на Донбассе, то такая модель гибридизации станет еще более привлекательной. Если же вместо этого они попытаются поддержать Украину в возвращении ею утраченных территорий поставками вооружений и присылкой инструкторов<sup>31</sup>, они рискуют спровоцировать эскалацию, которая выйдет из-под политического контроля. Таким образом, решение заморозить конфликт, чтобы в будущем попытаться разрешить его в более благоприятных политических условиях, стало очевидным: это позволило избежать принятия решения, способного привести к нежелательным последствиям. Это стало первой целиком оправдавшей себя реакцией на стратегию гибридизации.

В случае уклонения от политических решений сопутствующее использование экономической силы становится особенно важным. Экономические меры должны применяться таким образом, чтобы наносить (временному) выгодоприобретателю, использующему военную силу в своих интересах, продолжительный ущерб, способный надолго нивелировать преимущества, полученные за счет военных операций. В то же время ущерб от экономических санкций для соответствующей страны должен быть не настолько серьезным, чтобы на его фоне более массивное применение военной силы казалось меньшим злом. Попавший под санкции участник должен быть заинтересован во временном либо длительном замораживании конфликта. И для этого требуется дипломатия. В результате гибридная война превратится в политически управляемый конфликт, экономические меры

надолго нейтрализуют военные силы, а вооруженная борьба через некоторое время разрешится путем переговоров. Такая модель разрешения конфликтов, встречаясь все чаще, в будущем сможет стать альтернативой военной интервенции. Однако необходимым условием для политико-дипломатического завершения войны, поддерживаемого экономическими мерами, является наличие в качестве главного противника рационального участника, который в будущем не утратит своей политической формы, на что и рассчитывает, принимая подобные решения.

В случае боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке все как раз обстоит иначе, и в этом заключается существенная разница между военными конфликтами в Восточной Украине и Леванте, а также возможными реакциями Запада. Видео с казнями и разрушением древних памятников культуры представляют собой варварские и иррациональные акты, поэтому в случае ИГИЛ вопрос использования военной силы в качестве средства, способного положить конец варварству, постоянно витает в воздухе. Но будет она использована или нет — это вопрос оперативной практичности. Так, Соединенные Штаты сделали ставку на нанесение воздушных ударов по позициям ИГИЛ, хотя и совершаемых в весьма дозированной форме, а немецкое правительство решилось на поставки оружия курдским формированиям пешмерга, чтобы сделать их более эффективными в борьбе с боевиками ИГИЛ. При этом пешмерга являются своего рода альтернативой сухопутных войск, которые Германия, как и все остальные европейцы, не рискуют посылать на войну такого рода<sup>32</sup>.

В войне, развязанной боевиками ИГИЛ в Леванте, проявляются признаки военной модели, которая все чаще будет наблюдаться в мире в ближайшие годы и десятилетия: внутрисоциальный конфликт — в данном случае сирийская гражданская война, возникшая из сопротивления режиму Асада — превращается в пункт сбора для бывших воинов и новых наемников, прибывающих со всего света, которые только и ждут того, чтобы подключиться к какой-нибудь борь-

бе за самоидентификацию. Для обозначения групп таких активистов, причисляемых к исламистским джихадистам, напрашивается термин «интернациональные бригады», возникший в контексте испанской гражданской войны тридцатых годов<sup>33</sup>. Отчасти их члены являются выходцами из ближайших районов зоны боевых действий, но в основном они приезжают из весьма отдаленных мест. Возможностей интеграции постгероических обществ<sup>34</sup> недостаточно для этих «военных добровольцев», чтобы они могли предпочесть благословенную жизнь в мире увещаниям войны и надеждам на победу. Перспектива осознания важности своей жизни пробуждает в этих юношах и (иногда) девушках готовность к самопожертвованию и влечет их на войну; в каждом из них повторяется та решимость, которая накануне Первой мировой войны охватила в Европе целые слои общества: желание через жертвоприношение приобщиться к великой идее, к процессу, способному изменить весь ход истории, и таким образом покрыть этой славой себя — свою жизнь и свою мученическую гибель<sup>35</sup>.

Интернациональные бригады в Сирии и на севере Ирака примечательны тем, что в то время как государства Европы не ожидают от своих граждан проявлений героизма, ИГИЛ представляет собой идеал героического самопожертвования, которому постгероические общества западных держав последовать не могут. Как правило, эти люди вступают в войну, которая изначально не имеет к ним отношения, но провозглашается их войной по их собственному желанию, не из экономической нужды и весьма редко — в надежде на рост своего социального статуса<sup>36</sup>. Здесь зеркально отражается идея, лежащая в основе проекта гуманитарной военной интервенции: «прибывающие участники» вступают в войну не ради получения выгоды, а будучи охваченными идеей устранения всех преград на пути зла. В то время как гуманитарное военное вмешательство нацелено на скорейшее прекращение военных действий, участники этих новых интербригад заинтересованы в разжигании войны и победе своих союзников. Обе цели имеют мало общего с их личными интересами.



Тем не менее в то время как проект гуманитарного вмешательства видится практически провальным, джихадистские интербригады словно находятся на подъеме.

Со здоровой долей цинизма можно рассматривать это как возможность постгероических обществ избавиться от молодых людей, не разделяющих их позиций и принципов, а значит, снизить для себя потенциальный риск, который они могли представлять для этих обществ. Война на окраинах процветающих районов притягивает тех представителей зажиточных обществ, которые не могут или не хотят найти свое предназначение в сытой и мирной жизни. Однако проблема заключается в том, что они так и не находят своего предназначения, а через какое-то время, если остаются в живых, оказываются выплунутыми войной, чтобы затем возвратиться в родные страны. Некоторые из них отказываются от дальнейшего поиска своего предназначения, утрачивают жажду приключений и чувствуют себя готовыми адаптироваться к ожиданиям общества, ориентированного на честный труд; однако другая часть «возвращенцев» чувствуют себя травмированными и полны ненависти ко всем остальным членам общества, которые воспринимают их как неудачников. Привычные к оружию и убийствам, они пытаются применить свои навыки, полученные на войне, в своем родном обществе, стараясь по-прежнему обрести свой смысл жизни. Как показали теракты в Бельгии и Франции, их исполнители как раз принадлежали к этой категории бывших воинов, стремящихся посеять ужас в постгероическом обществе Запада<sup>37</sup>. Их успеху не могут помешать даже особые меры, предпринимаемые полицией и секретными службами. И даже множество законов о безопасности не в состоянии защитить все открытые фланги постгероических обществ.

Такой же масштабной проблемой стали потоки беженцев, потерявших свой дом и средства к существованию в результате гражданской войны и отправившихся на поиски безопасной жизни в далекие районы зон процветания. Резкое увеличение количества беженцев из Сирии и Ирака, произо-

шедшее с 2014 года, служит предвестником того, чего можно ожидать в случае продолжения войны или ее распространения на прилегающие территории. Принимающие страны могут встречать беженцев враждебно или дружелюбно, но постоянное увеличение этого потока рано или поздно приведет к тому, что эти государства перестанут справляться или почувствуют, что не справляются, и тогда закроют свои границы. Таким образом, возведение новых границ и фронтов будет препятствовать управлению и контролю потоков «мира постмодернизма», а сама модель «потокowego» строя затмится возвращением территориальных понятий. Уже сейчас на границе между Мексикой и США, и в некоторой мере на южной границе Европейского союза в Средиземноморье можно наблюдать своего рода войны, в которых беженцев прогоняют обратно, а на тех, кто пересекает границу зон процветания, открывается охота.

Это создает неразрешимое противоречие между социально-экономическим функционированием процветающего Северного полушария, основанном на принципах глобальной экономики, где для обмена товарами, капиталом и информацией больше нет никаких границ, и пограничным режимом, с помощью которого Северное полушарие пытается защититься от мигрантов с юга, не в последнюю очередь подстегиваемых военными конфликтами и гражданскими войнами. Нормы, характерные для потоков и нацеленные на универсальность, сталкиваются на этих границах с защитной практикой партикуляризации. Для устранения этого резкого и неприемлемого нашим внутренним самосознанием противоречия или по крайней мере его смягчения можно попытаться возродить политику гуманитарного военного вмешательства, в последнее время несколько заброшенную, чтобы сдерживать или хотя бы уменьшить потоки беженцев. Важно: такие интервенции направлены не против самих беженцев, а против причин, заставляющих их покидать родные места. Решающим обстоятельством для успешности таких пацифистских вмешательств будет их *заблаговременное* инициирование, предшествующее проникновению гражданской войны в структуру общества. Ко-

нечно, это предполагает такое самосознание постгероических обществ, в котором дальновидная превентивная политика вытеснит практику самоблокировки. Как это будет выглядеть, еще предстоит увидеть. Тем не менее можно предположить, что многие из этих гуманитарных интервенций<sup>38</sup> будут осуществляться не с помощью войск тех держав, что планируют интервенцию, а миротворческими силами ООН, в качестве которых будут выступать войска стран Южного полушария (Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии). Еще одна возможность вмешательства для стран Северной Европы заключается в использовании глобальных рынков труда, предлагающих военных наемников, где можно завербовать целые военные формирования, принадлежащие частным военным компаниям. Финансовые ресурсы Севера в этом случае расходуются на то, чтобы заставлять представителей южных обществ удерживать других представителей Юга от их пути на Север. Война в Леванте может быть стать полигоном для выяснения этого вопроса в будущем.

**Постимперское пространство,  
неоимперские мечты:  
наследие Первой мировой войны**

В Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке Первая мировая война имела форму борьбы за принципы политической организации этого пространства: сохранится ли здесь мультинациональная, поликонфессиональная и многоязычная империя, либо этнические, языковые и религиозные разломы, таящиеся в этом регионе, проявят себя настолько, что вызовут образование отдельных политических единиц, устроенных по образцу европейских национальных государств<sup>39</sup>. До 1917–1918 годов Центральная и Восточная Европа находилась под властью австро-венгерской двуединой монархии и царской России, а Ближний Восток, по крайней мере, формально оставался под контролем Османской империи. Одна-

ко всем трем империям не хватало внутренней стабильности и возможности или желания модернизации правящей элиты, поэтому нарастающее требование более активного политического участия населения привело скорее к формированию центробежных сил, а не к росту внешнего потенциала, как это происходило в национальных государствах Западной Европы.

После заключения соглашения, превратившего в 1867 году Австрийскую империю в двуединую монархию Австро-Венгрия, управление Габсбургской империей осуществлялось из Будапешта и Вены; обе стороны по большей части мешали друг другу, и государственные дела шли довольно вяло. Меланхолические настроения уходящего блеска империи и ожидания апокалипсиса, преобладавшие в то время в Дунайской монархии, были популярны среди писателей и оставили долгий след в немецкоязычной литературе<sup>40</sup>. Тем временем в славянских районах империи стали нарастать стремления к культурно-национальной самостоятельности и политической автономии, что вызвало постепенное увеличение центробежных сил империи. В результате покушение на наследника двуединой монархии, совершенное австрийским сербом, стало непосредственной причиной начала Первой мировой войны. Во время Июльского кризиса 1914 года Вена сделала ставку на локальную войну, надеясь спасти империю, а затем использовать свой военный успех в качестве внутренней и внешней демонстрации силы и жизнеспособности двуединой монархии. Однако локальная война переросла в мировую, в ходе которой центробежные силы вместо того, чтобы уменьшаться, только нарастали; осенью 1918 года, когда поражение держав Центральной Европы было неизбежным<sup>41</sup>, империя Габсбургов треснула по своим этнически-национальным швам, и на ее обломках образовался целый ряд стран, которые с того момента пошли своими политическими путями. Был ли этот распад неминуем или стал одним из следствий войны, которого можно было избежать, не случись этой катастрофы, или благодаря политике разумных реформ, — этот вопрос до сих пор остается открытым<sup>42</sup>.

Вопреки ожиданиям, лежащим в основе мирных договоров, подписанных в Сен-Жермене и Трианоне, на территории бывшей империи Габсбургов не возникло стабильных, политически цельных национальных государств. На фоне конфликтной этно-национальной ситуации некоторые из государств проводили экспансионистскую политику, претендуя на дополнительные территории, в то время как практически во всех этих странах правление осуществлялось титульной нацией и воспринималось национальными меньшинствами как политика подавления, провоцируя появление сепаратистских движений<sup>43</sup>. Возникший в результате распада империи Габсбургов порядок стал благодатной почвой для формирования гитлеровской политики шантажа, которая в конечном итоге привела к началу Второй мировой войны. И только курс на уничтожение и изгнание меньшинств, взятый во время войны и в первые годы после ее окончания, а также пересмотр границ в результате Ялтинской и Потсдамской конференций привели к появлению практически однородных национальных государств в северной части Центральной Европы, в то время как на Балканах смешение наций все еще сохранялось. В начале девяностых годов это привело к распаду Югославии, сопровождаемому массовой резней и травлей.

С позиции сегодняшнего дня падение империи Габсбургов выглядит политической катастрофой, последствия которой ощутимы до сих пор. Восточные районы бывшей Австро-Венгрии в настоящее время образуют западный край кризисной зоны, лежащей между центральными Балканами и Каспийским морем, который как заноза маячит на фоне зоны благоденствия ЕС. И все же европейцы, поначалу с помощью США, сумели построить здесь хрупкий мир, который, конечно, требовал постоянного наблюдения и контроля. Вытеснение русских с Балкан стало решающим фактором для достижения этого успеха, в результате чего, наконец, и в Сербии смогли одержать верх прозападные силы, связав с Евросоюзом перспективу безопасной жизни и процветания. Основные игроки в этом пространстве в настоящее время ориентирова-

ны на «Европу», а более мелких участников, способных стать определенной помехой в Боснии и Герцеговине и в Косово, будет держать под прицелом присутствие европейских сил безопасности. В целом, пока еще весьма хрупкий мир на Балканах основывается на том, что ЕС «подкупает» потенциальных нарушителей скромными алиментами или перспективами на лучшую с материальной точки зрения жизнь. Однако такое положение представляет собой переходную фазу, которая через какое-то время, если эти взаимосвязи не ослабнут, выльется в принадлежность к европейской зоне процветания. Основным требованием для этого перехода является экономический потенциал Европы, за счет которого происходит процесс «подкупа», и наличие политически стабильной среды, на создание которой и нацелено продвижение Евросоюза на восток. Отсутствие одного из факторов приведет к возвращению политически обоснованного насилия на Балканах.

Такая относительно успешная балканская примирительная модель не может быть перенесена на кризисные и военные зоны Украины и Кавказа. Во-первых, потому что с геополитической точки зрения блокировать российское влияние и игнорировать военную мощь России в этих регионах невозможно, а во-вторых, поскольку еще один проект примирения наподобие балканского приведет к политическому и экономическому перенапряжению ЕС, с которым он может не справиться. Уже сейчас в южных и восточных регионах появляются центробежные силы, которые без связующего центрального звена могут обречь на гибель весь европейский проект<sup>44</sup>. Для восточной половины постимперского пространства необходимо искать другие методы, отличные от обещаний процветания, оказавшихся эффективными для западной части. К тому же в отношении Черноморского региона следует учитывать то, что большая часть этих областей изначально принадлежала царской России, а до 1991 года — Советскому Союзу, поэтому в неоимперских мечтах политической и культурной элиты России эти земли по-прежнему играют важную роль<sup>45</sup>. Насколько важны эти неоимперские мечты и как силь-

но они могут определять политические действия российской элиты, пока непонятно. Но, несомненно, Запад просто обязан учитывать этот фактор в своих политических расчетах.

К тому же эту территорию разрывают культурные конфликты, происходившие на протяжении долгой истории региона: так, например, западная часть современной Украины долгое время находилась в составе Польши, затем была присоединена к Габсбургской империи, а после снова вошла в состав Польши, в то время как центральная и восточная части Украины стали неотъемлемой частью России еще при русском царе Иване IV<sup>46</sup>. Таким образом, образования ориентированного на нацию государства, сравнимого с западноевропейской моделью формирования национальных государств или типичным центральноевропейским этногенезом, на Украине не происходило<sup>47</sup> — началось оно лишь с крахом имперского порядка, поддерживаемого контролем Москвы или Санкт-Петербурга. В отличие от Балкан и Кавказа, здесь в формировании противоречий политического строя большую роль играли не этнические или религиозно-конфессиональные различия, а политико-культурные представления о собственной принадлежности и конкуренция за сферы влияния. На западе, а теперь и в центре Украины население чувствует свою принадлежность зоне процветания Евросоюза и желает войти в ее состав, в то время как на востоке страны многие тяготеют к России и расценивают ЕС как чуждую западноевропейскую культуру.

Если рассматривать *правящую политическую элиту* Европы с точки зрения имперского пространства<sup>48</sup> и спроецировать на него неоимперские мечты, распространенные в кругах российской элиты,<sup>49</sup> то граница зон влияния обеих сторон проходит ровно по центру Украины. Таким образом, в среднесрочной перспективе есть только два возможных решения конфликта: либо разделить страну на две части, одна из которых присоединится к ЕС, а другая отойдет к Российской Федерации, либо превратить Украину в буферную зону, которая разделит оба региона и одновременно свяжет их между собой. Какое бы

направление ни принял этот процесс, он будет проходить мирно и эффективно только в том случае, если Россия и Европа будут видеть друг в друге партнеров, а не конкурентов. Если этого не случится, то в приграничных районах обеих зон будут постоянно давать о себе знать замороженные конфликты и гибридные войны, а оба игрока будут вынуждены тратить значительную часть своего ВВП на военные расходы. Военная сила будет приобретать все больший вес по сравнению с экономической силой, а Россия и Европейский союз, ввиду необходимости постоянного внимания и затрат, связанных с этой зоной, не смогут принимать участия в мировой гонке за управление потоками. Короче говоря: затянувшееся противостояние между Россией и ЕС приведет к тому, что оба игрока утратят свою роль в формировании мирового порядка XXI века.

Война на востоке Украины невероятно важна для будущего мирового порядка, но совсем не в том смысле, в каком полагают многие, предупреждая о неоимперских выступлениях России и запугивая новым русским экспансионизмом, осуществляемым посредством военной силы. Они забывают, что экономическая мощь России слишком мала, а ее экономическая уязвимость слишком велика, чтобы суметь реализовать проект евразийской империи, о которой, среди прочих, говорит Александр Дугин<sup>50</sup>. Проблема применения военной силы на фоне использования экономической власти, как в случае присоединения Крыма и войны на востоке Украины, заключается в разных временных ритмах. К этому европейцы оказались не готовы, и теперь им придется над этим потрудиться, раз уж на американскую помощь в таких случаях больше рассчитывать не приходится — не только потому, что Соединенные Штаты перенесли свое внимание с Атлантики на Тихий океан, но и потому, что подобное смещение границ уже не воспринимается Америкой как удар по гарантированному ими миропорядку. Но и опасения со стороны России в отношении экспансии Европейского союза, основанной на его экономической мощи, выглядят скорее безосновательными: политически-культурная неоднородность и социально-структурные



различия в ЕС в свете расширения в южном и восточном направлениях теперь настолько велики, что главной заботой европейцев остается сохранение единства союза на ближайшие годы и десятилетия, а не его дальнейшее расширение.

И у России, и у ЕС ко всему прочему есть дополнительная проблема в виде кризисного пространства на Ближнем Востоке — для России это еще и Средний Восток, а для европейцев — страны Магриба и тропическая Африка. Но решить ее можно только сообща. Таким образом, в центре внимания оказывается еще и третья из расколотых во время Первой мировой войны великих держав — Османская<sup>51</sup>. В 1914 году войну выбрала не только Габсбургская монархия, решившаяся на это в надежде скрыть свою слабость за внешней демонстрацией силы, а при удачном исходе еще и преодолеть ее, но и Османская империя, которая к началу войны находилась за рамками европейских союзов и четко прописанных в них обязательств. По идее, туркам нужно было сохранять позицию нейтралитета и дожидаться окончания войны, как потом они поступили во Второй мировой войне. Однако решение Турции вступить в войну на стороне стран Центральной Европы было связано, с одной стороны, с внутренней слабостью империи, которую с XIX века даже называли «больным человеком Европы», а с другой — с коренными изменениями, произошедшими в политических отношениях альянсов Восточного Средиземноморья и Кавказа, в ходе которых Стамбул утратил поддержку своих защитников, Великобритании и Франции. Из-за этого Турция ощущала особое давление со стороны России и ожидала, что англичане и французы, в обмен на военную поддержку России против Германии, могут пойти ей на уступки в отношении контроля проливов Босфор и Дарданелл и в продвижении русских войск до Северной Месопотамии. И то и другое было важной целью России, которую она открыто преследовала с XIX века и которая в середине века заставила англичан и французов вступить в Крымскую войну на стороне Османской империи<sup>52</sup>. Во многих немецкоязычных источниках, повествующих о Первой мировой войне, этот аспект войны либо

совершенно упускается из виду, либо преподносится как нечто второстепенное. Однако для полного понимания хода войны необходимо учитывать «восточный вопрос»<sup>53</sup>.

Опасения политического руководства Османской империи, боявшегося пасть жертвой держав-победительниц, были связаны с тяжелыми поражениями, понесенными Турцией в 1911 году в Ливийской войне с Италией и в Первой Балканской войне 1912 года, в борьбе против коалиции балканских сил. К унижительному поражению добавилось изгнание мусульманского населения с бывших османских территорий<sup>54</sup>. Одним словом, политическое руководство Османской империи искало спасения в войне, которая в первую очередь была направлена против России (и особенно против ее Кавказского фронта), но в то же время, вследствие британского наступления в Месопотамии, Палестине и на полуострове Галлиполи, обернулась защитой своих южных фронтов и, несмотря на значительную поддержку со стороны союзных Центральных держав, была проиграна<sup>55</sup>.

В 1916 году британец Марк Сайкс и француз Франсуа Жорж-Пико в сотрудничестве с министром иностранных дел России Сергеем Дмитриевичем Сазоновым договорились о разграничении сфер интересов, на которые их державы претендовали в результате банкротства Османской империи (заключив в 1918 году Брест-Литовский мирный договор, Россия выбыла из числа претендентов). После 1918 года англичане и французы отказались от создания колоний и удовлетворились новыми подмандатными территориями и назначением в них своих ставленников-правителей. Границы между территориями чертились по линейке и до сих пор не утратили своей актуальности, а все попытки объединить территории в более крупные государства терпели неудачу, провоцируя отчасти идеологическую, отчасти религиозную конкуренцию между ведущими арабскими странами. Эти обстоятельства препятствовали формированию единого национального сознания среди населения, поэтому в условиях политического распада племенная принадлежность стояла выше принад-

лежности к нации. С 1980-х годов еще одной линией разлома стал конфессиональный антагонизм суннитов и шиитов. Таким образом, арабский мир демонстрирует все признаки, характерные для постимперского пространства. Свержение иракского диктатора Саддама Хусейна стало первой искрой, запалившей пожар на территории этого постимперского мира. Государство Израиль, образованное в 1948 году на бывшей британской подмандатной территории, долгое время считалось гарантом арабского единства, ибо расценивалось арабами как общий враг. Но в 1977 году, после заключения мира между Египтом и Израилем, все изменилось: с этого момента внутренние конфликты арабского мира стали важнее противостояния с Израилем.

Провозгласив халифат и отменив границы между Сирией и Ираком, боевики Исламского государства сделали ставку на постимперский характер данного пространства<sup>56</sup>. Демонстративное нарушение границы, установленной одной из западных держав, запечатленное на видео и запущенное в интернет, наделило вооруженное противостояние ИГИЛ политическим смыслом, нехарактерным для *Аль-Каиды*, целиком и полностью сконцентрированной на борьбе с США и Израилем. Районы, контролируемые ИГИЛ, как магнит, притягивают джихадистов со всего арабо-исламского пространства. Если этот проект окажется успешным или найдет достаточное количество последователей, тогда под вопросом окажется не только дальнейшее существование некоторых правящих династий, таких как Хашимиты в Иордании или Саудиты в Саудовской Аравии, но и сохранение границ между государствами. Динамика этого процесса стала причиной нерешительной реакции Запада на крупные успехи, достигнутые ИГИЛ летом 2014 года: с одной стороны, западные страны опасаются расширения конфликта и возникновения крупной войны в этом пространстве, с другой — они не хотят создавать впечатления новой колониально-имперской интервенции, поскольку подобное приведет к делегитимации любого сформировавшегося в результате этих действий режима. Несомнен-

но, в этом проявляется политическое благоразумие, которого в прошлом часто недоставало Соединенным Штатам. Однако разумная сдержанность в данном случае может быть истолкована как слабость и нерешительность, что даст повод боевикам ИГИЛ на дальнейшее продвижение своих целей и расширение границ халифата на новые территории. В то же время упразднение границ ведет к появлению новых участников, например курдов, которые теперь видят в войне реальный шанс обрести свое собственное государство, которое после Первой мировой войны казалось им таким близким, но в результате оказалось недостижимым из-за решительных действий Кемалю Ататюрка. Множество признаков свидетельствует о том, что европейцы не будут вступать в эту войну, хотя не исключено, что в итоге все окажется по-другому. Особенно если неоимперские мечты охватят и турецкую политику. Глядя на войну на востоке Украины и в Леванте, очередной раз убеждаешься, что слова Джорджа Кеннана о Первой мировой войне как «исторической катастрофе XX века»<sup>57</sup> можно с уверенностью отнести и к XXI веку.

### 13

#### «Пространство» в XXI веке.

#### Геополитические разломы и сдвиги

#### Пространственные границы, перевороты и сжатие пространства

Любое пространство немислимо без границ; пространства не могут простирались бесконечно, по крайней мере если речь идет о *политических* пространствах. Там, где пространства бесконечны, они утрачивают категорию множественного числа, превращаясь в политически неопределенное коллективное единство — «пространство». Поэтому понятие «пространства» скорее относится к философии или физике, но не к политике. Происхождение политического режима зависит от отгоражи-

вания от пространств и проведения границ в пространствах, а значит, от локализации пространства, на территорию которого режим претендует. Политический режим не может быть безграничным. Это также относится и к империям, которые заявляют о владении всем «миром». При более внимательном рассмотрении этот «мир» оказывается пространством, занимающим на имперских картах центральное положение, за пределами и на окраине которого цивилизации уже попросту нет<sup>1</sup>. По крайней мере, карты создают такое впечатление. Но это говорит только о том, что политические претензии имперского режима простираются лишь до тех пределов, которые империя сама установила в качестве границ цивилизации.

В свою очередь бесконечность пространства символизирует отсутствие политического режима. Если «пространство» не является политическим термином, то понятие «пространства», несомненно, входит в состав базового политического лексикона<sup>2</sup>. Границы, придающие пространству или пространствам политический характер, могут быть как четко очерченными и стационарными — в английском языке это называется *border*, — так и представлять собой пограничные пространства, которые с течением времени могут двигаться туда-сюда — по-английски это будет *frontier*. Каким образом прокладываются границы, для классификации пространства в политическом контексте не так уж важно. Решающим фактором служит именно разграничение, которое преобразует до-политическое пространство в политические пространства. Четкие границы, с помощью которых политические пространства отделяются друг от друга (*borders*), как правило, характерны для государственной системы, то есть для полицентричного строя, в то время как пограничные пространства, в которых претензия на господство постепенно утрачивает свою пробивную силу, связаны с имперским режимом однополярного типа. Государства граничат непосредственно друг с другом; империи владеют «мирами», а за их пределами лежат пространства, не знающие политического порядка, по крайней мере, с точки зрения пространствообразующей империи<sup>3</sup>.

На эти местами четкие, местами размытые границы могут по-разному влиять геологические формации — горы, реки, озера и моря — самые разнообразные цивилизационные проявления и технологические возможности, ускоряющие передвижение в пространстве: от использования лошадей и верблюдов, строительства судов и кораблей и изобретения колеса до налаживания железнодорожного сообщения. Кроме того, владение обширными метеорологическими и климатическими знаниями также могло оказывать влияние на изменение пространств. В контексте возникновения пространства это означает, что его границы зависят не только от природных данных, но могут постепенно изменяться и формироваться заново, и что новые знания и совершенствование технологических возможностей заставляют политику постоянно быть начеку. Накапливание знаний и совершенствование возможностей при этом, как правило, приводят к *сжатию пространства*: то, что раньше казалось огромным и необъятным, теперь внезапно оказывается тесным и неприметным. В XIX веке причиной подобного сжатия пространства стало железнодорожное сообщение, в XX веке — самолет, а позже — интернет. Конечно, в истории есть примеры противоположного процесса *растяжения пространства*, например, вследствие распада политического строя и его инфраструктуры: гибель Римской империи привела к разрушению всех коммуникационных и торговых связей империи, в результате чего место политически и экономически интегрированной агломерации заняло множество мелких политических режимов.

Перевороты пространства всегда приводили к обострению политических баталий и военных конфликтов, поскольку были связаны с прежде недоступными новыми формами пространственной колонизации<sup>4</sup>. Перевороты пространства разрушают этические и правовые самоограничения, возложенные на себя политиками и военными в условиях аналогичного доступа к пространству. И потому практически всегда они представляют собой фазы неуправляемого насилия, как видно по военным действиям европейских держав, направленным

против народов новых миров. Симметричные войны между равноценными субъектами, то есть войны, в которых ни одна из сторон не может использовать плоды пространственного переворота единолично, но в которых каждый получает равный доступ к пространству и времени, как правило, приводили лишь к незначительным изменениям границ<sup>5</sup>. При этом завоевания в ходе пространственных переворотов зачастую были весьма обширными и фундаментальным образом меняли политический строй всего региона. Особой радикальностью отличались те перевороты, в которых пространственная колонизация представлялась не в качестве *завоевания*, а как *открытие*. Такое случалось там, где высокоразвитая цивилизация встречалась с общинами, которые еще даже не пережили неолитическую революцию и, соответственно, не сформировали понятия собственности на землю. Любые притязания на вещное право в общинах охотников-собираателей основывались на том, что убитые на охоте животные и съедобные растения добывались сообща; понятия собственности на землю, то есть юридического исключения других претендентов из числа пользователей определенной территорией, у охотников-собираателей еще не существовало. При кочевом образе жизни подобное явление не могло сформироваться; впервые оно появилось только после освоения стационарного земледелия или разведения домашнего скота, став правовой формой разграничения пространств. Земельные владения с этих пор обременялись имущественными претензиями и имели соответствующие маркировки, свидетельствующие о коллективных или индивидуальных эксклюзивных правах. После неолитической революции, то есть перехода общества от стадии охотников и собирателей к экономике сельского хозяйства и животноводства, «регистрация» притязаний на имущество имела вид земельных границ — межевых камней или заборов, и чтить эти маркеры в случае необходимости заставляли силой. Границы и пограничная разметка служат определяющими факторами не только при формировании власти, но и при организации причитающегося ей пространства.

Европейская экспансия в Азию и Новый Свет, начавшаяся в XV веке, стала следствием еще одного переворота пространства, благодаря которому политические и общественные границы обрели глобальный масштаб. Географ Эрнст Капп<sup>6</sup> обуславливал сжатие пространства, связанное с эпистемным и техническим прогрессом, и усиление контроля пространств, основанное на развитии энергетических ресурсов, географических знаний и технических навыков, сменой речных, морских и океанических имперских образований. За речными имперскими образованиями, располагавшимися у крупных рек, таких как Нил, Тигр и Евфрат, Янцзы и Хуанхэ, следовали империи морские, сконцентрированные вокруг внутренних морей, как, например, Римская империя с центром в Средиземноморье, Морская Республика Венеция на берегах Адриатического моря или шведская империя XVII века, господствующая на Балтийском море<sup>7</sup>, пока на смену им не пришли государства, для которых источником власти и благополучия служил океан. Выгоду от океанического пространственного переворота, помимо Испании, получили Португалия, Нидерланды и, наконец, Великобритания<sup>8</sup>.

Крупные и знаменательные пространственные перевороты упраздняли существующий строй и выводили на первые роли тех, кто первым обретал новые знания и развивал в себе навыки их использования. Так в XV и, соответственно, в XVII веке появились *рожденные морем империи* португальцев и голландцев, которые своим влиянием и мощью были обязаны не количеству подконтрольных территорий, а флоту и владению морскими навыками, благодаря которым они смогли превратить океаны, прежде хоть и судоходные, но все же неподвластные, в источник своей силы и богатства. Морское превосходство было ключевым ресурсом этих удивительных империй, позволившим им с помощью фиксированного и вполне приемлемого для небольших игроков сбора изменить структуру власти, навязанную сухопутными державами, и при этом добиться положения, которого они никогда не могли бы обрести на земле<sup>9</sup>.



Пространственные перевороты XV и XVI веков и их последствия заслужили подробного описания лишь потому, что они могут служить основой для анализа, дающего возможность осознать все те трагические изменения, что происходили на рубеже XX–XXI веков или все еще ждут нас впереди. В то время как морские империи голландцев и португальцев сохранили за собой свою территорию — пусть даже речь идет о весьма небольших, почти неприметных пространствах, которые без своего морского обеспечения не играли никакой роли в соперничестве с крупными сухопутными державами, — иные, нетерриториальные политические образования, не имеющие *правлящей политической элиты*, на данный момент переживают период роста, при этом оставаясь неуязвимыми и, следовательно, не поддающимися никакому запугиванию<sup>10</sup>. Среди них, помимо террористических организаций, таких как *Аль-Кауда*, также поставщики военных услуг, так называемые частные военные компании (*Private Military Companies*), имеющие возможность проводить свою собственную политику<sup>11</sup>. Также к ним относятся крупные спекулянты, способные парой нажатий на компьютерную мышь пошатнуть экономику целых государств, и транснациональные НПО наподобие «Гринпис», оказывающие влияние на политические события с помощью сенсационных кампаний или ярких манифестаций. Для пространственных переворотов, с которыми мы имеем дело сегодня, характерен закат эпохи политической монополии суверенных государств и связанное с этим коренное изменение всей грамматики войны и мира. Более подробное рассуждение на эту тему представлено ниже.

### **Пространственные и нормативные перевороты**

Для начала необходимо взглянуть на то, как пространственные перевороты представлены в политической теории: целый ряд описательных и предписывающих элементов сводится

к определению масштабов изменений, изучению их возможностей и перспектив, исследованию стратегических ресурсов и поиску нормативных обоснований для новых границ. Восприятие пространственных переворотов в рамках политической теории может быть двояким. С одной стороны, это максимально точное представление о создавшемся положении наряду с оценкой сильных и слабых сторон держав, распределяющих эти пространства между собой и распространяющих на них свою власть. С другой — это формирование нормативного строя, в котором результаты пространственного переворота оказываются приемлемыми для всех сторон, то есть становятся утвержденным на законных основаниях, а не в контексте сложившейся структуры власти, строем, принимающим обязательный характер. Только нормативное оформление результатов пространственных переворотов способно обеспечить мирное сосуществование людей и установить правила, в соответствии с которыми должны решаться конфликты, в том числе при необходимости с применением силы<sup>12</sup>.

Бенефициары пространственных переворотов, как правило, определяют обновленный свод ценностей, норм и правил, применимых к новому строю пространств. Все те, кто остался обделенным в результате пространственного переворота, вынуждены ограничиваться отстаиванием своего охранительного права и сохранением пережитков старого строя, таким образом создавая некий переходный период для адаптации к новому порядку. Им это может удаваться в той или иной мере, но, как бы то ни было, строителями нового правового порядка остаются бенефициары пространственных переворотов, а не они, и все потому, что спровоцированное бенефициарами, а точнее расширением их направляющей силы и увеличением зон влияния, сжатие пространства ведет к необходимости генерализации и универсализации, против которых приверженцы старого строя, выступающие на стороне частности, ограниченности, обособленности, не имеют никаких шансов<sup>13</sup>. Они проигравшие в нормативном перево-

роте, сопровождающем переворот пространственный. Это значит, что нормативный строй общества и царящая в нем политическая власть всегда являются продуктом господствующей концепции пространства. Основное правило здесь звучит так: чем крупнее пространства, нуждающиеся в политической и экономической интеграции, тем мощнее и значительнее законы универсализации, определяющие права и мораль строя. Пространственные перевороты знаменуют собой трансформацию (отдельных) ценностей в (универсальные) нормы и, следовательно, служат предпосылкой процесса, который обычно характеризуется как «моральный прогресс».

В связи с этим религиозные ценности в эпоху глобализации должны соответствовать нормам, дабы иметь общее признание, а не служить источником конфликтов или войн<sup>14</sup>. Модернизация ислама и, соответственно, его толкований, распространенных в первую очередь в арабском регионе, проблематична в связи с тем, что его последователи провозглашают ценности, которые не поддаются ни культурной, ни экономической универсализации, и могут распространяться в глобальном масштабе только с применением силы. Это стало причиной одного из главных политических конфликтов нашего времени. Этот конфликт, помимо прочего, является следствием разграничения политического и культурного пространства, за счет которого стало невозможным четкое религиозное деление территории на моноконфессиональные области, как этого хотят террористы. В прежние времена с исламистами можно было бы договориться за счет территориальных разграничений: обязательства религиозных убеждений ограничивались определенной территорией и теряли свою силу за пределами территории, на которой имела силу другая религия, где религиозное принуждение, обусловленное пространственными границами, смягчалось Правом смены территории — *ius emigrandi*. Сегодня подобное уже невозможно. Навязывание религии силой, как в случае боевиков ИГИЛ в Сирии и Северном Ираке, расценивается как чистое варварство и культурное разорение.

Силы прежнего порядка значительно уступают силам, сформировавшимся на основе пространственного переворота, в возможностях модернизации, поскольку последним удалось вписать свое техническое превосходство в систему представлений человеческого прогресса, тем самым приняв на себя функцию носителя идей этого прогресса. Это оказалось возможным благодаря упразднению старых границ и обособлений, казавшихся на фоне нового строя воплощением произвола и отсталости. Пространственные перевороты, таким образом, всегда выступают в качестве инструмента делегитимизации старых режимов и их систем ценностей.

В качестве примера можно привести следующее: сегментарное многообразие Священной Римской империи в начале XIX века не имело ни малейшего шанса противостоять Наполеону, когда тот проводил в Европе новые границы и устанавливал новые законы, отвечавшие требованиям расширенных в результате разграничений пространств гораздо лучше, чем прежние правовые нормы с характерными для них особыми правами и привилегиями, а также узостью политических масштабов. Архаичное старое право уже не удовлетворяло требованиям нового строя. «Великий юрист сидит в Париже», — писал тогда Гегель<sup>15</sup>. Именно поэтому Наполеон какое-то время воспринимался не как разрушитель и завоеватель, а как освободитель и реформатор. Подорвав устои старого права, основанного на тесных взаимоотношениях внутри весьма ограниченного политического пространства, и заменив его в *Гражданском кодексе* универсальными понятиями и правилами, он выступил в качестве инструмента, нормативно закрепившего пространственный переворот. Кроме того, он служил его исполнителем, ибо первым осознал значение пространственного переворота для стратегического и тактического использования военной силы. В основе стратегического гения Наполеона лежали новые представления о пространстве и времени, а также идеи их использования в военных операциях. При проведении военных операций Наполеон делал ставку на ускорение, но не тактическое,

а стратегическое, в результате которого происходило асимметричное сжатие пространства: Наполеону пространства казались меньше, чем его противникам, оттого он завоевывал их по своему усмотрению. И только избрав в качестве противника Россию, территория которой была настолько огромной, что наполеоновский метод сжатия пространства просто не мог на ней сработать, Наполеон потерпел поражение. Подробное описание этого можно найти в монументальном сочинении прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица «О войне»<sup>16</sup>.

Процесс объединения Европы — или унификации Европы — следует аналогичным правилам и законам. Защитники старого порядка, пользующиеся терминологией территориального суверенитета, если верить наблюдениям, находятся в совершенно безнадежном положении. Они могут сопротивляться, но в конечном счете они проиграют, поскольку пространственный переворот приведет к тому, что в глобальном масштабе останется всего пять, а возможно, и три игрока, способных на какие-либо действия. Если Европа хочет войти в их число, она должна решительно действовать как один из игроков<sup>17</sup>. Эти игроки могут проявлять определенное многообразие внутри своего пространства, а Европа является признанным хранителем такого многообразия, но если она примет участие в формировании нового миропорядка, это многообразие будет иметь скорее фольклорный характер, нежели форму реальных границ в пределах политического пространства. Если же внутреннее разнообразие распространится и на внешнеполитические и охраняемые действия Европы, поставив под вопрос экономическую сплоченность европейского пространства, то принимать участие в формировании нового строя Старому Свету уже не придется.

Конечно, при подобных трансформациях политических и экономических пространств всегда есть проигравшие и победители, так или иначе затронутые упразднением старых границ и сопутствующих им прав и привилегий. Классические различия между традиционалистами и модернизато-

рами, консерватизмом и прогрессом обретают еще большее значение для политических пространств, как только социальные и психологические последствия недавнего разграничения, произошедшего вследствие пространственного переворота, становятся особенно ощутимыми. В Европейском союзе уже рассматриваются протекционистские проекты, направленные на смягчение последствий, вызванных расширением экономического пространства. Однако эти последствия выглядят микрополитическими явлениями на фоне тех масштабов, в которых разворачиваются пространственные перевороты. Дискуссии в рамках Европейского союза, посвященные новым экономическим и социальным проблемам, не в последнюю очередь затрагивают вопрос о значении микрополитических последствий на фоне глобальных проблем, вызванных недавним пространственным переворотом. Однако вернемся к макрополитической плоскости и рассмотрим ее в контексте геополитической теории.

В начале XX века развернулась целая дискуссия между сторонниками американского адмирала Альфреда Тайера Мэхэна, видевшего ключ к мировому господству в морском превосходстве, и британского географа и геополитика Хэлфорда Маккиндера, предрекавшего закат Колумбовой эпохи и смещение центра силы с моря на сушу<sup>18</sup>. В некотором смысле для Европы оказалось роковым то обстоятельство, что кайзер Вильгельм II и адмирал Тирпиц, создатель германского ВМФ, были яркими сторонниками Мэхэна, в то время как в Англии набирали популярность идеи Маккиндера, обнародованные в 1904 году, согласно которым союз *Хартлэнда и Римленда*, а точнее России и Германии, мог пошатнуть мощь Британской империи, а значит, этому нужно было всеми силами воспрепятствовать. Маккиндер объяснял смещение геополитического центра с моря на сушу появлением и развитием железнодорожной системы, то есть перестройкой всей транспортной системы, в которой теперь вместо физического труда использовалась энергия полезных ископаемых, что позволило начать освоение огромных про-

странств Евразии и использовать добытое сырье в качестве государственных ресурсов. В результате морское сообщество утратило свои транспортно-технологические преимущества, выделявшие его на фоне сухопутного. В то время как кайзер Вильгельм и адмирал Тирпиц начали строительство флота, надеясь за счет военно-морского превосходства обеспечить Германии признание в качестве равноправного партнера, британцы решили перевести свое противостояние с Россией в Центральной Азии и на Ближнем Востоке в формат сотрудничества, таким образом положив конец *Большой игре* — так называли эту конфронтацию — и начав постепенное сближение с Антантой, объединявшей Францию и Россию против Германии. Последствия этого хорошо известны: немецкая империя оказалась в политической изоляции, которая все больше и больше воспринималась как военная угроза. Таким образом, геополитические теории внесли и свой вклад в начало Первой мировой войны<sup>19</sup>.

В вопросе влияния геополитических теорий на формирование довоенной системы европейских союзов, рассматриваемом в контексте геополитических потрясений и волнений в XXI веке, большое значение имеет тот фактор, что не только фактическая перестройка пространства, то есть сам пространственный переворот, но и ее осмысление и теоретизация могли серьезно повлиять на ситуацию, сложившуюся в отношении союзов. Предпосылкой тому служит исключение из процесса анализа теоретических толкователей и включение в него непосредственных участников действий, в результате чего потенциальные опции превращаются в стратегические директивы. Наличие целого ряда предупреждающих и запрещающих знаков, сопровождающих термины «геополитика» и «геостратегия», возможно, связано именно с тем, что идеи, представленные этими концепциями, способны обрести политическую самостоятельность, становясь неподвластными контролю со стороны теоретиков<sup>20</sup>. Геополитическое мышление всегда имеет далеко идущие последствия и вместе с тем порой может быть довольно опасным.

## Вестфальская система

С XIII по XVII век на территории Европы сформировалась система политических пространств, сохранявшаяся до конца XX века и все еще оказывающая серьезное влияние на соблюдение принципов международного права в международных отношениях. Ее исходным пунктом служит территориальное государство, получившее монополию на политическую деятельность благодаря так называемой — в первую очередь американскими политологами — Вестфальской системе. Рассмотрим международный порядок и международные отношения в контексте Вестфальской системы. Здесь система политических пространств представляет собой совокупность суверенных государств, где соответствующим разграничением служит наличие границ между этими государствами. Генеральная Ассамблея ООН в некотором смысле является символическим отображением такого политического устройства; постепенная утрата значения, с которой Генеральной Ассамблее ООН пришлось столкнуться в течение последних десятилетий, связана с происходящим в этот момент пространственным переворотом, заменой старого строя новым. В дополнение к Вестфальской системе с конца XX века в мире фактически сформировалась еще одна система политического пространства, которую мы обычно называем транснациональной и в которой государства больше не являются основными игроками или даже политическими монополистами, а вынуждены делить власть и влияние с надтерриториальными игроками: неправительственными организациями, глобальными компаниями, такими как Google или Facebook, государственными объединениями или даже империями. Переворот в политическом пространстве, продолжающийся с конца XX века, материализовался в этих транснациональных игроках. Для того чтобы осознать пространственный переворот, необходимо взглянуть на истоки той государственной системы, которая в настоящее время постепенно утрачивает свое значение.



Основным элементом этой системы было и продолжает оставаться воплощение политической составляющей в суверене и территориальности пространства, которым он управляет<sup>21</sup>. При этом неважно, кем представлен этот суверен — монархом или нацией. Тесное переплетение личных отношений, характерное для политического строя эпохи Средневековья, за счет подъема суверенных государств сменилось порядком, в котором лояльность народов была связана с местом их проживания или происхождения. Здесь они подчинялись законам и указаниям суверена. Ансамблевые государства Средневековья (*Personenverbandsstaat*), как назвал их историк права Теодор Майер<sup>22</sup>, основанный исключительно на личных взаимосвязях, а не на территориальном разграничении (что было возможно только при условии заведомо небольшого масштаба политических и социальных отношений), сменилось институциональным территориальным государством современной Европы, что привело к чудовищному пространственному перевороту в политике.

История права и политическая история долгое время занимались вопросом формирования концепции суверенного мышления как перехода от личностных отношений, основанных на взаимности, к всеобщим отношениям на основе подчинения, но не менее важным при этом было сопутствующее этому процессу пространственное ограничение претензий на суверенитет, предъявляемых к ограниченной территории. Внутри этой территории суверенитет оставался неограниченным, но за ее пределами он больше не играл никакой роли, поскольку здесь вступали в силу властные притязания другого суверена. Таким образом достигалась полная однозначность обязательств, при которой конфликты лояльности и вопросы вассального соперничества, характерные для политического порядка Средневековья, снимались благодаря четким субординационным отношениям и управленческим структурам. Иерархия как политический принцип организации пространства заменялась пространственной сегрегацией в виде сосуществования государств. Для нового порядка было ха-

рактарно, что компетенция в отношении принятия решений и ожидание лояльности в рамках концепции суверенитета были неограниченными, но при этом расширение полномочий ограничивалось тем пространством, на которые они распространялись: например, *король Франции (rex Franciae)* считался *свободным от ответственности (legibus absolutus)* и не признавал *верховенства (superiorem non recognoscens)* ни императора, ни папы, но при этом его возвышение наряду с ограничением его полномочий рамками светской деятельности (*временной — in temporalibus*) ограничивалось территорией французского государства (*его царством — in suo regno*)<sup>23</sup>.

Эту новую преданность и послушание поначалу приходилось использовать против конкурирующих сторон, при этом дело доходило до ожесточенных схваток с организованными силами, действующими вне территорий и границ и привязанными к людям, а не к конкретному региону. Борьба Филиппа Красивого Французского против тамплиеров и кровавое поражение братства на подвластной ему территории Франции нашли отражение во множестве литературных источников, повествующих о загадочных сокровищах рыцарского ордена и невероятной жестокости, которая применялась к последним представителям братства в надежде выпытать все тайны об их богатстве. Хотя с политической точки зрения вся эта ситуация выглядела как попытка нейтрализации внетерриториальной сетевой организации, даже можно сказать, вооруженной неправительственной организации, которая во славу борьбы за Святую землю сформировала на территории Франции целую сеть из сторонников и накопила серьезные активы, что для нового порядка политических пространств было неприемлемым. В отличие от тамплиеров Немецкий рыцарский орден обосновался в Пруссии, а орден Святого Иоанна — на Мальте, таким образом, сумев адаптироваться к новым политическим обстоятельствам. Подобное позднее повторялось во время соперничества территориальных правителей с торговыми городами Ганзейского союза. Реформация в Западной и Северной Европе пришла на помощь

этой перегруппировке политического пространства, делегитимизировав притязания на власть и налоги Римской курии, которая распространила свою власть на обширные территории и по сравнению с рыцарскими орденами представлявшей собой более крупную и мощную институцию с транс-территориальными претензиями. Так что не удивительно, что возникшее в результате этого французское территориальное государство под предводительством Филиппа Красивого вступило в конфликт со Святым престолом.

Перенос основы политического строя с личности на территорию наряду с формированием понятий защиты и обязательств, то есть защитных обязательств государства перед своими гражданами и, соответственно, обязательств граждан перед своим правителем, обладало еще одним эффектом: оно способствовало образованию *правлящей политической элиты*, которая в случае конфликтов между правителями становилась объектом нападений и репрессий. Благодаря физической уязвимости правящей политической элиты политики, решаясь на нападение на политический истеблишмент соседей, тщательно взвешивали свои затраты и предполагаемые выгоды, поскольку вполне могли рассчитывать на ответный удар по собственной *правлящей политической элите* со стороны противника. Таким образом возникла система взаимной уязвимости и разрушительного потенциала, которую в более широком смысле можно назвать симметричной. Нетерриториальные игроки, то есть те, кто не вошел в *правлящую политическую элиту*, представляли собой систематическую угрозу, ибо извлекали из своего положения выгоду, которая в противостоянии с суверенным государством приводила к возникновению асимметричных обстоятельств. Таким образом уязвимость и разрушительный потенциал политической воли взаимно сдерживали друг друга в условиях укрепления политической элиты, принадлежность к которой постепенно становилась критерием допуска к политической власти современной Европы<sup>24</sup>. Рядом с потенциалом в Вестфальской системе всегда оказывалась уязвимость. И хотя это не приве-

ло к созданию стабильного и надежного мира, но все же элита, сформированная политической волей, позволила ограничить насилие, что можно выразить формулой «уязвимость гарантирует соблюдение правил». Вопрос права войны (*jus ad bellum*), то есть права объявления войны, постепенно отходил на задний план, и все большее значение стало приобретать право в войне (*jus in bello*) — правовые нормы ведения военных действий. *Jus in bello*, таким образом, стал правовой кодификацией строя, ориентированного в своем политическом аспекте на симметрию.

Такое положение изменится, как только появятся участники, не удовлетворяющие этим требованиям вследствие своей бестелесности. Тогда в игру вступит асимметрия, столкнув лицом к лицу несовместимые рациональности. Именно в этом и кроется основной признак сложившегося на данный момент положения. Проще говоря, нетерриториальных игроков невозможно подчинить никакому сдерживающему режиму, поскольку они не входят в *правлящую политическую элиту*, против которой можно было бы применить силу или угрозы. У них нет тех аспектов уязвимости, которыми обладают суверенные государства. Но при этом разрушающий потенциал у нетерриториальных субъектов гораздо выше, ибо они в гораздо большей степени располагают пространством и временем, нежели державы, постоянно переживающие из-за уязвимости своей *правлящей политической элиты*. В результате новое значение приобрела идея превентивных действий в области политической безопасности: кого нельзя запугать, того нужно опередить. Изменение пространственного порядка тесно связано со сменой временного режима: суверенность политического субъекта, достигнутая за счет его телесности, дала возможность проводить политику ожидания; однако все более частые действия бестелесных игроков препятствуют этому, особенно террористических сетей, использующих уязвимость государств для продвижения своей собственной политической воли. Популярность превентивных действий в этом случае идет рука об руку с полицизацией военной силы.

### Неактуальность суверенного государства и ее последствия для политики безопасности

Уязвимость суверенных государств была и является основой доверия, от которого зависит стабильность международного порядка. Нетерриториальные игроки, практически неприступные и неуязвимые для использования военных сил и применения стратегии запугивания, представляют для государственного порядка весьма ощутимую и длительную угрозу, пусть даже эта угроза носит не активный, а потенциальный характер<sup>25</sup>. Потому война против террора, объявленная США после терактов 11 сентября 2001 года, в обозримом будущем не завершится, даже если Аль-Каида будет разгромлена и полностью истреблена. Поскольку Аль-Каида и другие организации, выступающие ее последователями, не привязаны к какой-либо территории, которую можно оккупировать, взяв под свой контроль все ресурсы, а принимают все новые формы, действуя из самых глубин социального пространства<sup>26</sup>, разработанные для борьбы с ними структуры и возможности государств еще долго останутся востребованными. Такая перспектива выглядит удручающе; она демонстрирует лишь то, что утрата суверенными государствами своих функций, позволяющих им выступать гарантом предсказуемости политических действий для остальных игроков на мировой арене, имеет далеко идущие последствия. Это вовсе не означает, что структуры ОБСЕ в Европе стали ненужными, однако для государств они больше не смогут служить надежной защитой от внешних атак.

Для понимания перспектив в области политики безопасности достаточно уяснить одну мысль: снижение актуальности фактора территории в процессе формирования политической надежности с некоторых пор компенсируется развитием контрольно-надзорных функций, завесу над которыми в свое время слегка приоткрыл бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден<sup>27</sup>. Можно еще поспорить о том, что невыносимее для личного ощущения безопасности человека: осозна-

ние себя как заложника, постоянно пребывающего на прицеле баллистических ракет противоборствующих сверхдержав, как это было во времена ядерного противостояния, длившегося до конца 1980-х годов, или наличие постоянного контроля спецслужб за населением на своей же территории или в прилегающих областях: от записи телефонных разговоров до отслеживания передвижений. Цель такого контроля заключается в том, чтобы за счет постоянного наблюдения лишить потенциального врага, который благодаря своему нетерриториальному статусу остается невидимым, его преимущества и сделать его вновь различимым. И если у этого режима наблюдения есть оправдание, то заключается оно в том, что благодаря ему можно избавиться от временного прессинга, довлеющего над государствами и вызванного бестелесностью некоторых политических игроков. Контрольно-надзорный режим наделяет территориальных игроков независимостью от времени.

Эти контрольно-надзорные системы разработаны таким образом, чтобы потенциально охватывать каждого из нас, поскольку на место государственных игроков, обладающих военным потенциалом, пришли небольшие группы, способные за счет минимальных ресурсов и использования всепроникающих возможностей СМИ-индустрии стать серьезной политической угрозой для западных обществ или уже являются таковой. Но при этом очень важно подчинить надзорный режим с его шпионскими программами определенным правовым нормам, взяв их под политический контроль. Можно также сказать, что для контрольно-надзорных систем секретных служб, пришедших на смену милитаристским стратегиям устрашения, необходимо разработать положения, аналогичные Гаагской и Женевским конвенциям, актуальным в отношении традиционных военных действий, но при этом новые правовые самоограничения должны формироваться не на основе принципа симметричности, как это характерно для Гаагской конвенции, а по принципу асимметрии, возникающей между комбатантами и некомбатантами, используемой террористами и упоминаемой в Женевских конвенциях.

В целом это относится не только к системам наблюдения, но и ко всем операциям, проводимым против террористов и людей, подозреваемых в причастности к терроризму. Поначалу можно было наблюдать, как американская стратегия, направленная на искоренение терроризма, была целиком и полностью ориентирована на территориальную парадигму. Военное руководство полагало, что, благодаря военной интервенции в Афганистан, где временно размещались тренировочные базы *Аль-Каиды* и где принципиально нетерриториальный противник проявлял элементы территориальности, можно было лишить терроризм «воздуха», «придушить» его и «выдрать с корнем». Подобная модель действий демонстрирует ориентацию на классическое стратегическое мышление, прикованное к принципу территориальности: все эти стратегические шаги эффективны на конкретной территории, за обладание которой ведется сражение. Однако афганский проект, задуманный как ключевой элемент *войны против террора*, провалился, поскольку на ограниченной территории нетерриториальный противник остается неуловимым и неуязвимым. Вскоре вся война в Афганистане свелась к борьбе с талибами, в то время как *Аль-Каида*, все еще остающаяся актуальным противником, переместилась в Пакистан или куда-то еще. С точки зрения стратегии американцы попросту промахнулись, направив в Афганистан ресурсы и силы, которые нужны были в другом месте. Существовала опасность перерасхода экономических средств без получения стратегической выгоды. Асимметрия в противостоянии между суверенным государством и сетевой организацией проявилась в структуре затрат, которая может оказаться губительной для территориального государства в долгосрочной перспективе, по крайней мере до тех пор, пока оно борется с противником, словно тот обладает той же финансовой структурой, что и оно.

Смена президентов США, в результате которой на место Джорджа Буша-младшего пришел Барак Обама, также была связана с переменной стратегии в борьбе против терроризма. Видимой стороной этого маневра стал переход от на-

земной войны, которая в свое время велась в Афганистане, к войне, осуществляемой силами боевых и наблюдательных беспилотных летательных аппаратов, которые гораздо лучше приспособлены для борьбы с врагом, обладающим высокой степенью мобильности и не имеющим четкой территориальной привязанности<sup>28</sup>. Эффективность беспилотной войны зависит от наличия информации о передвижении и временных пристанищах противника; обладание достоверной информацией служит ключом к успеху операции, проводимой с применением дронов, осуществляющих «персональные» (*personal*) или «идентифицирующие» удары (*signature strikes*)<sup>29</sup>. Поэтому неслучайно война с терроризмом постепенно переходит в ведение спецслужб, а сама армия там, где для осуществления новой стратегии необходимо применение традиционной военной силы, вынуждена все больше и больше приспосабливаться к их образу действий и образу мыслей<sup>30</sup>. Конечно, эта тема вызывает множество дискуссий, от обсуждений юридической и моральной дилемм убийства с воздуха и до выявления возможных политических рисков<sup>31</sup>. Однако сейчас речь не об этом, а о тех последствиях, которые эти изменения могут иметь для идеи пространства, его политического устройства и стратегического использования в XXI веке. Три кратких примечания на эту тему.

1. Защита пространства и военное отстаивание территории, на которую распространяются претензии государства, постепенно утрачивают свое значение, при этом действия России в отношении Крыма и восточной части Украины противоречат этому утверждению лишь на первый взгляд. Роль конкретного пространства в виде подконтрольной территории, лежащей в основе формирования и продвижения принципов мирового порядка, также в значительной степени утратила свою актуальность, и этот процесс еще будет продолжаться. Это не относится к районам, обладающим экономически и стратегически важными природными ресурсами или предполагающим их наличие. В регионах наподобие Восточной провинции Конго, но в первую очередь на Ближ-



нем Востоке, где речь идет о нефти, войны за территорию все равно будут продолжаться. Не исключено, что некоторые районы морского дна также станут политически значимыми и привлекательными областями, за обладание которыми будут вестись военные действия. Но при этом важность этих территорий заключается не в политической принадлежности и симпатиях людей, живущих в этом пространстве, а в доступе к имеющимся там ресурсам. В противном случае война за контроль над территорией становится чистой демонстрацией силы, рассчитанной на завоевание престижа<sup>32</sup>.

Такое развитие событий только на первый взгляд противоречит войнам за самоопределение, предложенным Мэри Кальдор в качестве одной из характеристик «новых» войн: в них речь идет не о завоевании территории и живущего на ней населения, а о «зачистке» территории от групп населения, которым, по мнению «завоевателей», на этой территории не место. Такие войны все еще случаются; они представляют собой обратную сторону ресурсных войн<sup>33</sup>. Но для процесса развития мирового порядка такие войны за самоопределение больше не имеют значения. Одним из вариантов таких противостояний является война за территорию, которую принято считать *священной*, то есть война религиозная. Это явление характерно для Ближнего Востока с его обилием священных мест, начиная с Иерусалима и Меккой и заканчивая Мединой и Кербелой<sup>34</sup>.

2. Защита пространства в будущем в гораздо большей степени будет представлена охранными или шпионскими действиями в отношении коммуникации и информации, а значит, стратегический аспект пространства освободится от классической привязки к территориальности. Перефразируя высказывание Карла Шмитта, в котором сувереном является тот, кто может объявлять чрезвычайное положение<sup>35</sup>, можно сказать, что мировым сувереном будет тот, кто подчинит себе глобальное пространство коммуникаций. Такие пространства, скорее виртуальные, нежели реальные, не поддаются физическому разграничению, как это происходит с территорией государств. Это отчетливо видно на примере

дискуссий, посвященных защите граждан одного государства от шпионажа со стороны спецслужб других стран. Отчаянная гонка за кабелями и серверами, расположенными на территории каждой из стран, наглядно демонстрирует, что территориальность больше не является достаточной величиной для определения важности пространства и его защиты. Однако суверенные государства не знают, можно ли реагировать на угрозу как-то иначе, нежели дерзко заявлять о важности их территории. Защита информации и знаний от вражеского проникновения стала ключом к осуществлению своей политической воли и сохранению экономического процветания. Таким образом, безопасность коммуникационного пространства и информационных центров имеет далеко не второстепенное значение, занимая по важности то же место, что некогда отводилось территории в ее буквальном значении. В этом и проявляется пространственный переворот XXI века с его последствиями для вопросов политической безопасности.

3. Разрушение политического строя, основанного на физических границах, ведет к снижению влияния суверенного государства в вопросах формирования политического порядка и одновременно увеличивает мощь империй, владеющих пространством. Явление, которое можно было наблюдать в отношении империй, обладавших морским превосходством, теперь стало актуальным для всех, повергнув территориальные государства в кризис легитимности и эффективности: владения территорией теперь недостаточно для обеспечения безопасности; для этого как минимум необходим контроль потоков. Владение воздушным, а затем и космическим пространством имеет решающее значение для коммуникационного и информационного контроля, осуществляемого централизованно. В будущем останется всего три, от силы четыре-пять *мировых игроков*, в то время как все остальные будут присутствовать на этой глобальной игре в качестве зрителей либо подшефных *мировых игроков*. В этом аспекте европейцы, постоянно отодвигаемые на задний план, и их позиция в плане политической безопасности выглядит довольно

слабой и не могут не вызывать опасений. Совершенно захватывающе на этом фоне выглядят откровения Эдварда Сноудена о том, как сильно европейцы зависят от США в том аспекте, который, по сути, образует основу всей безопасности. Именно потому, что Европа так долго видела в понятии пространства одну лишь территорию, сегодня она уже больше не хозяйка своим решениям: европейцы чувствуют (и видят) слежку со стороны США и в то же время в своей политической безопасности целиком и полностью зависят от Америки, по крайней мере, в вопросах, касающихся глобальных и потоковых угроз, в то время как заботу о безопасности границ, то есть территориальные вопросы, американцы все больше и больше вверяют европейцам. Самым наглядным примером такого препоручения служит украинский конфликт<sup>36</sup>.

В заключение вернемся к империям и их роли держав, владеющих пространством, но при этом не ограниченных определенной территорией. Судя по всему, в XXI веке они будут контролировать пространства и формировать их, исходя из своих политических и экономических интересов, стараясь извлечь из этого выгоду.

### **Империи в роли регуляторов потоков и норм**

Одним из отличительных признаков мировых империй является распространение их власти далеко за пределы границ, формально очерчивающих их территорию, а также их представления о владении пространством, которые не ограничиваются контролем над конкретной территорией, как это происходит в случае обычных государств<sup>37</sup>. Такое пространственное противопоставление государств и империй весьма условно: при более тщательном подходе к истории великих империй, от Римской империи до США, найдется немало примеров гибридных образований. Однако нельзя отрицать, что чисто имперское понимание пространства, о котором говори-

лось выше, было более выраженным среди морских империй, а не сухопутных, при этом степные империи, например гуннов или монголов, по своей структуре больше напоминали морские империи, нежели сухопутные. Поэтому для анализа развития дальнейших событий исторические формы морской империи представляют собой более ценный источник, чем пример сухопутных империй китайских императоров или русских царей.

Гораздо более крупные масштабы протяженности и потому более слабая концентрация власти заставляла морские империи сосредотачиваться не на управлении территориями, а на контроле потоков: потоков людей и товаров, капитала и информации, услуг и технологий. Одним из примеров такого господства служит основная артерия Британской империи — сообщение между английскими портами и Индией через Гибралтар и Средиземное море, а затем через Суэцкий канал и Красное море. При этом иногда контроль территорий может играть довольно важную роль, как в случае Египта и Судана, однако и эти формы колонизации в своей функциональности полностью ориентированы на имперские коммуникации, то есть на товарные и сырьевые потоки<sup>38</sup>. Для аналогии можно представить себе «потоковый» пространственный контроль какой-нибудь империи, распространяющийся на два типа потоков: *виртуальный*, в котором происходит коммуникативная и информационная передача, и *реальный*, где речь идет о крупных транспортных линиях для перевозки сырья и готовой продукции — это могут быть трубопроводы, железные дороги или морские пути; в любом случае целью для игроков с антиимперскими настроениями являются оба потока. Партизаны, диверсанты, пираты и хакеры представляют собой проблему для политики безопасности в XXI веке. Приоритетной задачей империи является обеспечение относительной безопасности этих коммуникаций, а значит, именно они образуют основные элементы новой организации пространства. Иначе говоря, тот, кто берет на себя задачу долговременного обеспечения безопасности обоих потоков, виртуального и реального, почти неизбежно

но превращается в игрока имперского масштаба. Безопасность пространства в XXI веке больше не связана с физическими границами, а направлена на коммуникационные каналы, без защиты которых глобальная экономика не может функционировать должным образом. Для обеспечения безопасности разных каналов также используется правовое регулирование: наряду с виртуальным и реальным его можно рассматривать как еще один тип потоков, которое в условиях мирового масштаба становится задачей игроков имперского масштаба. В XIX веке эта роль выпала Британской империи, а в XX веке — США. Европейцы должны принять для себя решение, какую роль они хотят играть в XXI веке. Отсутствие решения в этом случае приравнивается к решению.

Нелишне будет рассмотреть метафорическое употребление понятий потоков и каналов в контексте реальных явлений: в результате мобильности людей, резко возросшей в последние десятилетия, а значит, растворения личности на фоне анонимной человеческой массы, традиционные контрольно-надзорные формы, основанные на взаимном наблюдении за членами стабильного общества, утратили свою актуальность и надежность. Частая смена мест работы и проживания привели к образованию агрегаций, составленных из незнакомых друг другу людей. Обратной стороной такой свободы стало чувство незащищенности, в результате которого все надежды на обеспечение безопасности возлагаются на государство. Государственные органы, ведущие расследования или разыскивающие определенных людей, все реже и реже обращаются за помощью к реальным соседям или друзьям подозреваемых: вместо них анализируются цифровые следы, которые каждый из нас оставляет буквально повсюду — от оплаты банковской карты, посещения врача или использования мобильного телефона. Так у каждого из нас появляется *цифровой двойник*, чье местонахождение в непрерывном потоке информации можно вычислить с помощью электронного сканнера<sup>39</sup>. В результате весь наш образ жизни теперь можно восстановить с такой точностью, на которую человеческая память не способна.

Цифровой двойник — весьма соблазнительная услуга, ведь он делает нашу жизнь удобной и комфортной. Поначалу и не осознаешь, как сам облегчаешь задачу наблюдателям — вообще делаешь наблюдение возможным, ведь кто может интересоваться личными данными, кроме магазинов, интернет-провайдеров и поставщиков услуг, которые невольно сообщают все больше и больше информации о двойнике? Пользователи социальных сетей тоже вносят свой вклад в формирование цифрового двойника, который в результате все больше становится похожим на своего реального прототипа. Наблюдательные системы политических сил, в первую очередь американцев и англичан, как правило, являются лишь вторичными пользователями этих данных, возникающих в результате добровольного сотрудничества с Google, Facebook и другими компаниями. Точно так же, как классическое государство раньше собирало информацию с помощью соседей и друзей, новые цифровые наблюдатели и регуляторы используют для этого глобальные информационные потоки, а полученная таким образом информация дает им возможность разделить массу на цифровых двойников граждан, выделить тех, кто их особенно интересует, чтобы беспрепятственно следить за ними. Цифровая прозрачность, по мнению французского философа Фредерика Гро, способствует тому, что для обеспечения безопасности больше не нужны границы, городские стены и укрепления, то есть инструменты государственного территориального контроля: теперь для этого необходима способность в любой момент уметь находить и идентифицировать цифрового двойника определенного человека. Держава, не имеющая таких возможностей, не сможет войти в число важных игроков, которые будут управлять пространством в XXI веке<sup>40</sup>. Она лишит себя власти сама.

Потокам в форме норм и стандартов могут угрожать три вида опасности: во-первых, это конкурентные имперские игроки, заинтересованные в нарушении целостности главных артерий других империй или дезавуировании стандартов противника, ведущему к расширению собственной власти. Такое

противостояние способно привести к глобальному конфликту, что, в принципе, не исключено, однако, учитывая фактор взаимности в уязвимости и наличии боевого потенциала таких империй, достаточно маловероятен. В любом случае картина рационального баланса интересов складывается не в пользу войны, в которой могли бы участвовать Соединенные Штаты и Китай и, что гораздо вероятнее, Россия и Европа.

Вторым фактором опасности может стать множество мелких нетерриториальных противников, которые атакуют эти потоки и стандарты, словно пираты или партизаны, начиная с хакеров и заканчивая террористами-смертниками. Поскольку эти игроки не обладают своими собственными артериями или правовыми обязательствами, то есть не проявляют признаков взаимной уязвимости, вероятность возникновения таких войн довольно высока, и некоторые из них происходят в настоящее время. Из них могут развиваться перманентные локальные войны, в которых с точки зрения империй для завершения конфликтов требуется полицейское вмешательство. Есть веские основания полагать, что войны за обладание пространством в XXI веке будут вестись именно в таком формате. Это уже не классические войны между государствами, и традиционное различие между войной и миром в них, скорее всего, уже не будет играть решающей роли. В целом для формирования глобальных структур характерно разрушение бинарных понятий, типичных для территориального строя «Вестфальской системы»: сюда, помимо понятий войны и мира, относятся различия между государственной и гражданской войной, наступательными и оборонительными военными действиями, комбатантами и некомбатантами и т. д. В то время как терминология такого порядка подчинялась принципу *tertium non datur*, согласно которому третьего варианта просто не существовало (что характеризовало порядок как бинарную систему), для нетерриториальных строев и ведущихся в них войн гибридность становится весьма распространенным явлением. Гибридизация традиционной бинарности стала важным признаком нового пространственного порядка.

Локальные конфликты, вспыхивающие на периферии богатых районов, превращаются в перманентные, не особо заметные войны. Формирование понятия «гибридной войны» сопутствует распаду старого порядка и его бинарной терминологии.

Здесь вновь стоит обратить внимание на учреждающую функцию границ в условиях наделения политической составляющей территориальными признаками, как это было в «Вестфальской системе»: границы между государствами служили здесь индикатором бинарности пространства. От их признания или вооруженного нарушения зависел вопрос войны или мира, а центральное для международного права различие между государственной и гражданской войной целиком и полностью сводилось к локализации этих границ. Вследствие изменения принципа владения пространством, где на смену контролю над территориями пришел контроль потоков, актуальность этих различий заметно снизилась. Самым показательным примером может служить различие между войной и миром, постепенно вытесненное за счет «констеблизации» армии. На место военной парадигмы пришла парадигма криминальная, а вооруженное нарушение границ, равносильное фактическому объявлению войны, сменилось нелегальным проникновением в потоковые системы. В настоящее время мы можем наблюдать неявное сосуществование обеих систем миропорядка. Возможно, система границ совсем и не исчезнет, но на фоне системы потоков ей достанется лишь подчиненная роль. В результате это приведет к сосуществованию двух понятий войны: войны как противоположности миру и войны, неразрывно связанной с процессом обеспечения мира. Такая туманная семантика войны будет неизбежно способствовать возникновению политической неоднозначности.

Есть и третья угроза для системы потоков, не сказать о которой нельзя: а заключается она в том, что никто больше не желает брать на себя бремя имперской роли. Империи инвестируют в коллективные блага, такие как безопасность и мир, расходуя свои ресурсы, а выгоду от этих вложений получают все остальные. Известная из экономической теории



«трагедия общин»<sup>41</sup> может повториться и здесь: коллективным благом пользуются все, но о его сохранении не заботится никто. Такое вполне может произойти, и исключать этого нельзя. Падение Римской империи как раз является историческим примером этого явления. Если международный строй падет жертвой «трагедии общин», то это спровоцирует возврат к малоформатным строям, а значит, вернет систему границ, что, скорее всего, повлечет за собой огромные расходы и серьезно ударит по благосостоянию стран. Преимущество такого режима заключается в том, что наличие четких границ, требующих охраны и поддержания, позволяет делать инвестиции, отвечающие только собственным интересам. Системе границ неведома трагедия общин. Такие режимы сильнее по отдельности, имеют большую ориентацию на свои ценности и не зависят от общих норм. С политической точки зрения управлять ими легче, но экономически это не слишком эффективно. В свою очередь потоковая система основана на сотрудничестве, направленном против дармоедов и халявщиков, и для этого ей необходима имперская мощь либо доверительное и надежно взаимодействующее содружество государств, заботящееся об общем благе. Однако на какой из этих вариантов стоит рассчитывать, пока непонятно.

## 14

### **Актуальность прошлого: попытка оценить события 2014 года через призму начала Первой мировой войны**

Великая война, продлившаяся с 1914 по 1918 год, спустя 100 лет после ее окончания стала весьма популярной темой, привлекающей внимание многих, кто ранее никогда не интересовался ни ею самой, ни ее ходом. Она заставила их вспомнить о судьбе своих дедов и прадедов, воевавших в окопах Первой мировой. Как правило, своих родственников их по-

томки уже не застали лично, а до этого никто ими и не интересовался. Однако всеобщий интерес к Великой войне воскресил в памяти людей имена своих предков, принимавших участие в этой войне, подвиг их на поиски старых фото, затерявшееся в старых фотоальбомах, или писем с фронта.

И вот в амбарах и подвалах начались настоящие раскопки по поиску артефактов прошлого; эти поиски напоминают военную археологию, когда любители роют повсеместно вдоль бывшей линии фронта на севере Франции. Такие работы могут быть опасны, ведь если лопата натолкнется на неразорвавшийся снаряд, смертельной угрозы не избежать. Раскопки в подвалах, напротив, совершенно безобидны, но зато в большинстве случаев сулят сплошное разочарование: в письмах и дневниках дедов и прадедов, обнаруженных в конце концов под толстым слоем пыли, все кажется непонятным, как и на пожелтевших и давно выцветших фотографиях. Многих названий уже нет на карте, а мундиры на людях с фотоснимков сегодняшнему зрителю не говорят ровным счетом ничего. И лишь немногие способны распознать по униформе дедов и прадедов род войск, определить воинскую часть и звание. Такие семейные поиски наглядно показывают, насколько далека от нас Первая мировая война. Но дело обстоит иначе, как только речь заходит о политической ситуации: взглянув на ее историю, можно увидеть, как сильно повлияла на нынешнюю ситуацию в Европе и на соседних территориях Первая мировая война и какое значение для политических действий в ходе украинского кризиса и в войне в Леванте имела тень прошлого, напоминающая об «пракатастрофе» XX века<sup>1</sup>. Европейские политиками на фоне дрящущегося уже достаточно долго развития Европы — от ЕЭС до ЕС — старательно муссируют лозунг о том, что их политика является гарантом долгого и прочного мира на континенте. И убедительность этого лозунга основана не столько на истории Второй, сколько на опыте Первой мировой войны. Органы, сформировавшиеся в 1950-х годах, едва ли смогли бы сдержать амбиции военной диктатуры — того же Гитле-

ра. Но вот управление лавинообразной эскалацией взаимного недоверия, приведшей в 1914 году к Июльскому кризису и в конечном счете к началу войны, было бы им вполне по силам<sup>2</sup>. Насколько далека от нас Великая война 1914–1918 годов с личностной точки зрения, настолько же близка она нам в формате политики, а проблемы, вызванные этой войной, остаются актуальными по сей день. Политическую значимость Первой мировой войны для самооценки немцев и европейцев, а также восприятия политических проблем современности можно резюмировать тремя пунктами.

### **Франко-германская ось**

Если взглянуть на Первую мировую еще более широко, связав ее с войной 1870–1871 годов и особенно с Наполеоновскими войнами начала XIX века, то можно увидеть, что она лишь составная часть длительного конфликта между Францией и Германией за гегемонию в Европе. Историки, специализирующиеся на глубоком историческом анализе, объясняют происхождение этого конфликта разделением Каролингской империи в 843 году, в результате которого образовались Западно- и Восточно-Франкское королевства. Тот факт, что это разделение произошло на основе Верденского договора, в контексте Первой мировой войны имел для Германии и Франции символическое значение, и это наверняка повлияло на решение генерала фон Фалькенгайна о выборе места для решающего кровопролитного сражения. Фалькенгайн искал такой участок фронта, на котором французы были бы вынуждены оказывать ожесточенное сопротивление, используя все свои резервы. Он планировал провести бой, в котором не предусматривалось ни окружения, ни решительного прорыва: его тактика сводилась к истощению сил противника. И в качестве места, за которое французы будут бороться до последней капли крови, он выбрал Верден. По расчетам Фалькенгайна, хозяином пространства, некогда представлявшего собой им-

перию Карла Великого, должен был оказаться тот, кто будет иметь перевес сил в Вердене. Таким образом, бой в Вердене имел для немцев и французов еще и мифологическое значение, связанное с тысячелетней историей отношений.

Конечно, Первая мировая война шла не только между немцами и французами, он велась — если смотреть с позиции немцев — на двух основных театрах военных действий, Западном и Восточном, а также охватывала множество второстепенных фронтов, в том числе на Балканах, в Палестине и Месопотамии. И на всех этих фронтах сражались немецкие солдаты. Но даже на Западном фронте, помимо немцев и французов, в сражениях участвовали английские, а позже еще и американские, канадские, австралийские и новозеландские войска. Если бы эта война затрагивала одни лишь интересы Германии и Франции, то наверняка она не продлилась бы долгих четыре года, а завершилась бы гораздо раньше победой немцев. Однако не в последнюю очередь из-за политической близорукости и неумелости руководства Германии в этой войне слились воедино все конфликты, существовавшие к началу XX века, в результате чего она обрела поистине катастрофический характер, полностью выйдя из-под политического контроля и перейдя в область военной силы<sup>3</sup>.

Несмотря на обилие фронтов, противостояние Германии и Франции стало «центральным конфликтом войны», и все три верховных командования германской армии были убеждены, что исход войны решится на Западном фронте независимо от масштабов побед, одержанных на других фронтах<sup>4</sup>. Военное соперничество на Западном фронте преследовало чисто политические цели, поскольку в нем решался вопрос о гегемонии в пространстве Западной и Центральной Европы. А для Великобритании, не оставшейся в стороне и вступившей в эту войну, помимо вопроса нарушения нейтралитета Бельгии при вторжении не ее территорию немецких войск, существовала еще одна, более глубинная причина. Для Англии было важно сохранить баланс сил в Европе, в котором Великобритания играла комфортную роль

«стрелки на весах», и не допустить формирования (предположительно, германской) гегемонии в этом регионе. Для французов британская поддержка была обусловлена рядом обязательств: предотвращение формирования германской гегемонии не должно было привести к созданию на ее месте гегемонии французской. В результате различие интересов и представлений обеих держав-победительниц привели к возникновению конфликтов, сыгравших свою роль в процессе подготовки Версальского мирного договора.

Изначально британский военный министр Китченер планировал участие Великобритании в войне в том смысле, что все три континентальные державы — Франция, Германия и Россия — должны были ослабить друг друга в войне, в то время как сами британцы остались бы в стороне. И лишь позже, вследствие наращивания военной силы, было принято решение в пользу Антанты<sup>5</sup>. Этот расчет не оправдался из-за военной эффективности немцев: Великобритании пришлось принять гораздо большее участие в войне, чем планировалось, и это, как повествует шотландский историк Найэлл Фергюсон, стало началом конца британского мирового господства<sup>6</sup>.

В конце Первой мировой войны немецкие претензии на господство над Западной и Центральной Европой рассыпались, но не окончательно, ибо во второй половине 1930-х годов они вновь проявили себя в полной мере. Вопрос о гегемонии в Европе, несмотря на парижские договоры (Версальский, Сен-Жерменский и Трианонский), все еще оставался открытым, и потому в двадцатых годах победа не принесла французам особой радости. Военные потери Франции значительно превышали немецкие потери\*, и на фоне очень низкой рождаемости они повлекли за собой гораздо более глубокие социальные последствия, чем в Германии<sup>7</sup>. В воспоминаниях о ранах, нанесенных войной, доминировало чувство национальной усталости: второй раз такую войну

\* Потери Франции составили 1 293 464 убитыми и ок. 2 800 000 ранеными, Германии — 2 036 897 убитыми и 4 216 058 ранеными. — *Примеч. ред.*

французы не перенесут. Франция искала возможности военного самоутверждения на фоне Германии и видела ее в «Гигантском Вердене» — линии Мажино, которая представляла собой огромную систему укреплений из бетона и стали и должна была защитить страну от нового наступления Германии, сломив хребет немецкой армии так же, как это удалось в 1916 году под Верденом<sup>8</sup>.

Однако немцы сделали из этой войны прямо противоположные выводы: они сделали ставку на мобильность, которая и легла в основу планов блицкрига — «молниеносной войны», осуществленных ими в 1939–1941 годах. Таким образом, обе стороны извлекли совершенно разные уроки из случившегося: французы продолжали развивать ту стратегию, которую считали наиболее сильной и в которой видели предпосылки к победе, а немцы попытались преодолеть свой основной недостаток, помешавший им в Первой мировой войне — неспособность проводить стремительные военные операции. Такое разделение подходов типично для итогов войны: победитель выявляет свои сильные стороны и укрепляет их, а проигравший делает все возможное, чтобы устранить свои недостатки.

Итог этих «уроков» известен: весной 1940 года в ходе Французской кампании немецкий вермахт разгромил французскую армию (и Британский экспедиционный корпус) всего за шесть недель, а Гитлер оказался на пике своей славы. Однако кампания 1940 года была всего лишь очередным этапом франко-германской борьбы за гегемонию в Западной и Центральной Европе, где новым этапом стала высадка войск западных союзников в Нормандию и освобождение Франции в 1944 году. Франко-германское партнерство, начатое Аденауэром и де Голлем, по сути, основывалось на соглашении прекратить фатальную борьбу за гегемонию в Европе и *вместе* определять дальнейшую судьбу континента. Именно эта политика образует концепцию франко-германской оси, а следовательно, и франко-германского двигателя европейского проекта. Таким образом, главным ориентиром франко-германского единства стала не Вторая, а Первая мировая война,

и именно поэтому все эффектные официальные мероприятия проводились в Реймском соборе и форте Дуомон в Вердене — памятных местах войны 1914–1918 годов.

История европейского пространства наглядно демонстрирует огромное влияние этой франко-германской оси: прогресс Европы зависит от правильного функционирования этой линии, точнее, этого двигателя, но, как только что-то в нем ломается, сразу же начинаются проблемы. При этом воспоминания о Первой мировой войне играют здесь центральную роль<sup>9</sup>. Политически-ретроспективной основой самого сердца Европейского союза остается Первая мировая война, и это не случайно, ведь в отличие от Второй мировой войны в ней больше четырех лет длилось противостояние на Западном фронте, так до конца и не разрешившееся в той войне. Огромные потери и минимум успехов — вот то, что должно закрыть вопрос европейской гегемонии раз и навсегда.

### **Проблемы окраин и периферии**

Благодаря франко-германскому сотрудничеству основной конфликт Первой мировой войны был устранен. Однако причина этой войны заключалась не в конфликте между Германией и Францией, вызванном соперничеством за гегемонию. Летом 1914 года спор о принадлежности Эльзаса и Лотарингии не был настолько острым. Основная искра, запалившая пожар Великой войны в Европе, пришла с окраины — с Балкан<sup>10</sup>. Эта война переросла в стадию саморазрушения континента лишь потому, что конфликт между Веной и Белградом не удалось ограничить территориально, например, перевести его в форму Третьей Балканской войны, которая последовала бы за первыми двумя, происходившими в 1912 и 1913 годах. В Первой Балканской войне 1912 года Османская империя была выдворена из Европы, во второй войне 1913 года союзники сами перегрызли друг с другом, деля добычу. В постепенном проникновении России на территорию Балкан и ее

желании взять под контроль морские проливы между Черным и Эгейским морями Габсбургская монархия, осуществлявшая контроль над Западными Балканами, видела угрозу своему имперскому статусу. Но европейской концепции власти проблема урегулирования этого конфликта оказалась не по плечу. Когда все надежды на территориальное ограничение конфликта рухнули, локальный конфликт превратился в Великую войну. Такое начало Первой мировой войны служит отличным примером того, как конфликт на периферии большого политического пространства может воспламенить весь регион. Из этого следует сделать соответствующие выводы в отношении современных конфликтов.

Более подробное рассмотрение обстоятельств войны 1914 года доказывает, что непосредственной причиной войны стал не конфликт в центре региона, а беспорядки на окраине Европы и проблемы, скопившиеся на ее периферии. Страны, подключившиеся к войне, совершенно осознанно перенесли свои рискованные игры на окраину континента, ошибочно полагая, что здесь они смогут их контролировать. Причины опасных процессов, идущих в восточном Средиземноморье и на Балканах, также могут заключаться в том, что крупные и сильные игроки — европейские державы — долгое время были не слишком заинтересованы в стабильности в этом регионе, что привело к накоплению конфликтного потенциала в этой области, сдержать который летом 1914 года уже не представлялось возможным. Балканская конференция, на которой европейские державы при участии Османской империи могли согласовать границы мелких государств и обговорить сферы влияния крупных стран, организованная сразу после боснийского кризиса 1908 года, могла бы предотвратить эскалацию, случившуюся летом 1914 года. В июле 1914 года оставалось слишком много открытых вопросов и невыясненных позиций, в результате чего периферия оказалась для центра роковым спутником.

Сравнение политических действий европейских держав во время югославской войны девяностых годов<sup>11</sup> с их дей-



ствиями в июльском кризисе 1914 года позволяет отметить целый ряд «успехов». Судя по всему, европейцы осознали, что они не могут себе позволить игнорировать войны и развалы государств, происходящие на их окраине и периферии. К обеим Балканским войнам 1912 и 1913 годов добавилась итало-турецкая война 1911 года, в которой Италия, вслед за другими европейскими державами также желая обладать колониями, захватила область Османской империи на территории современной Ливии: низкий потенциал морских и сухопутных сил Турции, обнаружившийся в войне с Италией, навел правительство балканских государств на мысль завладеть остатками турецких владений на Балканах и поделить их между собой. Результатом стали две Балканские войны и аккумуляция военных настроений в этом регионе. Таким образом, на периферии образовалась воронка, постепенно затянувшая всю Европу в глубокую пропасть.

После распада Советского Союза европейцы приняли меры для стабилизации ситуации в регионах, переживавших политические и социальные потрясения. Они предложили странам Центральной и Восточной Европы, ранее принадлежавшим к социалистическому блоку, перспективу вступления в свое сообщество. Эта мера имела полный успех. Но все же и эта задача им может оказаться не по плечу, если политическое решение постоянно возникающих на периферии Европы проблем будет заключаться в постоянном присоединении новых членов и расширению границ ЕС. В этом случае социальное неравенство отдельных стран в рамках союза будут только увеличиваться. Но европейцы не могут бросить нестабильную периферию на произвол судьбы в расчете на то, что все как-нибудь устаканится само собой. В этом и заключается второй «урок», извлеченный из опыта Первой мировой войны, а точнее из ее предыстории: окраины и периферии «европейской зоны благоденствия» необходимо держать под контролем и инвестировать средства на поддержание их стабильности. Впрочем, как раз эта политика и является альтернативой колониальному разграблению<sup>12</sup>.

## Закат великих империй и постимперское пространство

В немецком восприятии результатов и последствий войны довольно долго превалировала горечь утраты Эльзаса и Лотарингии, отданных Франции, и части Силезии, вошедшей в состав возрожденной Польши. И то и другое, несомненно, способствовало дестабилизации Веймарской республики и возвышению Гитлера. Сегодня, на фоне последствий развязанной Гитлером Второй мировой войны, с политической точки зрения это уже не имеет большого значения. Воссоединенная Германия уже признала свои внешние границы. Совсем иначе дело обстоит с проблемами национальных меньшинств и последствий переселений, а также старыми и новыми границами в Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке, где все эти вопросы до сих пор представляют собой кровоточащие раны. На европейской территории меньше всего Венгрия примирилась с результатами Трианонского мирного договора, а на Ближнем Востоке возникла зона политической нестабильности, которая в ближайшие десятилетия потребует от европейцев принятия серьезных мер и будет связана с огромными политическими рисками. Крупный политический проект «Исламское государство», объединивший целый ряд джихадистских организаций, добивается отмены границ, установленных после Первой мировой войны державами-победительницами на арабских территориях, до 1918 года принадлежавших Османской империи, и создания нового халифата<sup>13</sup>.

В то время как на Западе последствия войны выразились лишь в изменении границ, в Центральной и Восточной Европе в результате распада великих империй Австро-Венгрии и России сформировался совершенно новый политический порядок, ориентированный на западноевропейскую модель национальных государств и на территориально-национальную однородность. Однако на территории бывших многонациональных и многоконфессиональных империй, существовавших на протяжении столетий, осуществить по-

добное оказалось не так уж просто. Прежний опыт сосуществования этнических и религиозных групп, находившихся под управлением императора или царя, обернулся подчинением национальных меньшинств титульной нации. На место «данного Богом» правителя пришла власть титульной нации, ставшая весьма ощутимой для национальных меньшинств. На территории между Балтийским морем и Восточным Средиземноморьем начались войны и принудительные депортации населения<sup>14</sup>, которые после небольшого перерыва, обусловленного Второй мировой войной, достигли своего апогея и уже позже были заморожены в результате расширения советской империи. Распад Советского Союза не только привел к образованию новых государств, исчезнувших во время Второй мировой войны (например, страны Балтии), но также реанимировал вопросы национальной и культурной принадлежности, не поднимавшиеся с момента создания СССР. Внутренний конфликт Украины, разрывающейся между Россией и Европой, связан именно с этим аспектом, так же как и этнически-религиозные войны на Кавказе. Близость европейскому пути и отдаление Украины от России в первую очередь выбирает население тех областей, которые до 1918 года относились к Дунайской монархии, а точнее к Польше, в то время как многие украинцы, живущие на Донбассе, смотрят на этот вопрос по-другому. В метаниях Украины между Востоком и Западом также прослеживаются последствия Первой мировой войны<sup>15</sup>.

Гораздо более явно, чем на территории бывшей Российской империи, раздоры и конфликты постимперского пространства проявляются на Ближнем Востоке, то есть на территории бывшей Османской империи. Заключив в 1916 году соглашение Сайкса — Пико, англичане и французы разделили между собой Ближний Восток на сферы влияния и попытались построить новый политический порядок на основе целого ряда отдельных монархий<sup>16</sup>. С позиции сегодняшнего дня можно сказать, что этот проект с треском провалился и ни одно из созданных тогда государств не прояви-

ло признаков стабильности, не подкрепленной диктаторским режимом или наличием грозного внешнего врага. Проекты, нацеленные на демократизацию общества, нередко приводят здесь к новым гражданским войнам, обнажающим этнические и религиозные расколы. «Арабская весна», питавшая надежды многих европейцев на повторение сценария «цветных революций», происходивших в Центральной Европе в 1989–1990 годах, рухнула раз и навсегда. Политический режим на Ближнем Востоке является одним из самых актуальных вопросов, которые так и остались открытыми после окончания Первой мировой войны, и европейцам придется инвестировать значительные средства в стабильность этого региона, если сами они хотят оставаться в политически и социально стабильной зоне благоденствия.

К внутренним проблемам постимперского пространства добавились неоимперские мечты государств, некогда бывших великими державами, вызванные их нестабильностью: именно она заставляет их заново задуматься над вопросом собственного влияния и возможного присоединения территорий, где они выступают защитниками угнетенных меньшинств и дискриминированных народов. Это отчетливо прослеживается в политике России, определяемой Владимиром Путиным, однако очевидные шаги в этом направлении наблюдаются в турецкой политике и в действиях президента Турции Реджепа Эрдогана. Ну и, разумеется, идею нового халифата, продвигаемую Исламским государством, также можно отнести к неоимперским мечтам. Проблемы, которые летом 1914 года вернули актуальность многим европейским конфликтам и спровоцировали начало войны, по прошествии целой сотни лет так никуда и не делись. В ближайшие десятилетия политической проблемой европейцев станут постимперские пространства, возникшие в результате Первой мировой войны.

# Примечания

## Введение: Эволюция насилия в XX и XXI веках

1. По поводу некоторых дистанционных войн во времена холодной войны сравни: *Bernd Greiner u.a. (Hgg.). Heiße Kriege im Kalten Krieg*; особенно в отношении Афганского конфликта и участия в нем Советского Союза. С. 291–314.
2. На эту тему см. также: *Herfried Münkler, Der Wandel des Krieges*. С. 320–354; общественно-научное объяснение на эту тему предлагается в исследовании Барбары Кухлер, основанном на теории систем Никласа Лумана и посвященном теме роли и важности войны в разных типах общества. При этом автор показывает, что в стратифицированных обществах ориентация на героизм относится к организационным принципам общества, в то время как в функционально дифференцированном обществе ведение войны подчинено инструментальной рациональности, в которой героизм становится идеологией, если не самообманом. См.: *Kuchler, Kriege*. С. 182 и далее, 189 и далее.
3. На тему теории «новых» войн см.: *Mary Kaldor, Neue und alte Kriege*, а также *Herfried Münkler, Die neuen Kriege*; по поводу дискуссии на эту тему см. главу «Что же нового в “новых” войнах?» в настоящем сочинении. С. 208–228.
4. *Bernd Hüppauf, Was ist Krieg?* С. 385 и далее.
5. Об этом см.: *Julija Bogoeva / Caroline Fetscher (Hgg.) Srebrenica*, где собраны высказывания свидетелей процессов в Гааге.

6. То же: *Ian Morris*, *Krieg*. С. 82–139.
7. *Morris Janowitz*, *The Professional Soldier*. С. 419 и далее.
8. *Martin van Creveld*, *Die Zukunft des Krieges*. С. 42 и далее.
9. Об этом *Jacques Derrida*, *Schurken*. С. 15 и далее.
10. О жестокости как о значимом признаке войн некоторые важные отрывки можно найти: *Hüppauf*, *Was ist Krieg?* (С. 424 и далее), где, правда, различие между межгосударственными и гражданскими войнами не проводится. Гражданская война превосходит межгосударственную войну в проявлении жестокости. Государственные войны можно регулировать, гражданские, по сути, нет.

## Часть I

### Великие войны XX века

#### 1. Лето 1914 года — веха мировой истории

1. См.: *Peter Krüger*, *Der Erste Weltkrieg als Epochenschwelle*. С. 76 и далее.
2. О 1-й половине XX века как об эпохе авангарда см.: *Klaus von Beyme*, *Das Zeitalter der Avantgarden*.
3. Эрик Хобсбаум сформулировал это понятие уже после того, как написал свой труд о XIX веке. См.: *Franz J. Bauer*, *Das «lange» 19. Jahrhundert*. На самом деле понятие «долгого XIX века» появилось вдогонку сформулированному Хобсбаумом понятию «короткого XX века», который длился всего лишь с 1914 по 1991 годы — до развала Советского Союза.
4. Об этом подробнее см.: *Herfried Münkler*, *Der Große Krieg*. С. 229–288.
5. *Henri Bergson*, *La Signification de la Guerre*. С. 19 и далее.
6. Подробнее см.: *Bernd Söseman*, *Die sog. Hunnenrede Wilhelms II.* С. 342 и далее.
7. Об этом подробно см.: *John Horne / Alan Kramer*, *Deutsche Kriegsgreuel 1914*. С. 17–136.
8. См.: *Münkler*, *Der Große Krieg*. С. 60 и далее.

9. На тему интерпретации Первой мировой войны как «войны средних слоев общества» см.: *Modris Eksteins, Tanz über Gräben*. С. 270 и далее, а также главу «Первая мировая война и конец буржуазного мира».

## **2. Эскалация насилия: от Июльского кризиса 1914 года до политики «распространения революционной заразы»**

1. Обобщенно о тезисах Фишера и связанных с ними дебатах см.: *Wolfgang Jäger, Historische Forschung und politische Kultur*. С. 132–196.
2. *Christopher Clark, Die Schlafwandler*. Ожесточенность споров, вызванных книгой Кларка, также связана с вопросами политической и моральной ответственности. Из множества рецензий, опубликованных в профессиональных изданиях, отдельного упоминания заслуживают две: *Friedrich Kießling, Vergesst die Schulddebatte*. С. 5 и далее, а также *Hans-Christof Kraus, Neues zur Urkatastrophe*. С. 43 и далее.
3. См.: *Enzo Traverso, Im Bann der Gewalt*. С. 40 и далее.
4. См.: *Martin Heckel, Deutschland im konfessionellen Zeitalter*. С. 189 и далее.
5. Серьезным упущением ранних исследований причин войны стало то, что демографические факторы в них практически не учитывались. См.: напротив, *Gunnar Heinsobn, Söhne und Weltmacht*, хотя порой Хайнсон перебарщивает с детерминизмом, лежащим в основе его аргументации.
6. Июльским кризисом принято обозначать временной промежуток с 28 июня 1914 года, когда состоялось покушение на австрийского наследника в Сараево, до момента объявления войны Сербии Австро-Венгрией, последовавшего 28 июля, выдвижения немецких ультиматумов в отношении России с требованием остановить мобилизацию и в отношении Франции с требованием ее нейтралитета. Оба ультиматума были предложены 31 июля. После их отклонения,

1 августа началась всеобщая мобилизация и последовало объявление войны.

7. См.: *Paul M. Kennedy, Aufstieg und Verfall der britischen Seemacht*. С. 227 и далее.
8. См.: *Sönke Neitzel, Kriegsausbruch*. С. 54 и далее и с. 94 и далее.
9. Об этом см.: *Alexandra Bleyer, Das System Metternich*. С. 15 и далее.
10. *Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht*. С. 27 и далее. В то время как Фишер приписывает Германской империи роль агрессора в преддверье лета 1914 года, Фридрих Кислинг в своей последней работе, написанной в традициях классической истории дипломатии (*Gegen den "großen Krieg"?* С. 77 и далее и с. 149 и далее), занимается исследованием тех усилий, которые как раз прилагались Германией и Великобританией для разрядки ситуации и взаимного сближения. Затем, в 1911 году, когда рейхсканцлер Бетман-Гольвег начал курс на сближение с англичанами, кульминационный момент гонки вооружений на море уже миновал. Великобритания могла быть уверена в своем морском превосходстве.
11. См.: *Alfred Thayer Mahan, Der Einfluß der Seemacht auf die Geschichte*. О влиянии автора на представления о морском господстве и ведении войны на воде см.: *Beatrice Heuser, Den Krieg denken*. С. 249 и далее.
12. *Kießling, Gegen den "großen Krieg"?* С. 224 и далее.
13. С точки зрения финансов и налогового регулирования Германская империя была плохо подготовлена к крупной войне: затраты на сухопутную армию возлагались на сами земли; и только флот финансировался из бюджета империи, при этом государство имело лишь доступ к косвенным налогам. Если бы, как утверждает Фишер и многие другие, немецкие политики действительно рассчитывали на крупную войну, то это непременно нашло бы отражение в соответствующем изменении финансово-правовой системы.
14. *Volker Ulrich, Die nervöse Großmacht* — в своей книге автор представляет эту нервозность как важную особенность немецкой политики. На самом деле подобное беспокойство



- можно было наблюдать и у других крупных европейских держав и в первую очередь в Австро-Венгрии и России, а точнее среди многих представителей их военно-политического руководства, в чьих политических расчетах война была возможностью взять реванш за потерю репутации в прошлом; о военной фракции в Австро-Венгрии см.: *Manfried Rauchensteiner*, *Der Tod des Doppeladlers* (с. 58 и далее). О военной фракции в России см.: *Sean McMeekin*, *Russlands Weg in den Krieg* (с. 23 и далее), а также его же *Juli 1914* (с. 76 и далее).
15. О развитии национализма и его последствиях в Центральной и Восточной Европе см.: *Eric Hobsbawm*, *Nationen und Nationalismus* (с. 147 и далее), а также *Ernest Gellner*, *Nationalismus und Moderne* (с. 83 и далее); об империализме как альтернативной модели политического устройства см.: *Herfried Münkler*, *Imperien* (в особенности с. 41 и далее).
16. *Clark*, *Die Schlafwandler*; *McMeekin*, *Russlands Weg in den Krieg*. С. 159 и далее. О роли России в приближении войны см. также: *Konrad Canis*, *Der Weg in den Abgrund*.
17. Особенно в свете этого вопроса детерминистские позиции, предлагавшие в качестве причин войны империализм, милитаризм и банальное европейское соперничество за власть, значительно утратили свою прежнюю убедительность. Раздражение некоторых сторонников Фишера или оставшихся представителей теорий социального империализма свидетельствует о том, что они и сами осознают несостоятельность своих позиций.
18. Подробнее об этом: *Stephen Schröder*, *Die englisch-russische Marinekonvention*.
19. О внешней политике Великобритании перед 1914 годом см.: теперь также *Andreas Rose*, *Zwischen Empire und Kontinent*.
20. Собрание новейших исследований, посвященных плану Шлиффена — Мольтке, можно найти в издании: *Hans Eblert / Michael Epkenbans / Gerbard P. Groß (Hgg.)*, *Der Schlieffenplan*.
21. *Carl von Clausewitz*, *Vom Kriege*. С. 613–617.
22. См.: *Carl Alexander Kretzlow*, *Generalfeldmarschall Colmar von der Goltz*. О возможном варианте оборонительного плана

и его сложностях см.: *Münkler, Clausewitz im Ersten Weltkrieg*. С. 73 и далее.

23. Об этом подробнее: *Münkler, Der Große Krieg*. С. 292 и далее.
24. В действительности ни Франция, ни Великобритания не приняли ни одной мирной инициативы, выдвинутой странами Центральной Европы. См.: *Hans Fenske, Der Anfang vom Ende des alten Europas*. Вряд ли это было связано с тем, что Германия была недостаточно любезной в своих предложениях, скорее, дело было в уверенности стран — участниц Антанты в том, что они выиграют войну и что страны Центральной Европы обратятся к ним с просьбой о перемирии.
25. См.: *Holger Afflerbach, Falkenhaun*. С. 9 и далее. Образ Фалькенгайна в этом случае расходится с описанием Аффлербача.
26. О Восточном фронте в 1915 году см.: *Münkler, Der Große Krieg*. С. 342 и далее.
27. Кризисная зона от Центральных Балкан до Кавказа, а также территория между Средиземным морем и Месопотамией представляли собой постимперское пространство, образовавшееся в результате Первой мировой войны, на котором так и не появилось нового объединенного национального государства.
28. В обширной работе Йорга Фридриха, посвященной Первой мировой войне, полуостров Галлиполи, так же как морские проливы, не играли практически никакой роли, в отличие от Греции, которая появилась в качестве второго варианта только после неудачи английских и французских частей на Галлиполи. По поводу Галлиполи см.: *Münkler, Der Große Krieg* (с. 333 и далее) и *McMeekin, Russlands Weg in den Krieg* (С. 193 и далее).
29. См.: *Gerd Koenen, Der Russland-Komplex*. С. 95–97, 105, 110 и 119.
30. См.: *Alan K. Wildman, The End of the Russian Imperial Army*. Vol. 2.
31. Об этом см.: *Klaus Hildebrand, Das deutsche Ostimperium 1918*. С. 109 и далее.

### 3. Мифологизация жертвы и реальные смерти

1. *Eksteins*, Tanz über Gräben. С. 25–92.
2. Цит. по: Там же. С. 93.
3. Мифологизированное сражение при Лангемарке восходит к коммюнике ОНЛ, в котором говорилось следующее: «Западнее Лангемарка полки молодых добровольцев с пением “Германия, Германия превыше всего” устремились к вражеским линиям и заняли их». Цит. по: *Bernd Hüppauf*, Schlachtenmythen. С. 55 и далее.
4. *Orlando Figes*, Nataschas Tanz. С. 304.
5. Там же. С. 380–449.
6. О понятии «исторических знаков», приводимом Кантом применительно к Французской революции, а также воодушевленному участию нефранцузской публики в событиях во Франции см.: *Heinz Dieter Kittsteiner* (Hg.), Geschichtszeichen.
7. От лица многих, хотя и с самой разнообразной аргументацией см.: *David Fromkin*, Europe’s Last Summer; *Jürgen Angelow*, Der Weg in die Urkatastrophe, а также: *Clark*, Die Schlafwandler.
8. Надежность, доверие, мир и прогресс — это те признаки, которыми Цвейг наделял старую Европу, хотя признавал, что под этим он вполне мог подразумевать замок мечты, в котором в детстве жил со своими родителями. *Stefan Zweig*, Die Welt von Gestern. С. 14–23.
9. *George Kennan*, Bismarcks europäisches System in der Auflösung. С. 12.
10. Это также подтверждают статистические данные, собранные Стивеном Пинкером (*Pinker*, Gewalt. С. 190 и далее). В свою очередь гораздо более скептично настроен Питер Гай, который занимается проблемой насилия, сохранившегося и процветавшего в буржуазную эпоху, вероятно, взяв за основу литературные источники, а не статистические данные (*Gay*, Kult der Gewalt).
11. *Jobannes Kunisch*, Von der gezähmten zur entfesselten Bellona. С. 203–226.

12. Вильгельм Грeve писал о XIX веке следующее: «...По сути, он мог считаться эпохой договорной дисциплины» (*Wilhelm Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte*. С. 604).
13. См.: *Anita und Walter Dietze (Hgg.), Ewiger Friede?*
14. *Auguste Comte, Die Soziologie*. С. 384–448.
15. *Herbert Spencer, Die Principien der Sociologie*. Bd. 2. С. 165–177.
16. *Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie*. С. 143–150.
17. Такая интерпретация «Феноменологии» Гегеля может быть спорной; она основана на предложениях, высказанных: *Alexandre Kojève, Hegel*. С. 62 и далее.
18. *Georges Sorel, Über die Gewalt*. С. 90 и далее.
19. О работе Сореля *Réflexion sur la violence* Михаэль Фройнд пишет так: «Вас надо считать первым залпом мировой войны. Вы — тень, которую отбрасывала перед собой катастрофа 1914 года». *Freund, Georges Sorel*. С. 194.
20. См.: *Heinrich Ryffel, Metabolé politeiōn*.
21. *Sallust, Werke*. С. 12 и далее; к вопросу политической полезности внешних врагов см. также: *Marco Walter, Nützliche Feindschaft?*
22. *Georges Sorel, Les illusions du progrès*.
23. Политическая позиция Сореля в межвоенный период металась между двумя фронтами, и сам Сорель никак не мог решить, кто в результате стал реализатором идей его книги, Ленин или все же Муссолини (*Freund, Georges Sorel*. С. 237 и далее). Место Сореля в итальянском фашизме и описание трансформации «мифа о всеобщей забастовке» в «миф о революционной войне» см.: *Zeev Sternbell / Mario Sznajder / Maia Asberi, Die Entstehung der faschistischen Ideologie*. С. 53 и далее и со с. 204.
24. *Thomas Mann, Essays*. Bd. 1. С. 193.
25. Там же. С. 192; о такого рода придании смысла войне см.: *Münkler, Der Große Krieg*. С. 223 и далее.
26. Приписывая молодому Томасу Манну сторону «консервативной революции», Армин Меллер ссылается на его неприятие прогрессивных представлений и приверженность теории циклического развития истории. *Mobler, Die konservative Revolution*.

27. *Mann, Essays*. С. 199.
28. Отправной точкой здесь служит трехтомное сочинение Вернера Зомбарта *Der moderne Kapitalismus*, появившееся между 1902 и 1926 годами, а также книга *Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen*, см. об этом: *Michael Appel, Werner Sombart*. С. 25–88.
29. *Werner Sombart, Händler und Helden*. С. 64.
30. Там же. С. 67.
31. Там же. С. 91.
32. Там же. С. 95.
33. Описание и трактовка «Весны священной» вытекают из: *Volker Scherliess, Igor Strawinsky* (с. 5–12) и *Helmut Kirchmeyer, Strawinskys russische Ballette* (с. 103–105).
34. *Sigmund Freud, Kulturhistorische Schriften*. С. 287–444. Работа «Тотем и табу» одновременно является ответом Фрейда на мифологическую концепцию его противника Карла Густава Юнга. См.: *Eli Zaretsky, Freuds Jahrhundert*. С. 149 и далее.
35. Спустя несколько лет после написания работы «Тотем и табу», Фрейд «отказался от идеи единственного отца-патриарха, и вместо этого обратился к историческому периоду, датировав его ледниковой эпохой, в которой властвовали "тиранические праотцы". Они якобы "действительно лишили сына гениталий, когда тот не уступил им женщину"». (*Zaretsky, Freuds Jahrhundert*. С. 150).
36. *Roger Caillois, L'Homme et le sacré* — впервые издано в 1939 году (нем. изд.: *Der Mensch und das Heilige*); *Georges Bataille, Théorie de la religion* — появилось в конце 1940-х годов (нем. изд.: *Theorie der Religion*) и *René Girard, La Violence et le sacré* — напечатано в 1972 году; на немецком появилось в 1992 году под названием *Das Heilige und die Gewalt*.
37. Тимоти Снайдер в своей книге *Bloodlands* потрясающим образом описывает этот процесс перевоплощения.
38. Для понимания и анализа этих практик см.: *George L. Mosse, Gefallen für das Vaterland; Reinbart Koselleck / Michael Jeismann (Hgg.), Der politische Totenkult*. Статьи, представленные в дан-

- ном сборнике, не ограничиваются эрой мировых войн, ссылаясь и обращаясь к XIX веку.
39. Исключение в данном случае составляет Рене Жирар, который видит в мученической смерти Иисуса и порожденных ею легендах преодоление необходимости имитации жертвоприношения. См.: *Rene Girard, Ich sah den Satan*.
  40. *Caillois, Der Mensch und das Heilige*. С. 163 и далее.
  41. Там же. С. 153 и далее.
  42. О мифологических представлениях временных циклов и необходимости обновления см.: *Mircea Eliade, Kosmos und Geschichte* (С. 64 и далее) и *Mythos und Wirklichkeit* (с. 36–58).
  43. *Caillois, Der Mensch und das Heilige*. С. 141.
  44. Там же. С. 138.
  45. Там же. С. 134.
  46. *René Girard, Die verkannte Stimme*. С. 36 и далее, 95.
  47. *Girard, Das Heilige und die Gewalt* (С. 104 и далее); ders, *Die verkannte Stimme* (С. 152 и далее).
  48. Разница между человеческим и животным жертвоприношениями, по мнению Жирара, является основополагающим принципом жертвенного культа; ders, *Das Heilige und die Gewalt*. С. 23 и далее.
  49. Об этом и о последующем: *Bataille, Theorie der Religion* (с. 39–53); ders, *Die psychologische Struktur des Faschismus* (с. 45–86).
  50. Интерпретация Батаем главы о господине и рабе противоречит распространенному во Франции толкованию, предложенному: *Kojève, Hegel*. С. 22–47.
  51. *Marcel Mauss, Die Gabe*. С. 77 и далее, 166 и далее. См. об этом: *Iris Därmann, Theorien der Gabe*. С. 12–35.
  52. *Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung*. С. 56.
  53. Там же. С. 58.
  54. Там же. С. 60.
  55. *Georges Bataille, Die psychologische Struktur des Faschismus*. С. 59 и далее. См. об этом: *Därmann, Theorien der Gabe*. С. 36–68.
  56. *Bataille, Theorie der Religion*. С. 46 и далее.
  57. Там же. С. 51 и далее. Здесь вновь проявляется отход Батая от модели господина и раба, предложенной Гегелем, в кото-

рой господин характеризуется отказом от материальных вещей, а раб — обращением к вещам в форме труда.

58. Там же. С. 116.
59. *Caillois, Der Mensch und das Heilige*. С. 116 и далее.
60. Там же. С. 224.
61. Там же. С. 228. О связи религиозно-теоретических взглядов на жертвенность и классического республиканизма см.: *Herfried Münkler, Die Tugend, der Markt, das Fest und der Krieg*. С. 295–329.
62. *Pierre Clastres, Archäologie der Gewalt*. С. 76.
63. Там же. С. 69 и далее.
64. См.: *Gabriel Kolko, Das Jahrhundert der Kriege*. С. 107.

#### 4. Первая мировая война и конец буржуазного мира

1. Этот тезис подробно рассматривается: *Eksteins, Tanz über Gräben*, особенно с. 270 и далее.
2. См.: *Münkler, Der Große Krieg*. С. 563 и далее.
3. В «Метафизике нравов» Канта (§ 46) это сформулировано следующим образом: «Эта зависимость от воли других и неравенство ни в коей мере не противоречат свободе и равенству этих лиц как людей, которые вместе составляют народ; вернее, лишь в соответствии с условиями свободы и равенства этот народ может стать государством и вступить в состояние гражданского устройства. Но иметь в этом устройстве право голоса, т. е. быть гражданами, а не просто членами государства, — этому удовлетворяют не все с равным правом». Что это означает, Кант объясняет несколькими строчками ранее: «Приказчик у купца или подмастерье у ремесленника, слуга (не на государственной службе), несовершеннолетний (*naturaliter vel civiliter*), каждая женщина и вообще все те, кто вынужден поддерживать свое существование (питание и защиту) не собственным занятием, а по распоряжению других (за исключением распоряжения со стороны государства), — все эти лица не имеют гражданской личности, и их существование — это как бы присущность». (*Immanuel Kant, Werke*, Т. 7. С. 433.)

4. Здесь в первую очередь стоит упомянуть практику вольно-определяющихся, благодаря которой сыновья из зажиточных семей среднего сословья проходили укороченную воинскую службу и при этом имели возможность жить не в казармах, а в частных квартирах. См.: *Ute Frevert, Die kasernierte Nation.* С. 207 и далее.
5. См.: *Münkler, Der Große Krieg.* С. 62–71.
6. *Heinz Dieter Kittsteiner, Die Stabilisierungsmoderne.* С. 24.
7. Ср. на эту тему предыдущую главу о реальных убитых и ритуальных жертвоприношениях. С. 60–83.
8. Об этом в контексте Первой мировой войны *Münkler, Der Große Krieg.* С. 267 и далее, а также с. 459 и далее.
9. См.: там же. С. 222 и далее.
10. См.: *Wildman, The End of the Russian Imperial Army,* Т. 2.
11. *Münkler, Der Große Krieg.* С. 292 и далее.
12. Об этом подробно там же. С. 215–288, а также *Kurt Flasch, Die geistige Mobilmachung,* и *Karl Hammer, Deutsche Kriegstheologie.* С. 37 и далее; далее *Matthias Schöning, Gesprengte Gemeinschaft,* и *Steffen Bruendel, Zeitenwende 1914.*
13. *Clausewitz, Vom Kriege.* С. 214 и далее.
14. Весьма остроумный анализ этой несостоятельности можно найти: *Fritz Ringer, Die Gelehrten.* С. 169 и далее, чаще.
15. См.: *Wolfgang Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik.* С. 206 и далее.
16. Ср. описание празднеств, растрачивающих накопленные богатства, предложенное французским представителем региональной социологии в предыдущей главе, посвященной ритуальным жертвоприношениям и реальным жертвам.
17. *Thomas Mann, Gedanken im Kriege // он же, Essays,* Т. 1. С. 188–205.
18. В конце Второй мировой войны в ситуации, казавшейся немецкому руководству безвыходной, снова возникла параллель к Фридриху в Семилетней войне: поводом тому послужила смерть Теодора Рузвельта, в которой Йозеф Геббельс видел аналогию со смертью царицы Екатерины. После ее ухода Россия вышла из антипрусской коалиции; об этом *Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen.* С. 252 и далее.



19. Об этом подробнее *Münkler*, *Die Antike im Krieg*. С. 55–70.
20. *Фукидид*, *Der Peloponnesische Krieg*, книга I. С. 140–144.
21. Об этом подробнее *Herfried Münkler*, *Der Große Krieg*. С. 289 и далее, с. 403 и далее; параллель между Периклом и Бетман-Гольвегом можно найти в сочинении, написанном вскоре (1919) у: *Eduard Schwartz*, *Das Geschichtswerk des Thukydidés*.
22. Так сообщается об этом: *Hans Delbrück*, *Weltgeschichte*, Т. 1. С. 263 и далее.
23. Подробно об этом см.: *Münkler*, «*Die Antike im Krieg*». С. 63 и далее.
24. См.: *Klaus Schwabe*, *Wissenschaft und Kriegsmoral*. С. 28 и далее, 54 и далее.
25. Цит. по *Klaus Böhme (Hgg.)*, *Aufrufe und Reden deutscher Professoren*. С. 126 и 128. Подобные аргументы приводил также историк Дитрих Шефер: «Во второй раз мы уже не вступим в Бельгию столь же успешно; наоборот, существует серьезная опасность того, что противник благодаря быстрому нападению, возможно, совершенному до объявления войны, разгромит ядро нашей обороны и парализует наши силы. Ядро это находится в низовьях Рейна, Мозеля и Саара». (Там же. С. 189.)
26. Цит. по: *Böhme (Hgg.)*, *Aufrufe und Reden deutscher Professoren*. С. 131 и 133.
27. См.: *Eduard Meyer / Victor Ebrener*, *Briefwechsel*.
28. См.: *Münkler*, «*Die Antike im Krieg*». С. 57 и далее, а также *Luciano Canfora*, *Politische Philologie*. С. 176 и далее.
29. Возможно: *Philipp Blom*, *Die zerrissenen Jahre*. С. 31 и далее.
30. Об этом подробнее *Gerd Hardach*, *Der Erste Weltkrieg*. С. 162 и далее.
31. См.: *Münkler*, *Der Große Krieg*. С. 566 и далее.
32. Там же. С. 581 и далее.
33. См.: *Mommsen*, *Max Weber und die deutsche Politik*. С. 206 и далее; далее *Dirk Kaesler*, *Max Weber*. С. 737 и далее.
34. 16 июля 1917 года Вебер писал Герберту Эренбергу: «Я и ломаного гроша на эту войну не дал бы, не будь она национальной, и пальцем бы не пошевелил, если б речь шла о форме

государства, и не дай Бог о том, чтобы сохранить эту нашу никчемную династию и аполитичных чиновников». Цит. по: *Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik*. С. 264.

35. См.: *Beume, Das Zeitalter der Avantgarden*.

## 5. Вторая мировая: война за мировой порядок

1. См.: *Münkler, Der Große Krieg*. С. 62 и далее.
2. Обзор послевоенных войн см.: *Adam Tooze, Sintflut*. С. 181 и далее; *Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen*. С. 195 и далее.
3. См.: *Tooze, Sintflut*. С. 273 и далее.
4. О поворотах в японской политике и внутрияпонских разногласиях по вопросу позиции в отношении США см.: там же. С. 183 и далее, с. 322, с. 498 и далее, с. 605.
5. О Хаусхофере и его геополитических представлениях см.: *Hans-Adolf Jacobsen, Karl Haushofer*.
6. По поводу решения Гитлера начать войну против Советского Союза см.: *Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie*. В анализе Хильгрубера важную роль в принятии Гитлером решения о начале войны с Советским Союзом играет японское «отдаление» от союза с Германией (и Италией) (с. 278 и далее, с. 398 и далее); кроме того, автор исходит из того, что Гитлер не особенно рассчитывал на успех в борьбе с британцами на арабо-индийской территории (с. 473 и далее.). Научная позиция относительно «Плана Барбаросса» см.: *Michael Salewski, Deutschland und der Zweite Weltkrieg*. С. 157–168; *Rolf-Dieter Müller, Der Zweite Weltkrieg*. С. 85–90. Среди исследователей причин, лежащих в основе решения Гитлера начать войну против Советского Союза, образовались два лагеря, из которых один предлагает рассматривать стратегические аспекты, а второй — идеологические мотивы (об этом *Rolf-Dieter Müller / Gerd R. Ueberschär, Hitlers Krieg im Osten*. С. 31 и далее.). Определение причин такого решения также может помочь в вопросе, какую войну Гитлер в итоге хотел начать, европейскую войну или войну за мировое господство. Огромная важность нападения на Советский

Союз у Арно Дж. Мейера (*Der Krieg als Kreuzzug*) находит выражение в том, что исследование Второй мировой войны у него с самого начала сводится к изучению «Войны на Востоке».

7. См. на эту тему главу «Эскалация насилия».
8. Для обобщающего анализа идеи Тридцатилетней войны в первой половине XX века см.: *Traverso, Im Bann der Gewalt*. С. 41 и далее.
9. Из массы источников, относящихся к Фукидиду, см.: *Wolfgang Schadewaldt, Die Anfänge der Geschichtsschreibung bei den Griechen*. С. 223–394; *Klaus Meister, Thukydides als Vorbild der Historiker*.
10. См.: *Hanno Kesting, Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg*, а также *Roman Schnur, Revolution und Weltbürgerkrieg*.
11. См.: *Tooze, Sintflut*. С. 12 и далее.
12. В исторической науке принято разделять войну на чешско-пфальцский, нижнесаксонско-датский, шведский и шведско-французский (или европейский) периоды, отделенные друг от друга моментами прекращения огня. См.: *Gerhard Schormann, Der Dreißigjährige Krieg*. С. 25–59.
13. См.: *John Keegan, Der Zweite Weltkrieg*. С. 83–134; *Michael Salewski, Deutschland und der Zweite Weltkrieg*. С. 120–132; *Rolf-Dieter Müller, Der letzte deutsche Krieg*. С. 44–55; а также *Antony Beevor, Der Zweite Weltkrieg*. С. 97–45.
14. См.: *Münkler, Der Große Krieg*. С. 342 и далее.
15. См.: там же. С. 661 и далее.
16. См.: *Keegan, Der Zweite Weltkrieg*. С. 252–344; *Salewski, Deutschland und der Zweite Weltkrieg*. С. 181–210, а также 237–261; *Müller, Der letzte deutsche Krieg*. С. 81–117 и 164–80; *Beevor, Der Zweite Weltkrieg*. С. 218–285, 376–394 и 409–428, а также *Richard Overy, Russlands Krieg*.
17. Об этом *Rolf-Dieter Müller, Der Bombenkrieg*. С. 157 и далее; *Richard Overy, Der Bombenkrieg*. С. 433 и далее.
18. См.: об этом выше. С. 29 и далее.
19. См.: *Blom, Die zerrissenen Jahre*. С. 31–54.
20. Об этом: *Karl-Heinz Frieser, Die deutschen Blitzkriege*. С. 182 и далее. Фризер отстаивает мнение, согласно которому такая тактика ведения войны не была запланирована немецкой сто-

роной изначально, а родилась из успеха «Плана “Гельб”», реализованного во время наступления на Францию, а блицкриг, запланированный потом против Советского Союза, потерпел провал. С другой стороны, состав бронетехники был ориентирован на стремительные атаки, а не на затяжные бои. Этот расклад изменился лишь в ходе войны.

21. По поводу воодушевления Лиддела Гарта стратегической бомбардировкой см.: *Müller, Der Bombenkrieg*. С. 27 и далее; *Heuser, Den Krieg denken*. С. 353 и далее.
22. См. на эту тему главу о героическом и постгероическом обществах.
23. См.: *Kolko, Das Jahrhundert der Kriege*. С. 107.
24. См.: *Laura Engelstein, Verhaltensweisen des Krieges in der Russischen Revolution*. С. 149 и далее.
25. *Kolko, Das Jahrhundert der Kriege*. С. 107.
26. См. на эту тему главу о ритуальных жертвоприношения и реальных жертвах.
27. См.: *Müller, Der Zweite Weltkrieg*. С. 7–9.
28. Там же. С. 69.
29. Об этом подробно: *Aram Mattioli, Experimentierfeld der Gewalt*. С. 94 и далее, 125 и далее.
30. См.: *Blom, Die zerrissenen Jahre*. С. 460 и далее.
31. Для подробного представления расчетов Черчилля относительно вторжения см.: *Keegan, Der Zweite Weltkrieg*. С. 449 и далее.

## Часть II

### Постгероическое общество и моральный облик воина

#### 6. Герои, победители, творцы мирового порядка

1. О формировании фаланг гоплитов см.: *Hans Delbrück, Geschichte der Kriegskunst*. Bd. 1. С. 34 и далее.
2. О понятии и исследовательской модели симметрии см.: *Herfried Münkler, Der Wandel des Krieges*. С. 256–274.

3. *Thukydides*, Der Peloponnesische Krieg I, 142. С. 107 и далее.
4. Там же. I, 142. С. 108 и далее. О стратегии Перикла в войне против Спарты см.: *Donald Kagan*, Perikles. С. 313–336; *Gustav Adolf Lebmann*, Perikles. С. 222–226.
5. Зомбарт подробно рассмотрел это противопоставление в своем полемическом военном эссе Торгаши и герои на примере противостояния британцев и немцев.
6. *Thukydides*, Der Peloponnesische Krieg. С. 251, 259, 533 и далее.
7. Там же. II, 18. С. 127.
8. *Hegel*, Phänomenologie. С. 144.
9. *Friedrich Schiller*, Werke. Bd. 4. С. 67 и 68.
10. *Max Weber*, Wirtschaft und Gesellschaft. С. 142.
11. *Schiller*, Werke. Bd. 4. С. 68.
12. См. на эту тему дискуссию в журнале High-Tech-Kriege, изданном Фондом имени Генриха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung Grégoire Chamayou, Ferngesteuerte Gewalt).
13. Об этом подробно: *Herfried Münkler*, Goliath und David; Odysseus und Cassandra. С. 25 и далее, 78 и далее.
14. Об этом *Bernd Seidensticker*, Ich bin Odysseus. Zur Entstehung der Individualität bei den Griechen. С. 163–184.
15. См.: *Georg Kreis* (Hg.), Der «gerechte Krieg»; *Skadi Krause*, Gerechte Kriege, ungerechte Feinde. С. 113 и далее.
16. *Janowitz*, The Professional Soldier. С. 420.
17. См.: *Ulrich Bartosch*, Weltinnenpolitik. С. 62 и далее.
18. См.: *Carl Schmitt*, Land und Meer.
19. На тему симметричных и асимметричных ритмов войны см.: *Münkler*, Der Wandel des Krieges. С. 169 и далее.
20. Об этом подробно: *Adam Zamoyski*, 1812, где также рассказывается о распространении в кругах армии первых слухов (с. 99–124), согласно которым война должна была вестись не против России, а против Британской Индии, и таким образом целью ее было поражение Британии.
21. Об этом: *Münkler*, Der Große Krieg. С. 563 и далее.
22. Об этом в общих чертах: *Münkler*, Die neuen Kriege.

23. См. статьи Кресса, Хинкеля и Мюнклера: *Gerd Hankel* (Hg.), *Die Macht und das Recht*.
24. См. на примере: *Tobias Debiel*, *UN-Friedensoperationen in Afrika*.
25. История промахов и неудач в борьбе с повстанческими движениями такого рода ср. *William Polk*, *Aufstand*.
26. См. на эту тему следующую главу «Новые военные системы и этика войны». С. 188 и далее.

## 7. Героические и постгероические общества

1. *Eric Voegelin*, *Die Politischen Religionen*. С. 58 и далее.
2. *Hegel*, *Phänomenologie*. С. 143 и далее.
3. См. главу 6.
4. См.: *Peter Sloterdijk*, *Zorn und Zeit*. С. 9 и далее.
5. См.: *Günter Eifler* (Hg.), *Ritterliches Tugendsystem*; *Arno Borst*, *Das Rittertum im Mittelalter*; *Josef Fleckenstein*, *Rittertum*. С. 123 и далее.
6. *Michael Ignatieff*, *Die Zivilisierung des Krieges*. С. 138 и далее.
7. Об этом *Kaldor*, *Neue und alte Kriege*; *Münkler*, *Die neuen Kriege*.
8. О Зомбарте см. ранее в этой же главе.
9. *Ferdinand Tönnies*, *Gemeinschaft und Gesellschaft*. С. 7 и далее, 34 и далее.
10. См. на эту тему: *Gisela Völger / Karin v. Welck* (Hg.), *Männerbände, Männerbünde*. Bd. 1. Там в особенности статьи следующих авторов: *Jürgen Reulecke* (с. 3 и далее.), *Thomas Schweitzer* (с. 23 и далее.) и *Klaus v. See* (с. 93 и далее.); во 2-м томе: *Aloys Winterling* (с. 15 и далее.).
11. *Friedrich Schiller*, *Sämtliche Werke*. С. 305 и далее.
12. *Dazu Ludgera Vogt*, *Zur Logik der Ehre in der Gegenwartsgesellschaft*. С. 65 и далее.
13. См. ранее в начале 7-й главы.
14. См.: *Pierre Bourdieu*, «Ehre und Ehrgefühl». С. 11 и далее.
15. *Schiller*, *Sämtliche Werke*. С. 309.
16. Там же.

17. Там же. С. 311.
18. См. *Jakob Vogel*, *Nationen im Gleichschritt*; Frevert, *Die kasernierte Nation*.
19. Политико-психологическая проработка неудач — весьма комплексная тема, которая лишь недавно стала предметом более интенсивных исследований. См.: *Holger Afflerbach*, *Die Kunst der Niederlage*, для сравнения американских южных штатов, Франции 1871 года и Германии времен 1918 года см. *Wolfgang Schivelbusch*, *Die Kultur der Niederlage*; и далее *Horst Carl u др.* (Hg.), *Kriegsniederlagen*.
20. Об этом подробно: *Herfried Münkler*, *Über den Krieg*. С. 227 и далее.
21. См. ранее. С. 139 и далее.
22. *Heinsohn*, *Söhne und Weltmacht*. С. 16.
23. Там же.
24. К вопросу сравнения объективных рисков и их субъективного восприятия см.: *Cass R. Sunstein*, *Gesetze der Angst*. С. 97 и далее.

## 8. Новые боевые системы и этика войны

1. *Georg Wilhelm Friedrich Hegel*, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*. С. 283.
2. Там же.
3. Наиболее известное сочинение подобного рода — работа Гюнтера Андерса «Отживание человека» (*Die Antiquiertheit des Menschen*), в восьмидесятих годах положившее основу общественному движению, направленному против вооружения НАТО. Согласно утверждению Андерса, развитие оружия дальнего поражения должно привести к искоренению человечности и чувствительности в отношении страданий врага. Андерс верил, что непосредственная близость противника во время поединка создает барьер для готовности и способности применения насилия. Однако оснований для эмпирического подтверждения этой точки зрения не так уж много. Обзор

- подобных аргументов, направленных против новейших разработок в области боевых беспилотных систем, см.: *Thomas Wagner*, «Der Vormarsch der Robokraten». С. 118 и далее.
4. Об отмене ядовитых газов см. Гаагскую конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны — *Haager Landkriegsordnung*. С. 85; *Jost Dülffer*, *Regeln gegen den Krieg?* С. 275 и далее.
  5. См. *Münkler*, *Der Große Krieg*. С. 526 и далее.
  6. Критики, выступающие против применения дронов, не оспаривают селективную индивидуализацию при применении насилия; также не оспаривается то, что благодаря внедрению беспилотных боевых систем количество коллатеральных жертв в сравнении с классическими бомбовыми ударами значительно снижается, ср. *Krisbnan*, *Gezielte Tötung*. С. 136 и далее; *Mazzetti*, *Killing Business*; *Jeremy Scabill*, *Schmutzige Kriege*. С. 310 и далее, с. 434, и далее. Критике в основном подвергается не количество коллатеральных жертв, а сам способ убийства.
  7. В отношении технических подробностей см.: *Krisbnan*, *Gezielte Tötung*. С. 74 и далее; *Kai Biermann / Thomas Wiegold*, *Drohnen*. С. 30–112.
  8. Тема ускорения военных действий как способа обретения преимущества подробно освещена в работе Поля Вирильо под названием «Дромология». См.: *Paul Virilio / Sylvère Lotringer*, *Der reine Krieg*. С. 47 и далее, *Virilio*, *Ereignislandschaft*. С. 162 и далее; *Virilio*, *Fluchtgeschwindigkeit*. С. 37 и далее; *Virilio*, *Rasender Stillstand*. С. 126 и далее.
  9. Образцовым примером здесь служит *Chatamyou*, *Ferngesteuerte Gewalt*. С. 137 и далее.
  10. Эта идея легла в основу работы Маццетти «Убийство как бизнес» (*Killing Business*), в целом больше напоминающей журналистский очерк, где описывается борьба, идущая между Пентагоном и ЦРУ за влияние и ресурсы, и в первую очередь за обладание технологиями дронов.
  11. См. *C. M. Bowra*, *Heldendichtung*. С. 98–142.
  12. См. главу 6.



13. См. *Herfried Münkler*, «Ältere und jüngere Formen des Terrorismus». С. 30 и далее.
14. См. *Krisbnan*, Gezielte Tötung. С. 14.
15. О противопоставлении уязвимости и способности к нападению см.: *Herfried Münkler / Felix Wassermann*, «Von strategischer Vulnerabilität zu strategischer Resilienz». С. 81–86.
16. В первую очередь см. *Chamayou*, Ferngesteuerte Gewalt. С. 137 и далее, подобно у *Krisbnan*, Gezielte Tötung. С. 120 и далее.
17. Битва при Азенкуре часто анализируется и приводится в качестве примера военно-тактического рубежа в войне; в особенности см.: на эту тему: *John Keegan*, Die Schlacht. С. 89–134; *Hans-Henning Kortüm*, «Azincourt 1915». С. 89–106.
18. Предложенная Майклом Робертсом концепция революции в военном деле («Военная революция»), произошедшая на заре Нового времени и, по словам основоположника, предоставившая европейцам военное превосходство над их южно- и восточноазиатскими соседями, своим появлением, по сути, была обязана не военным, а ремесленникам и инженерам, работавшими над появлением новых сплавов для орудий и новых типов судов для покорения морского пространства. См.: *Geoffrey Parker*, Die militärische Revolution; *Clifford J. Rogers* (Hg.), The Military Revolution Debate.
19. См. главу 7.
20. См. главу 7.
21. Понятие «политической религии» принадлежит перу Эрика Фёгелина, подразумевавшего под этим перенос осмысленности и готовности к жертвоприношению из религиозного аспекта в политический.
22. См. *Münkler / Wassermann*, «Von strategischer Vulnerabilität zu strategischer Vulneranz». С. 81 и далее.
23. Об этом подробнее *Felix Wassermann*, Asymmetrische Kriege.
24. *Hegel*, Phänomenologie. С. 276.
25. Помимо известной работы Петера Зингера (Die Kriegs-AGs), здесь также стоит упомянуть следующие сочинения: *Pbilip*

*Utesch, Private Military Companies, Thomas Jäger / Gerbard Kümmel (Hg.), Private Military and Security Companies а также Laurent Joacim, Der Einsatz von «Private Military Companies» im modernen Konflikt.*

## 9. Что же нового в «новых» войнах?

1. Среди огромного множества авторов и работ, рассматривающих эту тему, следует выделить лишь немногих. Критику разного рода можно найти: *Klaus Jürgen Gantzel, Neue Kriege? Neue Kämpfer?* Более сдержанно: *Wolfgang Knöbl, Krieg, «neue Kriege» und Terror: Sozialwissenschaftliche Analysen und Deutungen.* Напротив более резко: *Martin Kabl / Ulrich Teusch, Sind die «neuen Kriege» wirklich neu?; Sven Chojnacki, Wandel der Kriegsformen — Ein kritischer Literaturbericht; Dieter Langewiesche, Wie neu sind die Neuen Kriege?; Harald Kleinschmidt, Wie neu sind die «Neuen Kriege»?* Более одобрительная оценка: *Michael Brzoska, «New Wars» Discourse in Germany; Monika Heupel / Bernd Zangl, Von «alten» und «neuen» Kriegen — Zum Gestaltwandel kriegerischer Gewalt.*
2. Критики, как правило, приводят в пример книгу Джона Кигана «Культура войны» (*Die Kultur des Krieges*), в которой война преподносится не как политический инструмент, а скорее как специфическая форма жизни и защиты чести. Киган получил большую известность как военный историк, а не теоретик; среди его работ стоит упомянуть книги «Битва», «Первая мировая война» и «Вторая мировая война» (*Die Schlacht, Der Erste Weltkrieg и Der Zweite Weltkrieg*). Для теории «новых» войн большое значение имеет его не столь популярная книга о военном командовании «Маска командования» (*Die Maske des Feldherrn*), в которой показаны различия героического, негероического и постгероического военного руководства.
3. *Martin van Creveld, Die Zukunft des Krieges.*

4. Об этом убедительно: *Raymond Aron*, Clausewitz. Den Krieg denken. С. 413–415 и 730–735.
5. О проблемах и вопросах интерпретации Клаузевица см.: *Herfried Münkler*, Carl von Clausewitz. С. 92–103; *Herfried Münkler*, Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte. С. 75–148; *Andreas Herberg-Rothe*, Das Rätsel Clausewitz. С. 147 и далее.
6. *Kaldor*, Neue und alte Kriege.
7. Об этом *Münkler*, Die neuen Kriege, 2002. С. 33 и далее; *Münkler*, Die Privatisierung des Krieges. *Warlords*, Terrornetzwerke und die Reaktion des Westens. С. 7–22.
8. Об этом *Münkler*, Die neuen Kriege. С. 48 и далее, 118 и далее; *Münkler*, Der Wandel des Krieges. С. 151 и далее, 209 и далее.
9. *Münkler*, Die neuen Kriege. С. 142 и далее.
10. См. *Tanja Bübrer / Christian Stachelbeck / Dierk Walter* (Hg.), Imperialkriege; *Dierk Walter*, Organisierte Gewalt in der europäischen Expansion.
11. Об этом см.: *Christopher Daase*, Kleine Kriege — große Wirkung.
12. Об этом подробнее *Herfried Münkler*, «Ist Krieg abschaffbar?». С. 347–375.
13. Этот аспект особенно ярко выражен: *Crevelde*, Die Zukunft des Krieges. Довольно рано было отмечено, что этот процесс сделал партизанские войны более привлекательными. См.: к примеру, *Otto Heilbrunn*, Die Partisanen in der modernen Kriegführung. С. 146 и далее.
14. Об этом *Münkler*, Über den Krieg. С. 128 и далее, 149 и далее.
15. Роберт Купер в своей работе *The Breaking of Nations* (с. 26 и далее) описал ситуацию, сложившуюся на европейской территории, как «мир постмодернизма», противопоставив ее современному и до-современному миру. Современный мир представляет собой мир классических государств, борющихся друг с другом за власть и влияние и использующих в качестве политического инструмента войну. (ср. *John Mearsheimer*, *The Tragedy of Great Power Politics*. С. 29 и далее.); до-современный мир, напротив, знаменует собой развал государств и формирование но-

вых войн; об этом также: *Ulrich Menzel, Paradoxien der neuen Weltordnung*. С. 93 и далее.

16. Обобщенное описание этого процесса, подкрепленное статистическими данными, можно найти: *Wolfgang Schreiber, Die Kriege in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und danach*. С. 11–46.
17. *Clausewitz, Vom Kriege*. С. 212.
18. Это может происходить как в форме молниеносной войны, так и за счет использования стратегии, нацеленной на истощение противника. Если в первом случае силы направлены исключительно против военного аппарата противника, то стратегическая цель второго варианта ориентирована на совокупную экономическую устойчивость неприятеля. Определение такого разграничения принадлежит военному историку Дельбрюку, но по сути восходит оно к Клаузевицу.
19. См. *Janowitz, The Professional Soldier*. С. 420 и далее.
20. Одним из немногих, кто занимался исследованием последствий этого процесса, был Игнатьев: *Ignatieff, Die Zivilisierung des Krieges*. С. 138 и далее. Он предлагает культивацию неправовых самоограничений (таких, как честь) среди участников военных событий ради снижения степени насилия, применяемого в отношении гражданских лиц.
21. См. *Parker, Die militärische Revolution; Clifford J. Rogers (Hg.), The Military Revolution Debate*.
22. На примере литья надежных, но не слишком тяжеловесных пушек Карло Чиполла («Паруса и пушки» — *Segel und Kanonen*) описывает распространение по всей Европе новейшей боевой техники того времени.
23. Об этом *Münkler, Imperien*. С. 224 и далее.
24. По поводу преобразований в системе укрепительных сооружений и ведении осадной войны см.: *Simon Pepper / Nicolas Adams, Firearms and Fortifications*; к вопросу о развитии пехоты, артиллерии и кавалерии; о соответствующем использовании трех родов войск см.: *Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen*

- der politischen Geschichte. Bd. 4. С. 3 и далее, с. 151 и далее, с. 188 и далее.
25. *Max Weber*, *Der Sozialismus*. С. 80 и далее; подробно: *Hans Schmidt*, *Staat und Armee im Zeitalter des «miles perpetuus»*. С. 213 и далее.
26. Об этом *Michael Pittwald*, *Kindersoldaten, neue Kriege und Gewaltmärkte; Trutz von Trotha / Georg Klute*, *Politik und Gewalt*. С. 491–517.
27. См. *Astrid Nissen / Katrin Radtke*, «Warlords als neue Akteure der internationalen Beziehungen // *Ulrich Albrecht u др.* (Hg.), *Das Kosovo-Dilemma*. С. 141–155.
28. Об этом *Werner Ruf* (Hg.), *Politische Ökonomie der Gewalt*, *Peter Lock*, *Ökonomien des Krieges*. С. 269–286, и *Sabine Kurtenbach / Peter Lock* (Hg.), *Kriege als (Über) Lebenswelten*.
29. «У нее [войны], безусловно, своя собственная грамматика, но собственной логики она не имеет». *Клаузевиц*, «О войне» — *Clausewitz*, *Vom Kriege*. С. 991.
30. Так в исторической перспективе преподносится: *Jobannes Burkhardt*, *Die Friedlosigkeit der Frühen Neuzeit*. С. 509–574; с более экономическим уклоном: *Jens Siegelberg*, *Kapitalismus und Krieg*, с. 138 и далее.
31. См. *Stefani Weiss / Joscha Schmierer* (Hg.), *Prekäre Staatlichkeit und internationale Ordnung*.
32. См. *Stig Förster u др.* (Hg.), *Rückkehr der Condottieri?*, где прослеживаются связи между кондотьерами эпохи Возрождения и полевыми командирами нынешнего времени.
33. Об этом подробно: *Münkler*, *Die neuen Kriege*. С. 59 и далее.
34. Под Вестфальской системой подразумевается политический порядок, установившийся в Европе после заключения Мюнстерского и Оснабрюкского соглашений, так называемого Вестфальского мира. Для этого порядка характерны не только правовая, но и фактическая монополия государств на ведение войны.
35. Подробное исследование можно найти: *Daase*, *Kleine Kriege — große Wirkung*.

## 10. Информационная война.

### Роль СМИ в асимметричных войнах

1. Основательно на эту тему см.: *Martin Löffelbolz u.a.* (Hg.), *Kriegs- und Krisenberichterstattung* (в основном статьи практикующих репортеров); *Hermann Nöring u.a.* (Hg.), *Bilderschlachten*; далее *Christian Büttner u др.* (Hg.), *Der Krieg in den Medien*; в частности, *Gerhard Paul*, *Bilder des Krieges, Krieg der Bilder*; об обеих иракских кампаниях США как примере государственного использования средств массовой информации см.: *Gerhard Paul*, *Der Bilderkrieg*.
2. *Guido Steinberg*, *Kalifat des Schreckens*. С. 166.
3. Под «новыми войнами» в данном случае подразумеваются не войны, происходящие в наше время, а некий переворот в типологии войны и военных действий. См. начало 9-й главы.
4. Об этом *Michael Strübel* (Hg.), *Film und Krieg*; *Rainer Rotber / Judith Prokasky* (Hg.), *Die Kamera als Waffe*.
5. Последствиям таких ускорений, коллапсу, возникающему в результате их применения, посвящены многие работы Поля Вирилью; среди них «Война и телевидение» (*Krieg und Fernsehen*), «Информация и апокалипсис» (*Informationen und Apokalypse*), «Стратегия обмана» (*Die Strategie der Täuschung*); «Неистовый покой» (*Rasender Stillstand*).
6. О понятии асимметрии и ее применении в военных стратегиях см.: *Wassermann*, *Asymmetrische Kriege*.
7. См. главу, посвященную героическим и постгероическим обществам.
8. *Clausewitz*, *Vom Kriege*. С. 358 и далее.
9. Помимо многочисленной литературы, посвященной этому вопросу, к вопросу о медиастратегии терроризма сравни несколько устаревшую, но все еще весьма важную работу: *Gabriel Weimann / Conrad Winn*, *The Theater of Terror*; *Sonja Glaab* (Hg.), *Medien und Terrorismus*; *Christian F. Buck*, *Medien und Geiselnahmen*.
10. К вопросу о стратегии терроризма, действие которой нацелено на реакцию и отклик общества, пережившего теракт,

см.: *Peter Waldmann, Terrorismus, и Münkler, Der Wandel des Krieges*. С. 221 и далее.

11. Так, например, можно трактовать Жана Бодрийяра и его «Дух терроризма» (*Geist des Terrorismus*).
12. *Michael Geyer, «Von der Lust am Leben zur Arbeit am Tod»*. С. 28.
13. О «наступающих державах» и особом уровне легитимности, необходимого в их случае, см.: *Philipp von dem Knesebeck, Soldaten, Guerilleros, Terroristen*, с. 145 и далее.
14. См. *Jeremy Scabill, Schmutzige Kriege*.
15. Прежде всего, речь идет о правилах, заимствованных из теории справедливых войн и перенесенных на практику военных интервенций. См.: *Knesebeck, Soldaten, Guerilleros, Terroristen*. С. 115 и далее.
16. Традиция фальсификаций изображений берет свое начало еще в начале XX века, во времена особого влияния авторитарных и тоталитарных режимов (см.: *Alain Jaubert, Le Commissariat aux Archives*). Однако такая фальсификация в первую очередь предназначалась для показа своему же населению, а ее целью была дискредитация опальных персонажей и восхваление вождей и руководителей государств. Подделка фотографий того времени так или иначе была направлена на легитимизацию, и в этом ее основное отличие от снимков с убитыми женщинами и детьми, целью которых как раз является делегитимизация противника.
17. См. *Buck, Medien und Geiselnahmen*.
18. О трофейной экономике ИГИЛ см.: *Steinberg, Kalifat des Schreckens*. С. 131 и далее.
19. О терроризме как коммуникативной стратегии см.: *Waldmann, Terrorismus*.
20. О революции в области информационных технологий, начавшейся в 1970-х годах, см.: *Manuel Castells, Das Informationszeitalter*. Bd. 1. С. 31–82; о ее последствиях для военной стратегии («Мгновенные войны») там же (с. 512 и далее).
21. Об этом подробнее *Herfried Münkler, Sicherheit und Freiheit*. С. 13 и далее.
22. См. *Sunstein, Gesetze der Angst*. С. 71 и далее.
23. *Clausewitz, Vom Kriege*. С. 192 и далее.

### Часть III

## Классическая геополитика новые представления о пространстве и гибридные войны

### 11. Плюсы и минусы геополитического мышления

1. Наглядным примером служит недавно изданная работа «Введение в геополитику» (Einführung in die Geopolitik), составленная культурологом Нильсом Вербером. Такое заключение в первую очередь основано на том, что сочинение скорее напоминает не «Введение», а «Выведение» из геополитики и по большей части основывается на геополитических трудах, изданных в Германии с конца XIX века и до 1945 года; а во-вторых, составлена она была культурологом и литературоведом и потому не обнаруживает никаких прагматических выводов. Гораздо более содержательно выглядит книга Вербера «Литературная геополитика» (Geopolitik der Literatur), основанная на тезисе Мишеля Фуко, согласно которому на смену геополитике приходит биополитика (с. 37 и далее, с. 237 и далее). В этой связи автор приводит рассуждения на тему работ Генриха фон Клейста и Гегеля, Германа Мелвилла («Моби Дик») и Густава Фрейтага («Приход и расход»). На тему столкновения немецкого геополитического мышления с англо-американскими идеями см.: *Rainer Sprengel, Kritik der Geopolitik*. С. 70 и далее. Весьма поучительное политико-теоретическое исследование геополитического мышления в Германии и его практических последствий предлагается: *Ulrike Jureit, Das Ordnen von Räumen*.
2. Обзор новых подходов к геополитической теории предлагается: *Reinhard Zeilinger u др. (ред.), Geopolitik; Yves Lacoste, Geographie und politisches Handeln*. Для обеих работ характерен явный отказ от «старой» геополитики.
3. См. *Herfried Münkler, Macht in der Mitte*. С. 45 и далее.
4. Об этом подробно: *Paul M. Kennedy, Mahan versus Mackinder*.
5. О геополитических подоплеках союзной политики американцев; Советского Союза, см.: *Thomas Pankratz, Bündnis- und*



Außenpolitik der Großmächte. С. 93 и далее; о новейших геополитических размышлениях в России см.: *Walter Laqueur, Putinismus*. С. 131 и далее.

6. В определенном смысле монументальное исследование Генриха Августа Винклера «История Запада» (в особенности том 4) страдает от этого противоречия, хотя сам автор считает возможным устранить это противоречие с помощью нормативной политики.
7. Как правило, при этом политически дискредитированный термин «геополитика» заменяется понятием «пространства» или «теории пространства», что поднимает вопросы, или при этом принято избегать политически неоднозначного понятия геополитики, заменяя его термином «пространство» и, соответственно, пространственными теориями, что позволяет избавиться от прежней заикленности на территориальности и вопросах внешней политики и безопасности. См.: *Bernd Belina, Raum, und Jörg Dünne / Stephan Günzel* (Hg.), *Raumtheorie*.
8. О джихадистских представлениях о мировом пространстве и связанных с ними фантазиями о завоевании мира см.: *Elisabeth Heidenreich, Sakrale Geographie*. С. 129 и далее, und *Sebastian Huhnholz, Dschihadistische Raumpraxis*.
9. См. *Gearóid Ó Tuathail, «Rahmenbedingungen der Geopolitik in der Postmoderne»*. С. 120 и далее.
10. См. по этой теме главу 13.
11. *Gilles Deleuze / Felix Guattari, Tausend Plateaus*. С. 657 и далее.
12. Об этом см.: *Münkler, Macht in der Mitte*. С. 137 и далее.

## **12. Украина и Левант: войны на периферии Европы и борьба за новый мировой порядок**

1. О конфликтах и гражданских войнах XX века, происходивших на территории, которая охватывает земли от Балканского полуострова и до Кавказа, в сравнении с украинским пространством см.: *Victor Prusin, Nationalizing a Borderland; Mark von Hagen, War in a European Borderland* (обе работы с дальнейши-

- ми ссылками на специальную литературу); результаты исследования вкратце см.: *Laura Engelstein*, Verhaltensweisen des Krieges in der Russischen Revolution; *Andreas Kappeler*, Vom Kosakenlager zum Euromaidan. О войне на востоке Украины: *Nikolay Mitrokin*, Infiltration, Instruktion, Invasion. По поводу пространства Балканского полуострова см.: *Jobannes Grotzky*, Balkankrieg; военная предыстория Балкан накануне Первой мировой войны см.: *M. Hakan Yazuv / Isa Blumi* (Hg.), War and Nationalism.
2. Под Левантом в данном случае подразумевается культурно-географическое пространство, охватывающее Ливан, большую часть Сирии и Северный Ирак. Обзор предыстории этой войны и описание деятельности ИГИЛ см.: *Bebnam I. Said*, Islamischer Staat, *Bruno Schirra*, Isis, *Wilfried Buchta*, Terror vor Europas Toren, *Steinberg*, Kalifat des Schreckens; *Loretta Napoleoni*, Die Rückkehr des Kalifats.
  3. О югославских войнах см.: *Victor Meier*, Wie Jugoslawien verspielt wurde, и *Hannes Hofbauer*, Balkankrieg; конкретно по Боснийской войне см.: *David Rieff*, Schlachthaus; в качестве журналистского освежения войны и ее последствий см.: *Matthias Rüb*, Balkan Transit.
  4. По поводу такой оценки см.: *Herfried Münkler*, Der neue Golfkrieg. С. 29 и далее.
  5. О ходе войны и ее «развязках» см.: *Stefan Aust / Cordt Schnibben* (Hg.), Irak. Geschichte eines modernen Krieges.
  6. Среди немецкоязычных авторов стоит прежде всего упомянуть Михаэля Людерса, см., например: *Michael Lüders*, Buch Wer den Wind sät; схожая аргументация: *Napoleoni*, Die Rückkehr des Kalifats.
  7. Позицию, выражающую оптимистические надежды, см., например: *Frank Nordhausen Thomas Schmid* (Hg.), Die arabische Revolution.
  8. О возможностях и границах такого порядка см.: *Helmut Breitmeier*, Weltordnungspolitik in sektoraler Perspektive.
  9. См. *Garret Hardin*, The Tragedy of the Commons.
  10. Внутрибританские дебаты по поводу политической роли Империи в мире см.: *Eva Marlene Hausteiner*, Greater than Rome. С. 194 и далее.

11. По крайней мере: *Ian Morris, Krieg*. С. 402 и далее.
12. Понятие «имперского замаха» (*imperial overstretch*) впервые появилось в работе: *Paul M. Kennedy, Aufstieg und Fall der großen Mächte*; о применении понятия в рамках теории империализма ср: *Münkler, Imperien*. С. 172 и далее.
13. Различие между статикой и динамикой основано на противопоставлении рифленной и гладкой моделей, предложенном Делезем и Гваттари (*Tausend Plateaus*. С. 657 и далее.), но не идентично ему. См. на эту тему также главу 13.
14. Об этом *Thomas Rid, Cyber War Will Not Take Place*. С. 35 и далее.
15. См.: *Buchta, Terror vor Europas Toren*. С. 315 и далее; *Said, Islamischer Staat*. С. 81 и далее; о понятии атерриториальности политических единиц см.: *Hartmut Bebr, Entterritoriale Politik*.
16. В: *Napoleoni, Die Rückkehr des Kalifats*. С. 11 и далее, автор подчеркивает новаторство Исламского государства и тем самым выделяет группировку на фоне талибов, с которыми ИГ часто сравнивают.
17. В специализированной литературе территориальная ориентированность ИГ, противоречащая глобальной направленности Аль-Каиды, объясняется заветами Абу Мусаба аз-Заркави, который, отказавшись от глобальной конфронтации с США, с 2003 года вел борьбу с ними в осажденном американскими войсками Ираке. См.: *Steinberg, Kalifat des Schreckens*. С. 39 и далее, *Said, Islamischer Staat*. С. 81 и далее, *Buchta, Terror vor Europas Toren*. С. 289 и далее, *Napoleoni, Die Rückkehr des Kalifats*. С. 29 и далее.
18. Об этом и последующем — глава, посвященная новым боевым системам и этике войны, см. выше. С. 188 и далее.
19. О разных типах власти, в особенности об экономической и политической, см.: *Michael Mann, Geschichte der Macht*. Bd. 1. С. 46 и далее; о применении теории разных типов власти к разным формам империалистической власти см.: *Münkler, Imperien*. С. 82 и далее.
20. Об этом см. главу 13.
21. О ходе войны на востоке Украины и российской поддержке сепаратистов см.: *Mitrokin, Infiltration, Instruktion, Invasion*. С. 8 и да-

лее; о последствии этой войны для ЕС — *Stefan Auer, Der Maidan, die EU und die Rückkehr der Geopolitik*. С. 205 и далее.

22. *Janowitz, The Professional Soldier*. С. 420 и далее.
23. Об этом *Münkler, Die neuen Kriege*. С. 131 и далее.
24. Единственными, кто мог посоревноваться с морскими кораблями в скорости и дальности действия, были конные армии степных народов; неслучайно морские и степные империи имели самые протяженные владения в истории. На ограниченную способность ускорения военных действий, характерную для сухопутных военных альянсов, не повлияла даже знаменитая Революция в военном деле, произошедшая в XVI–XVII веках; об этом *Clifford J. Rogers* (Hg.), *The Military Revolution Debate*. *Werner Hahlweg, Guerilla — Krieg ohne Fronten*. С. 213 и далее. О развитии партизанской стратегии см.: *Heilbrunn, Die Partisanen*. С. 37 и далее. Теоретический подход к этим аспектам представлен: *Carl Schmitts Theorie des Partisanen*. С. 26 и далее.
26. Об этом: *Walter, Organisierte Gewalt in der europäischen Expansion*. С. 193 и далее.
27. См. *Münkler, Der Große Krieg*. С. 508 и далее.
28. *Schmitt, Theorie des Partisanen*. С. 73.
29. В главе, посвященной изменению пространственной картины мира, в другой работе Карла Шмитта «Номос земли» (*Carl Schmitt, Der Nomos der Erde*. С. 285 и далее) тема временного измерения также не раскрывается.
30. Об этом *Manfred Sapper / Volker Weichsel* (Hg.), *Gefährliche Unschärfe*.
31. Так было и в случае Хорватии, чья армия после болезненного поражения Хорватии в войне против Сербии, а точнее просербского руководства Югославии, произошедшего в 1992 году, тайно проходила подготовку с помощью американских инструкторов для быстрого возвращения себе утраченных территорий. Такое, как правило, удается лишь раз, и когда в 2006 году Грузия попыталась повернуть нечто в отношении мятежной Абхазии и Южной Осетии, грузинские формирования натолкнулись на сопротивление прекрасно подготовленной российской армии, нанесшей им тяжелое поражение.

32. Поставки оружия местным ополченцам вместо командирования своих войск чреваты тем, что использование оружия происходит бесконтрольно, а вооруженные боевики могут действовать на свое усмотрение, вопреки намерениям тех, кто поставляет им оружие. Отказ в привлечении собственных войск и попытка компенсировать это за счет поставок оружия приводят к потере политического влияния.
33. Среди прочего Бенам Саид (*Said, Islamischer Staat*. С. 109 и далее,) использует это понятие для обозначения европейских джихадистов, прибывающих в зону военных действий.
34. См. на эту тему главу о героических и постгероических обществах выше. С. 169–187.
35. Об этом подробнее в главе, посвященной мифическому жертвоприношению, см. выше. С. 60–83.
36. Наполеони (*Napoleoni, Die Rückkehr des Kalifats*. С. 55) говорит о том, что жалование у боевиков ИГИЛ низкое — гораздо ниже, чем зарплаты иракских промышленных рабочих.
37. Практически все публикации, посвященные Исламскому государству, подробно рассматривают этих «возвращенцев», порой используя их в качестве обоснования читательского интереса к Исламскому государству в Сирии и Северном Ираке. См.: *Said, Islamischer Staat*. С. 118 и далее, *Steinberg, Kalifat des Schreckens*. С. 154 и далее; *Schirra, Isis*. С. 261 и далее.
38. Гуманитарные интервенции отличаются от традиционных вмешательств тем, что они главным образом отвечают интересам населения, живущего в соответствующих регионах, а не силам, осуществляющим интервенции.
39. См. главу 2.
40. Об этом *Carl Schorske, Wien*. С. 3–21.
41. По поводу истории империи Габсбургов и ее заката см.: *Rauchensteiner, Der Tod des Doppeladlers*.
42. На примере трех жизнеописаний Тамара Шеер в своей работе (*Tamara Scheer, Lebenskonzepte, politische Nationenbildung, Identitäten und Loyalitäten*) представила многоязычность и этническое разнообразие Габсбургской монархии и обрисовала перспективы развития мультикультурного пространства, обладаю-

щего единым политически-правовым строем. Персонажи Шеер в широком смысле можно отнести к элитному сословию: двое из них — офицеры, видевшие свою цель и призвание в сохранении государства, поскольку для имперской династии армия была оплотом единства монархии (*Norman Stone, Army and Society in the Habsburg Monarchy*). Подобная тенденция среди военных наблюдалась в восьмидесятих годах в Югославии, но даже они были не в силах воспрепятствовать развалу союзного государства, приведшего к образованию целого ряда самостоятельных стран.

43. См. *Tooze, Sintflut*. С. 317 и далее.
44. Об этом подробнее: *Münkler, Macht in der Mitte*. С. 26 и далее.
45. Собственный взгляд на идею «русской миссии», лежащей в основе российской политики представлен: *Laqueur, Putinismus*. С. 91 и далее.
46. О расширении Московского царства на юг со времен правления Ивана IV см.: *Manfred Hildermeier, Geschichte Russlands*. С. 269 и далее, 531 и далее.
47. Вопрос о существовании украинской национальности, лежащей в основе притязаний на политическое единство, вызывает множество разногласий среди немецких ученых, специализирующихся на восточной истории. На стороне украинской нации при этом выступают такие авторы, как: *Franziska Davies, Zur Debatte über die Ukraine*, *Karl Schlögel, Lob der Krise*; противоположная позиция среди прочих представлена: *Jörg Baberowski, Zwischen den Imperien* и в работе, появившейся до войны на Украине: *Mykola Rjabschuk, Die reale und die imaginierte Ukraine*; нейтральные размышления: *Peter Brandt, Die Ukraine — Nation im Werden oder gescheiterte Nationsbildung?*; *Ulrich Schmid, UA — Ukraine zwischen Ost und West*.
48. Так: *Jan Zielonka, Europe as Empire*. С. 164 и далее. Подобное: *Alan Posener, Imperium der Zukunft*. С. 75 и далее, и: *Münkler, Imperien*. С. 245 и далее.
49. *Laqueur, Putinismus*. С. 131 и далее.
50. См. *он же*. С. 118 и далее, чаще.
51. См. *Michael R. Reynold, Shattering Empires*.
52. По поводу российских интересов в отношении Турции в период Первой мировой войны см. подробно: *McMeekin, Russlands*

Weg in den Krieg. С. 147 и далее; о положении Османской империи накануне Первой мировой войны см.: *Josef Matuz*, Das Osmanische Reich. С. 249 и далее.

53. Подробное обсуждение «восточного вопроса» в XX веке и его последствий для политического климата в Европе см.: *Diner*, Das Jahrhundert verstehen. С. 195 и далее.
54. См. на эту тему статьи авторов: Nedin Ipek, Erik Jan Zürcher, Funda Selenk Kirin и Mehmet Arisan: *Yazuv / Blumi* (Hg.), War and Nationalism. Teil IV. С. 621–726.
55. О ходе войны см.: *Münkler*, Der Große Krieg. С. 319 и далее, с. 333 и далее, с. 718 и далее.
56. См. *Steinberg*, Kalifat des Schreckens. С. 15 и далее, с. 113 и далее.
57. *Kennan*, Bismarcks europäisches System in der Auflösung. С. 17.

### 13. «Пространство» в XXI веке.

#### Геополитические разломы и сдвиги

1. *Jerry Brotton*, Die Geschichte der Welt in zwölf Karten. С. 173 и далее.
2. Для позиции немецкой дискуссии в отношении пространства характерно, что в работе Стефана Гюнцеля (*Stephan Günzel*, Raumwissenschaften) представлены теория музыки и педагогика, но не политология.
3. См.: *Münkler*, Imperien. С. 16 и далее.
4. «Колонизации» я предпочитаю термин «пространственной колонизации», предложенный Шмиттом в качестве «учредительного примера международного права» (*Schmitt*, Der Nomos der Erde. С. 48–51). Понятие «колонизация» исторически связано с эпохой европейской колонизации, в то время как «пространственная колонизация» является транисторическим термином.
5. *Münkler*, Der Wandel des Krieges. С. 169 и далее.
6. *Ernst Kapp*, Vergleichende Allgemeine Erdkunde.
7. См.: *Klaus von Beyme*, Schwedisches Imperium im Deutschen Reich. С. 71 и далее.
8. *Schmitt*, Land und Meer. С. 29 и далее.

9. *Charles R. Boxer, The Portuguese Seaborn Empire, и он же, The Dutch Seaborn Empire 1600–1800; Ulrich Menzel, Die Ordnung der Welt.* С. 284 и далее, 502 и далее.
10. См.: *Bebr, Entterritoriale Politik.*
11. См.: *Singer, Die Kriegs-AGs.*
12. *Schmitt, Der Nomos der Erde.* С. 111–186.
13. В этом заключается основная дилемма консерватизма, выступающего в рамках пространственных переворотов на стороне ограниченности и частности.
14. В книге Хартмута Цинзера «Религия и война» (*Hartmut Zinser, Religion und Krieg*) этот аспект остался незатронутым, поскольку милитаристский либо пацифистский характер религии следует объяснять ее содержанием, а не ее политическим контекстом.
15. *Joachim Ritter, Hegel und die Französische Revolution.* С. 183 и далее.
16. *Clausewitz, Vom Kriege.* С. 1024 и далее. Уже в своем небольшом сочинении «1812 год. Поход в Россию» (*Der Feldzug von 1812*), вскоре изданном после войны, в которой Клаузевиц принимал участие на стороне России, автор определил взаимосвязь пространства и времени, оценив обширность российских просторов как ресурс, способный нейтрализовать преимущества в условиях ускорения военных действий, которыми до этого пользовался Наполеон: «Генерал Пфуль [военный советник царя Александра] выдвинул мысль добровольно отвести военные действия на значительное расстояние внутрь России, таким путем приблизиться к своим подкреплениям, выиграть некоторое время, ослабить противника, принудив его выделить ряд отрядов, и получить возможность, когда военные действия распространятся на большом пространстве, стратегически атаковать его с флангов и с тыла» (с. 17). Такая контрстратегия была направлена против действий Наполеона, которые Клаузевиц описывал следующим образом: «Начать с решительных ударов и использовать полученные от них преимущества для нанесения новых решительных ударов, иначе говоря, все время ставить весь выигрыш на карту до тех пор,



пока не будет сорван банк. Таков его обычный способ действий; надо сознаться, что именно только этому способу действий он обязан своим колоссальным мировым успехом и что при всяком другом способе действий такой успех едва ли был бы мыслим» (с. 193 и далее). Несомненно, нужно было хорошо разбираться в пространстве, чтобы иметь в распоряжении достаточно времени, позволяющего дать отпор Наполеону.

17. *Dominik Geppert*, Ein Europa, das es nicht gibt. С. 48 и далее.
18. *Kennedy*, Mahan versus Mackinder. С. 39–66; точка зрения, подчеркивающая влияние Маккиндера, представлена: *Hew Strachan*, Kontinentales Kernland und maritime Küstenzonen. С. 67–92.
19. *Münkler*, Der Große Krieg. С. 481 и далее.
20. *Sprengel*, Kritik der Gegenpolitik; *Niels Werber*, Geopolitik zur Einführung.
21. Жан Боден и Томас Гоббс были теоретиками суверенитета, и именно теория Бодена легла в основу политического строя Европы, сформировавшегося после заключения мира в Мюнстере и Оснабрюке в 1648 году; представления Бодена о суверенитете см.: *Helmut Quaritsch*, Staat und Souveränität. С. 243 и далее.
22. *Theodor Mayer*, «Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates im Hohen Mittelalter». С. 284–331.
23. *Helmut G. Walther*, Imperiales Königtum, Konziliarismus und Volkssouveränität. С. 78 и далее.
24. *Münkler / Wassermann*, Von strategischer Vulnerabilität zu strategischer Resilienz. С. 77–95.
25. *Bebr*, Entterritoriale Politik.
26. Такое умозаключение можно сделать из провальной с точки зрения изначальной цели операции афганской интервенции.
27. См. на эту тему: *Glenn Greenwald*, Die globale Überwachung.
28. См. на эту тему в главе о новых боевых системах и этике войны, см. выше. С. 188–207.
29. Персональные удары (personal strikes) нацелены на людей, чья принадлежность к террористическим организациям не вызывает сомнений, идентифицирующие удары (signature

- strikes) направлены против тех, кто подозревается в принадлежности к террористическим группам на основании анализа характера их передвижения и иных индикаторов, при этом наверняка об этих людях ничего не известно.
30. *Mark Mazetti*, *Killing Business*. С. 41 и далее.
  31. *Armin Krisbnan*, *Gezielte Tötung, и Cbamayou*, *Ferngesteuerte Gewalt*.
  32. См. на эту тему главу о войне на востоке Украины и в Леванте, см. выше. С. 264–300.
  33. *Kaldor*, *Neue und alte Kriege*. С. 52 и далее.
  34. См.: *Zinser*, *Religion und Krieg*. С. 86 и далее.
  35. *Carl Schmitt*, *Politische Theologie*. С. 11.
  36. См. выше. С. 272 и далее.
  37. *Münkler*, *Imperien*. С. 16 и далее.
  38. Это утверждение, как и следующие за ним размышления, основаны на идеях, описанных Каstellсом в главе «Социальная теория пространства и теория пространства потоков» в книге, посвященной Информационному веку (*Castells*, *Informationszeitalter*. Bd. 1. С. 466 и далее.). Правда, Каstellс в основном концентрировался на вопросах урбанистики и элитности и не рассматривал затронутые здесь проблемы, начиная с политики безопасности и до вопросов имперских задач.
  39. Об этом и о последующем: *Frédéric Gros*, *Die Politisierung der Sicherheit*. С. 209 и далее.
  40. *Он же*. С. 214 и далее.
  41. *Hardin*, *The Tragedy of the Commons*. С. 1243–1248.

#### **14. Актуальность прошлого: попытка оценить события 2014 года через призму начала Первой мировой войны**

1. Об этом и о последующем: *Münkler*, *Der Große Krieg*. С. 753 и далее.
2. Толкование начала войны как следствие накопившегося недоверия см.: Там же. С. 82 и далее; детально: *Christopher Clark*, *Die Schlafwandler*. С. 519 и далее.

3. См. подробнее выше. С. 29 и далее.
4. Об этом в деталях см.: *Münkler*, *Der Große Krieg*. С. 403 и далее, 674 и далее.
5. *David Stevenson*, 1914–1918. С. 53 и далее.
6. *Niall Ferguson*, *Der falsche Krieg*. С. 92 и далее.
7. См.: *Kolko*, *Das Jahrhundert der Kriege*. С. 107.
8. Об этом: *Olaf Jessen*, *Verdun 1916*. С. 273 и далее.
9. См. на эту тему статьи авторов: Stefan Troebst, Georg Kreis и Étienne François: *Étienne François u др.* (Hg.), *Geschichtspolitik in Europa seit 1989*.
10. В переоценку этого вопроса большой вклад внес: Кларк (*Clark*, *Die Schlafwandler*); привычный подход см.: *Jürgen Angelow*, *Der Weg in die Urkatastrophe*. С. 82 и далее; *Neitzel*, *Kriegsausbruch*. С. 125 и далее.
11. См.: *Grotzky*, *Balkankrieg*, *Svein Mønnesland*, *Land ohne Wiederkehr*. С. 311 и далее; *Noel Malcolm*, *Geschichte Bosniens*. С. 247 и далее.
12. Различие между центром и периферией и типы влияния центра на периферию, см.: *Münkler*, *Imperien*. С. 41 и далее.
13. См.: *Guido Steinberg*, *Kalifat des Schreckens*.
14. Об этом подробно: *Snyder*, *Bloodlands*.
15. Обсуждение немцами статуса национального государства в отношении Украины тесно переплетается с вопросом об акцессорных обязательствах Германии и ее политическом участии, что придает дискуссии определенную остроту. См.: *Franziska Davies*, *Zur Debatte über die Ukraine*; *Katbarina Raabe / Manfred Sapper* (Hg.), *Testfall Ukraine*.
16. О стратегических интересах англичан и французов, касающихся этого пространства, см.: *Stevenson*, 1914–1918. С. 182 и далее.

# Библиография

*Afflerbach, Holger.* Falkenhayn. Politisches Denken und Handeln im Kaiserreich, München 1994.

– Die Kunst der Niederlage. Eine Geschichte der Kapitulation, München 2013.

*Anders, Guntber.* Die Antiquiertheit des Menschen. 2 Bde., München 1985.

*Angelow, Jürgen.* Der Weg in die Urkatastrophe. Der Zerfall des alten Europa 1900–1914, Berlin 2010.

*Appel, Michael.* Werner Sombart. Historiker und Theoretiker des modernen Kapitalismus, Marburg 1992.

*Aron, Raymond.* Clausewitz. Den Krieg denken, Frankfurt am Main u. a. 1980.

*Auer, Stefan.* «Der Maidan, die EU und die Rückkehr der Geopolitik» // *Raabe / Sapper* (Hg.), Testfall Ukraine. С. 205–220.

*Aust, Stefan / Schnibben, Cordt* (Hg.), Irak. Geschichte eines modernen Krieges, München 2003.

*Baberowski, Jörg.* «Zwischen den Imperien» // *Die Zeit*, 13.3.2014.

*Bartosch, Ulrich.* Weltinnenpolitik. Zur Theorie des Friedens von Carl Friedrich von Weizsäcker, Berlin 1995.

*Bataille, Georges.* «Hegel, la mort et le sacrifice» // *Deucalion*. Bd. 5, 1955, № 40. С. 21–43.

– Die psychologische Struktur des Faschismus. Die Souveränität, издано Elisabeth Lenk, München 1978.

– Theorie der Religion, München 1997.

*Baudrillard, Jean.* Der Geist des Terrorismus, Wien 2002.

*Bauer, Franz J.* Das «lange» 19. Jahrhundert (1789–1917). Profil einer Epoche, Stuttgart 2004.

*Becker, Sabina.* «Urkatastrophe der Moderne oder Modernisierungskatalysator? Der Erste Weltkrieg und die Kultur von Weimar» // *Conter / Jahraus / Kirchmeier* (Hg.), Der Erste Weltkrieg als Katastrophe. C. 53–69.

*Beevor, Antony.* Der Zweite Weltkrieg, München 2014.

*Bebr, Hartmut.* Entterritoriale Politik. Von den internationalen Beziehungen zur Netzwerkanalyse. Mit einer Fallstudie zum globalen Terrorismus, Wiesbaden 2004.

*Belina, Bernd.* Raum. Zu den Grundlagen eines historisch-geographischen Materialismus, Münster 2013.

*Bergson, Henri.* La Signification de la Guerre, Paris 1915.

*Breitmeier, Helmut.* «Weltordnungspolitik in sektoraler Perspektive. Effektives, gerechtes und demokratisches Regieren?» // *Helmut Breitmeier u. a.* (Hg.), Sektorale Weltordnungspolitik, Baden-Baden 2009. C. 15–27.

*Beyme, Klaus von.* Das Zeitalter der Avantgarden. Kunst und Gesellschaft 1905–1955, München 2005.

– «Schwedisches Imperium im Deutschen Reich: Ein vergessenes Kapitel der Imperien- und Mythenbildung» // *Blubm / Fischer / Llanque* (Hg.), Ideenpolitik. C. 71–88.

*Biermann, Kai / Wiegold, Thomas.* Drohnen. Chancen und Gefahren einer neuen Technik, Berlin 2015.

*Bleyer, Alexandra.* Das System Metternich. Die Neuordnung Europas nach Napoleon, 2014.

*Blom, Philipp.* Die zerrissenen Jahre 1918–1938, München 2014.

*Böbme, Klaus* (Hg.), Aufrufe und Reden deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1975.

*Borst, Arno* (Hg.), Das Rittertum im Mittelalter, Darmstadt 1976.

*Bosse, Anke.* «Apokalypse» oder «Katastrophe» als literarische Deutungsmuster des Ersten Weltkrieges // *Conter / Jahraus / Kirchmeier* (Hg.), Der Erste Weltkrieg als Katastrophe. C. 35–52.

*Bourdieu, Pierre.* «Ehre und Ehrgefühl» // *Bourdieu, Pierre,* Entwurf einer Theorie der Praxis auf Grundlage der kabyllischen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1976. C. 11–47.

*Bowra, C. M.* Heldendichtung. Eine vergleichende Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und Zeiten, Stuttgart 1964.

*Boxer, Charles R.* The Portuguese Seaborn Empire 1415–1825, Manchester 1991.

– The Dutch Seaborn Empire 1600–1800, London 1992.

*Brandt, Peter.* «Die Ukraine — Nation im Werden oder gescheiterte Nationsbildung?» // Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte, 4/2015. С. 17–22.

*Bruendel, Steffen.* Zeitenwende 1914. Künstler, Dichter und Denker im Ersten Weltkrieg, München 2014.

*Brzoska, Michael.* «“New Wars” Discourse in Germany» // Peace Research. Bd. 41, 2004, № 1. С. 107–117.

*Buchta, Wilfried.* Terror vor Europas Toren. Der Islamische Staat, Iraks Zerfall und Amerikas Ohnmacht, Frankfurt am Main 2015.

*Buck, Christian F.* Medien und Geiselnahmen. Fallstudien zum inszenierten Terror, Wiesbaden 2007.

*Bübner, Tanja / Stachelbeck, Christian / Walter, Dierk* (Hg.), Imperialkriege von 1500 bis heute. Strukturen, Akteure, Lernprozesse, Paderborn u. a. 2011.

*Burckhardt, Johannes.* «Die Friedlosigkeit der Frühen Neuzeit. Grundlegung einer Theorie der Bellizität in Europa» // Zeitschrift für Historische Forschung. Bd. 24, 1997, вып. 4. С. 509–574.

*Büttner, Christian, u. a.* (Hg.), Der Krieg in den Medien, Frankfurt am Main 2004.

*Caillois, Roger.* Der Mensch und das Heilige, München / Wien 1988.

*Canfora, Luciano.* Politische Philologie. Altertumswissenschaften und moderne Staatsideologien, Stuttgart 1995.

*Canis, Konrad.* Der Weg in den Abgrund. Deutsche Außenpolitik 1902–1914, Paderborn u. a. 2010.

*Horst, Carl, u. a.* (Hg.), Kriegsniederlagen. Erfahrungen und Erinnerungen, Berlin 2004.

*Castells, Manuel.* Das Informationszeitalter. Teil 1: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Opladen 2001.

*Chatayou, Grégoire.* Ferngesteuerte Gewalt. Eine Theorie der Drohne, Wien 2014.

*Chojnacki, Sven.* «Wandel der Kriegsformen — Ein kritischer Literaturbericht» // Leviathan, 32. 2004 год, вып. 3. С. 402–424.

*Cipolla, Carlo.* Segel und Kanonen. Die europäische Expansion zur See, Berlin 1999.

*Clark, Christopher.* Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, München 2013.

*Clastres, Pierre.* Archäologie der Gewalt, Zürich 2008.

*Clausewitz, Carl von.* Der Feldzug von 1812, Essen o. J.

– Vom Kriege, издано Werner Hahlweg, Bonn 1980.

*Comte, Auguste.* Die Soziologie. Die positive Philosophie im Auszug, издано Friedrich Blaschke, Leipzig 1933.

*Conter, Claude D. / Jabraus, Oliver / Kirchmeier, Christian (Hg.),* Der Erste Weltkrieg als Katastrophe. Deutungsmuster im literarischen Diskurs, Würzburg 2014.

*Cooper, Robert.* The Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-First Century, London 2003.

*van Creveld, Martin.* Die Zukunft des Krieges, München 1998.

*Daase, Christopher.* Kleine Kriege – große Wirkung. Wie unkonventionelle Kriegführung die internationale Politik verändert, Baden-Baden 1999.

*Därmann, Iris.* Theorien der Gabe zur Einführung, Hamburg 2010.

*Davies, Franziska.* «Zur Debatte über die Ukraine. Deutschland und der Euromajdan» // Merkur, № 790, 69. 2015 год, вып. 3. С. 32–43.

*Debiel, Tobias.* UN-Friedensoperationen in Afrika. Weltinnenpolitik und die Realität von Bürgerkriegen, Bonn 2003.

*Delbrück, Hans.* Weltgeschichte. Vorlesungen, gehalten an der Universität Berlin 1896/1920, в 2 томах, Berlin 1923.

– Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, в 4 томах, Berlin / New York 2000.

*Deleuze, Gilles / Guattari, Felix.* Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, Berlin 1997.

*Diner, Dan.* Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung, München 1999.

*Dietze, Anita und Walter (Hg.),* Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800, München 1989.

*Dülffer, Jost.* Regeln gegen den Krieg? Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 in der internationalen Politik, Berlin u. a. 1981.

*Dünne, Jörg / Günzel, Stephan* (Hg.), Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main 2006.

*Eblert, Hans / Epkenbans, Michael / Groß, Gerbard P.* (Hg.), Der Schlieffenplan. Analysen und Dokumente, Paderborn u. a. 2006.

*Eifler, Günter* (Hg.), Ritterliches Tugendsystem, Darmstadt 1970.

*Eksteins, Modris.* Tanz über Gräben. Die Geburt der Moderne und der Erste Weltkrieg, Reinbek bei Hamburg 1990.

*Eliade, Mircea.* Kosmos und Geschichte. Der Mythos der ewigen Wiederkehr, Reinbek bei Hamburg 1966.

– Mythos und Wirklichkeit, Frankfurt am Main 1988.

*Engelstein, Laura.* «Verhaltensweisen des Krieges in der Russischen Revolution. Zur moralischen Ökonomie der Gewalt» // *Geyer, Letben, Musner* (Hg.), Zeitalter der Gewalt. C. 149–176.

*Figes, Orlando.* Nataschas Tanz. Eine Kulturgeschichte Russlands, Berlin 2003.

– Krimkrieg. Der letzte Kreuzzug, Berlin 2011.

*Ferguson, Niall.* Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert, Stuttgart 1999.

*Fischer, Fritz.* Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Königstein im Taunus 2 1979.

*Flasch, Kurt.* Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg, Berlin 2000.

*Fleckenstein, Josef.* Rittertum und ritterliche Welt, Berlin 2002.

*Förster, Stig, u. a.* (Hg.), Rückkehr der Condottieri? Krieg und Militär zwischen staatlichem Monopol und Privatisierung: Von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn 2010 (= Krieg in der Geschichte. Bd. 57).

*François, Étienne, u. a.* (Hg.), Geschichtspolitik in Europa seit 1989, Göttingen 2013.

*Frieser, Karl-Heinz.* Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, München 1995.

– «Die deutschen Blitzkriege — operativer Triumph, strategische Tragödie» // *Rolf-Dieter Müller, Hans-Erich Volkmann* (Hg.), Die Wehrmacht. Mythos und Realität, München 1999. C. 182–196.

*Freud, Sigmund.* Kulturtheoretische Schriften, Frankfurt am Main 1974.



*Freund, Michael.* Georges Sorel. Der revolutionäre Konservatismus [1932], Frankfurt am Main 1972.

*Frevert, Ute.* Die kasernierte Nation. Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland, München 2001.

*Friedrich, Jörg.* 14/18. Der Weg nach Versailles, Berlin 2014.

*Fromkin, David.* Europe's Last Summer. Who Started the Great War in 1914?, New York 2004.

*Gantzel, Klaus-Jürgen.* «Neue Kriege? Neue Kämpfer?»; Arbeitspapier 2/2002 der Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung der Universität Hamburg.

*Gay, Peter.* Kult der Gewalt. Aggression im bürgerlichen Zeitalter, München 1996.

*Glaab, Sonja* (Hg.), Medien und Terrorismus — Auf den Spuren einer symbiotischen Beziehung, Berlin 2007.

*Glaser, Hermann.* Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, в 3 томах, München / Wien 1985–1989.

*Gellner, Ernest.* Nationalismus und Moderne, Hamburg 1995.

*Geppert, Dominik.* Ein Europa, das es nicht gibt. Die fatale Sprengkraft des Euro, Berlin 2013.

*Geyer, Michael.* «Von der Lust am Leben zur Arbeit am Tod: Zum Ort des Ersten Weltkriegs in der europäischen Geschichte» // *он же / Letben / Musner* (Hg.), Zeitalter der Gewalt. С. 11–38.

– *Letben, Helmut / Musner, Lutz* (Hg.), Zeitalter der Gewalt. Zur Geopolitik und Psychopolitik des Ersten Weltkriegs, Frankfurt am Main / New York 2015.

*Girard, René.* Das Heilige und die Gewalt, Frankfurt am Main 1992.

– Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kritische Apologie des Christentums, München 2002.

– Die verkannte Stimme des Realen. Eine Theorie archaischer und moderner Mythen, München 2005.

*Grewe, Wilhelm.* Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden 1984.

*Greenwald, Glenn.* Die globale Überwachung. Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen, München 2014.

*Gros, Frédéric.* Die Politisierung der Sicherheit. Vom inneren Frieden zur äußeren Bedrohung, Berlin 2015.

*Grotzky, Johannes.* Balkankrieg. Der Zerfall Jugoslawiens und die Folgen für Europa, München 1993.

*Günzel, Stephan* (Hg.), Raumwissenschaften, Frankfurt am Main 2009. Haager Landkriegsordnung. Textausgabe mit einer Einführung von Prof. Dr. Rudolf Laun, Wolfenbüttel u. a. 1947.

*von Hagen, Mark.* War in a European Borderland. Occupations and Occupation Plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918, Seattle 2007.

*Hahlweg, Werner.* Guerilla — Krieg ohne Fronten, Stuttgart u. a. 1968.

*Hammer, Karl.* Deutsche Kriegstheologie. 1870–1918, München 1974.

*Hankel, Gerd* (Hg.), Die Macht und das Recht. Beiträge zum Völkerrecht und Völkerstrafrecht am Beginn des 21. Jahrhunderts, Hamburg 2008.

*Hardach, Gerd.* Der Erste Weltkrieg 1914–1918, München 1973 (= Geschichte der Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert, *издано* Wolfram Fischer. Bd. 2).

*Hardin, Garrett.* «The Tragedy of the Commons» // Science, № 162, 1968. С. 1243–1248.

*Hausteiner, Eva Marlene.* Greater than Rome. Neubestimmungen britischer Imperialität 1870–1914, Frankfurt / New York 2015.

*Heckel, Martin.* Deutschland im konfessionellen Zeitalter, Göttingen 22001 (= Deutsche Geschichte, *издано* Joachim Leuschner. Bd. 5).

*Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.* Phänomenologie des Geistes, *издано* Johannes Hoffmeister, Hamburg 1952.

– Grundlinien der Philosophie des Rechts. Mit Hegels eigenhändigen Randbemerkungen in seinem Handexemplar der Rechtsphilosophie *издано* Johannes Hoffmeister, Hamburg 1955.

*Heidenreich, Elisabeth.* Sakrale Geographie. Essays über den modernen Dschihad und seine Räume, Bielefeld 2010.

*Heilbrunn, Otto.* Die Partisanen in der modernen Kriegführung, Frankfurt am Main 1963.

*Heinrich-Böll-Stiftung* (Hg.), High-Tech-Kriege. Frieden und Sicherheit in Zeiten von Drohnen, Kampfrobotern und digitaler Kriegführung, Berlin 2013.

*Heinsobn, Gunnar.* Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, Zürich 2008.

*Heupel, Monika / Zangl, Bernhard.* «Von „alten“ und „neuen“ Kriegen — Zum Gestaltwandel kriegerischer Gewalt» // Politische Vierteljahresschrift, 45. 2004 год, вып. 3. С. 346–369.

*Heuser, Beatrice.* Den Krieg denken. Die Entwicklung der Strategie seit der Antike, Paderborn u. a. 2010.

*Hildebrand, Klaus.* «Das deutsche Ostimperium 1918. Betrachtungen über eine historische „Augenblickserscheinung“» // Wolfgang Pyta, Ludwig Richter (Hg.), Gestaltungskraft des Politischen. Festschrift für Eberhard Kolb, Berlin 1998. С. 109–124.

*Hildermeier, Manfred.* Geschichte Russlands. Vom Mittelalter bis zur Oktoberrevolution, München 2013.

*Hillgruber, Andreas.* Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940–1941, München 21982.

*Hobsbawm, Eric.* Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, Frankfurt / New York 1991.

*Hofbauer, Hannes.* Balkankrieg. Zehn Jahre Zerstörung Jugoslawiens, Wien 2001.

*Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W.* Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente [1944], Frankfurt am Main 1969.

*Horne, John / Kramer, Alan.* Deutsche Kriegsgreuel 1914. Die umstrittene Wahrheit, Hamburg 2004.

*Hubnholz, Sebastian.* Dschihadistische Raumpraxis. Raumordnungspolitische Herausforderungen des militanten sunnitischen Fundamentalismus, Berlin 2010.

*Hüppauf, Bernd.* «Schlachtenmythen und die Konstruktion des „Neuen Menschen“» // «Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch...» Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs, издано Gerhard Hirschfeld und Gerd Krumeich, Essen 1993. С. 53–103.

*Ignatieff, Michael.* Die Zivilisierung des Krieges. Ethnische Konflikte, Menschenrechte, Medien, Hamburg 2000.

*Jacobsen, Hans-Adolf.* Karl Haushofer. Leben und Werk, в 2 томах, Boppard am Rhein 1979.

*Jäger, Thomas / Gerbard Kümmel (Hg.),* Private Military and Security Companies. Chances, Problems, Pitfalls and Prospects, Wiesbaden 2007.

*Jäger, Wolfgang.* Historische Forschung und politische Kultur in Deutschland. Die Debatte 1914–1980 über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, Göttingen 1984.

*Janowitz, Morris.* The Professional Soldier. A Social and Political Portrait, New York 1966.

*Jaubert, Alain.* Le Commissariat aux Archives. Les photos qui falsifient l'histoire, Paris 1986.

*Jessen, Olaf.* Verdun 1916. Urschlacht des Jahrhunderts, München 2014. *Joachim, Laurent.* Der Einsatz von «Private Military Companies» im modernen Konflikt. Ein Werkzeug für «neue Kriege»? , Berlin 2010.

*Jureit, Ulrike.* Das Ordnen von Räumen. Territorium und Lebensraum im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburg 2012.

*Kaesler, Dirk.* Max Weber. Eine Biographie, München 2014.

*Kagan, Donald.* Perikles. Die Geburt der Demokratie, Stuttgart 1992.

*Kabl, Martin / Teusch, Ulrich.* «Sind die "neuen Kriege" wirklich neu?» // *Leviathan*, 32. 2004 год, вып. 3. С. 382–401.

*Kaldor, Mary.* Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt am Main 2000.

*Kant, Immanuel.* Werke in zehn Bänden, издано Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1969 u. ö.

*Kapp, Ernst.* Vergleichende Allgemeine Erdkunde, Braunschweig 1845.

*Kappeler, Andreas.* «Vom Kosakenlager zum Euromaidan. Ukrainische Widerstandstraditionen» // *Raabe / Sapper* (Hg.), Testfall Ukraine. С. 33–45.

*Keegan, John.* Die Schlacht. Azincourt 1415, Waterloo 1815, Somme 1916, München 1981.

– Die Kultur des Krieges, Berlin 1995.

– Der Erste Weltkrieg, Reinbek bei Hamburg 2000.

– Der Zweite Weltkrieg, Berlin 2004.

– Der Amerikanische Bürgerkrieg, Berlin 2010.

– Die Maske des Feldherrn. Alexander der Große, Wellington, Grant, Hitler, Reinbek bei Hamburg 2000.

*Kennan, George.* Bismarcks europäisches System in der Auflösung. Die französisch-russische Annäherung 1875–1890, Frankfurt am Main 1981.

*Kennedy, Paul M.* «Mahan versus Mackinder. The Interpretations of British Sea Power» // Militärgeschichtliche Mitteilungen. Bd. 16, 1974, вып. 2. С. 39–66.

– Aufstieg und Verfall der britischen Seemacht, Bonn 1978.

– Aufstieg und Fall der großen Mächte. Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt von 1500 bis 2000, Frankfurt am Main 1998.

*Kesting, Hanno.* Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg, Heidelberg 1959. *Kielmannsegg, Peter Graf.* Deutschland und der Erste Weltkrieg (1968), Stuttgart 21980.

*Kirchmeyer, Helmut.* Strawinskys russische Ballette. Der Feuer- vogel, Petruschka, Le Sacre du printemps, Stuttgart 1974.

*Kießling, Friedrich.* Gegen den "großen Krieg"? Entspannung in den internationalen Beziehungen 1911–1914, München 2002.

– «Vergesst die Schulddebatte! Die Forschung zum Ersten Weltkrieg überwindet liebgewordene Denkblockaden» // Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, 23. 2014 год, вып. 4. С. 4–15.

*Kittsteiner, Heinz Dieter* (Hg.), Geschichtszeichen, Köln 1999.

– Die Stabilisierungsmoderne. Deutschland und Europa 1618–1715, München 2010.

*Kleinschmidt, Harald.* «Wie neu sind die "Neuen Kriege"?» — Kriegsdanken im langen 20. Jahrhundert // Politisches Denken. Jahrbuch 2014. С. 155–182.

*Knesebeck, Philipp von dem.* Soldaten, Guerilleros, Terroristen — Die Lehre des gerechten Krieges im Zeitalter asymmetrischer Konflikte, Wiesbaden 2014.

*Knöbl, Wolfgang.* «Krieg, "neue Kriege" und Terror: Sozialwissenschaftliche Analysen und Deutungen» // Soziologische Revue, 27. 2004 год. С. 186–200.

*Koenen, Gerd.* Der Russland-Komplex. Die Deutschen und der Osten. 1900–1945, München 2005.

*Kojève, Alexandre.* Hegel. Eine Vergegenwärtigung seines Denkens, издано Iring Fetscher, Frankfurt am Main 1975.

*Kolko, Gabriel.* Das Jahrhundert der Kriege, Frankfurt am Main 1999.

*Kortüm, Hans-Henning.* Azincourt 1415. Militärische Delegitimierung als Mittel sozialer Disziplinierung // Horst Carl u. a. (Hg.), Kriegsniederlagen. С. 89–106.

*Koselleck, Reinhart.* Vergangene Zukunft, Frankfurt am Main 21984.

– *Jeismann, Michael* (Hg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne, München 1994.

*Kraus, Hans-Christof.* Neues zur Urkatastrophe. Aktuelle Veröffentlichungen zum Ersten Weltkrieg // Geschichte für heute. Zeitschrift für historisch-politische Bildung, 7. 2014 год, вып. 4. С. 42–55.

*Krause, Skadi.* «“Gerechte Kriege”, ungerechte Feinde — Die Theorie des gerechten Krieges und ihre moralischen Implikationen» // *Herfried Münkler / Karsten Malowitz* (Hg.), Humanitäre Intervention. Ein Instrument außenpolitischer Konfliktbearbeitung. Grundlagen und Diskussion, Wiesbaden 2008. С. 113–142.

*Kreis, Georg* (Hg.), Der «gerechte Krieg». Zur Geschichte einer aktuellen Denkfigur, Basel 2006.

*Kretblow, Carl Alexander.* Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz Pascha. Eine Biographie, Paderborn u. a. 2012.

*Krisbnan, Armin.* Gezielte Tötung. Die Zukunft des Krieges, Berlin 2012.

*Krüger, Peter.* «Der Erste Weltkrieg als Epochenschwelle» // *Hans Maier* (Hg.), «Wege in die Gewalt. Die modernen politischen Religionen». Frankfurt am Main 2000. С. 70–91.

*Kuch, Hannes.* Herr und Knecht. Anerkennung und symbolische Macht im Anschluss an Hegel, Frankfurt am Main / New York 2013.

*Kunisch, Johannes.* «Von der gezähmten zur entfesselten Bellona. Die Umwertung des Krieges im Zeitalter der Revolutions- und Freiheitskriege» // он же, Fürst — Gesellschaft — Krieg. Studien zur bellizistischen Disposition des absoluten Fürstenstaates, Köln u. a. 1992. С. 203–226.

*Kurtenbach, Sabine / Lock, Peter* (Hg.), Kriege als (Über) Lebenswelten. Schattenglobalisierung, Kriegsökonomien und Inseln der Zivilität, Bonn 2004.

*Lacoste, Yves.* Geographie und politisches Handeln. Perspektiven einer neuen Geopolitik, Berlin 1990.

*Langewiesche, Dieter.* «Wie neu sind die Neuen Kriege?» // *Schild, Georg / Schindling, Anton* (Hg.), Kriegserfahrungen, Paderborn u. a. 2009 (= Krieg in der Geschichte. Bd. 55). С. 289–302.

*Laqueur, Walter.* Putinismus. Wohin treibt Russland? Berlin 2015.

*Lebmann, Gustav Adolf.* Perikles. Staatsmann und Strategie im klassischen Athen. Eine Biographie, München 2008.

*Lock, Peter.* «Ökonomien des Krieges» // *Astrid Sabm u. a.* (Hg.), Die Zukunft des Friedens. Eine Bilanz der Friedens- und Konfliktforschung, Wiesbaden 2002. С. 269–286.

*Löffelholz, Martin u. a.* (Hg.), Kriegs- und Krisenberichterstattung. Ein Handbuch, Konstanz 2008.

*Lüders, Michael.* Wer den Wind sät. Was westliche Politik im Orient anrichtet, München 2015.

*Lundgreen, Peter.* «Bildung und Bürgertum» // *Lundgreen, Peter* (Hg.), Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums. Eine Bilanz des Bielefelder Sonderforschungsbereichs, Göttingen 2000. С. 173–194.

*Maban, Alfred Thayer.* Der Einfluß der Seemacht auf die Geschichte 1660–1812, переработано и издано Gustav-Adolf Wolter, Herford 1967.

*Malcolm, Noel.* Geschichte Bosniens, Frankfurt am Main 1996.

*Mann, Michael.* Geschichte der Macht. Bd. 1: Von den Anfängen bis zur griechischen Geschichte, Frankfurt am Main / New York 1990.

*Mann, Thomas.* Essays. Т. 1: Frühlingsturm. 1893–1918, Frankfurt am Main 1993.

*Mattioli, Aram.* Experimentierfeld der Gewalt. Der Abessinienkrieg und seine internationale Bedeutung 1935–1941, Zürich 2005.

*Matuz, Josef.* Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, Darmstadt 1985.

*Mauss, Marcel.* Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt am Main 1968.

*Mayer, Arno J.* Der Krieg als Kreuzzug. Das Deutsche Reich, Hitlers Wehrmacht und die "Endlösung", Reinbek bei Hamburg 1979.

*Mazzetti, Mark.* Killing Business. Der geheime Krieg der CIA, Berlin 2013.

*McMeekin, Sean.* Juli 1914. Der Countdown in den Krieg, Berlin 2014.

– Russlands Weg in den Krieg. Der Erste Weltkrieg. Ursprung der Jahrhundertkatastrophe, Berlin 2014.

*Mearsbeimer, John.* The Tragedy of Great Power Politics, New York / London 2001.

*Meier, Victor.* Wie Jugoslawien verspielt wurde, München 1995.

*Meister, Klaus.* Thukydides als Vorbild der Historiker. Von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn 2013.

*Menzel, Ulrich.* Die Ordnung der Welt. Imperium oder Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt, Berlin 2015.

– Paradoxien der neuen Weltordnung, Frankfurt am Main 2004.

*Mayer, Theodor.* «Die Ausbildung der Grundlagen des modernen deutschen Staates im Hohen Mittelalter» // *H. Kämpf* (Hg.), Herrschaft und Staat im Mittelalter, Darmstadt 1963. С. 284–331.

*Meyer, Eduard / Ebbrecht, Victor.* Ein Briefwechsel 1914–1930, Stuttgart 1990.

*Mitrokhin, Nikolay.* Infiltration, Instruktion, Invasion. Russlands Krieg in der Ukraine // *Osteuropa*, 64, 2014 год, вып. 8. С. 3–16.

*Mobler, Armin.* Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch, Darmstadt 1989.

*Mommsen, Wolfgang.* Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920, Tübingen 1974.

*Mønnesland, Svein.* Land ohne Wiederkehr. Ex-Jugoslawien: Die Wurzeln des Krieges, Klagenfurt 1997.

*Morris, Ian.* Krieg. Wozu er gut ist, Frankfurt am Main / New York 2013. *Mosse, George L.*: Gefallen für das Vaterland. Nationales Heldentum und namenloses Sterben, Stuttgart 1993.

*Müller, Rolf-Dieter / Ueberschär, Gerd R.* Hitlers Krieg im Osten 1941–1945. Ein Forschungsbericht, Darmstadt 2000.

– Der Bombenkrieg 1939–1945, Berlin 2004.

– Der letzte deutsche Krieg. 1939–1945, Stuttgart 2005.

– Der Zweite Weltkrieg, Darmstadt 2015.

*Münkler, Herfried.* «Carl von Clausewitz» // *Pipers Handbuch der politischen Theorien*, *издано Iring Fetscher und Herfried Münkler.* Bd. 4, München 1986. С. 92–103.

– Odysseus und Cassandra. Politik im Mythos, Frankfurt am Main 1991.

– «Ist Krieg abschaffbar? — Ein Blick auf die Herausforderungen und Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts» // *Bernd Wegner* (Hg.), *Wie*



Krieg enden. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn u. a. 2000. С. 347–375.

- Die neuen Kriege, Reinbek bei Hamburg 2002.
- Über den Krieg. Stationen der Kriegsgeschichte im Spiegel ihrer theoretischen Reflexion, Weilerswist 2002.
- Der neue Golfkrieg, Reinbek bei Hamburg 2003.
- «Die Privatisierung des Krieges. Warlords, Terrornetzwerke und die Reaktion des Westens» // *Zeitschrift für Politikwissenschaft*, 13. 2003 год, вып. 1. С. 7–22.
- «Ältere und jüngere Formen des Terrorismus. Strategie und Organisationsstruktur» // *Werner Weidenfeld* (Hg.), Herausforderung Terrorismus. Die Zukunft der Sicherheit, Wiesbaden 2004. С. 29–43.
- Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Berlin 2005.
- Der Wandel des Krieges, Weilerswist 2006.
- Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2009.
- Mitte und Maß. Der Kampf um die richtige Ordnung, Berlin 2010.
- «Sicherheit und Freiheit. Eine irreführende Oppositionssemantik der politischen Sprache» // *Herfried Münkler / Matthias Boblender / Sabine Meurer* (Hg.), Handeln unter Risiko, Bielefeld 2010. С. 13–32.
- *Felix Wassermann*. Von strategischer Vulnerabilität zu strategischer Resilienz. Die Herausforderung zukünftiger Sicherheitsforschung und Sicherheitspolitik // *Lars Gerbold / Jochen Schiller* (Hg.), Perspektiven der Sicherheitsforschung, Frankfurt am Main u. a. 2012. С. 77–95.
- Der Große Krieg. Die Welt von 1914–1918, Berlin 2013.
- «Die Tugend, der Markt, das Fest und der Krieg. Über die problematische Wiederkehr vormoderner Gemeinsinnerwartungen in der Postmoderne» // *Demokratie und Transzendenz. Die Begründung demokratischer Ordnungen*, изданю Hans Vorländer, Bielefeld 2013. С. 295–329.
- «Die Antike im Krieg» // *Zeitschrift für Ideengeschichte*. Bd. VIII, 2014, вып. 2. С. 55–70.
- «Clausewitz im Ersten Weltkrieg» // *Samuel Salzborn / Holger Zapf* (Hg.): Krieg und Frieden, Frankfurt am Main u. a. 2015. С. 59–86.

– Macht in der Mitte. Die neuen Aufgaben Deutschlands in Europa, Hamburg 2015.

*Napoleoni, Loretta.* Die Rückkehr des Kalifats. Der Islamische Staat und die Neuordnung des Nahen Ostens, Zürich 2015.

*Neitzel, Sönke.* Kriegsausbruch. Deutschlands Weg in die Katastrophe. 1900–1914, München 2002.

*Nipperdey, Thomas.* Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1987.

– Deutsche Geschichte 1866–1918. T. 1: Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990; T. 2: Machtstaat vor der Demokratie, München 1992.

*Nissen, Astrid / Radtke, Katrin.* Warlords als neue Akteure der internationalen Beziehungen // Ulrich Albrecht u. a. (Hg.), Das Kosovo-Dilemma. Schwache Staaten und Neue Kriege als Herausforderung des 21. Jahrhunderts, Münster 2002. C. 141–155.

*Nordhausen, Frank / Schmid, Thomas* (Hg.), Die arabische Revolution. Demokratischer Aufbruch von Tunesien bis zum Golf, Berlin 2011.

*Nöring, Hermann, u. a.* (Hg.), Bilderschlachten. 2000 Jahre Nachrichten aus dem Krieg. Technik – Medien – Kunst, Göttingen 2009.

*Ó Tuathail, Gearóid.* «Rahmenbedingungen der Geopolitik in der Postmoderne: Globalisierung, Informationalisierung und die globale Risikogesellschaft» // *Zeilinger u. a.* (Hg.), Geopolitik. C. 120–142.

*Overy, Richard.* Russlands Krieg 1941–1945, Reinbek bei Hamburg 2003.

– Der Bombenkrieg. Europa 1939–1945, Berlin 2014.

*Pankratz, Thomas.* «Bündnis- und Außenpolitik der Großmächte und die Rolle der UNO in der Zeit des Kalten Krieges» // *Zeilinger u. a.* (Hg.), Geopolitik. C. 93–119.

*Parker, Geoffrey.* Die militärische Revolution. Die Kriegskunst und der Aufstieg des Westens 1500–1800, Frankfurt am Main / New York 1990.

*Paul, Gerhard.* Bilder des Krieges, Krieg der Bilder. Die Visualisierung des modernen Krieges, Paderborn u. a. 2004.

– Der Bilderkrieg. Inszenierungen, Bilder und Perspektiven der “Operation irakische Freiheit”, Göttingen 2005.

*Pepper, Simon / Adams, Nicholas.* Firearms and Fortifications. Military Architecture and Siege Warfare in Sixteenth-Century Siena, Chicago / London 1986.

*Pinker, Steven.* Gewalt. Eine neue Geschichte der Menschheit, Frankfurt am Main 2011.

*Pittwald, Michael.* Kindersoldaten, neue Kriege und Gewaltmärkte, Osnabrück 2004.

*Polk, William.* Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft. Vom Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Irak, Hamburg 2009.

*Posener, Alan.* Imperium der Zukunft. Warum Europa Weltmacht werden muss, München 2007.

*Prusin, Alexander Victor.* Nationalizing a Borderland. War, Ethnicity, and Violence in East Galicia, 1914–1920, Tuscaloosa 2005.

*Quaritsch, Helmut.* Staat und Souveränität. Bd. 1: Die Grundlagen, Frankfurt am Main 1970.

*Raabe, Katbarina / Sapper, Manfred* (Hg.), Testfall Ukraine. Europa und seine Werte, Berlin 2015.

*Rauchensteiner, Manfred.* Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg, Graz 1994.

*Reynold, Michael R.* Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires 1908–1918, Cambridge 2011.

*Rid, Thomas.* Cyber War Will Not Take Place, London 2013.

*Rieff, David.* Schlachthaus. Bosnien und das Versagen des Westens, München 1995.

*Ringer, Fritz.* Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890–1933, Stuttgart 1983.

*Ritter, Joacim.* «Hegel und die französische Revolution» // Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel, Frankfurt am Main 1969.

*Rjabtschuk, Mykola.* Die reale und die imaginierte Ukraine, Berlin 2013.

*Roberts, Michael.* «The Military Revolution, 1560–1660» // *Rogers* (Hg.), The Military Revolution Debate. C. 13–35.

*Rogers, Clifford J.* (Hg.), The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe, Boulder u. a. 1995.

*Rose, Andreas.* Zwischen Empire und Kontinent. Britische Außenpolitik vor dem Ersten Weltkrieg, München 2011.

*Rotber, Rainer / Prokasky, Judith* (Hg.), Die Kamera als Waffe. Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges, München 2010.

*Ruf, Werner* (Hg.), Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und die Privatisierung von Gewalt und Krieg, Opladen 2003.

*Rüb, Matthias.* Balkan Transit. Das Erbe Jugoslawiens, Wien 1998.

*Ryffel, Heinrich.* Metabolē politeiōn. Der Wandel der Staatsverfassungen, Bern 1949.

*Said, Bebnam T.* Islamischer Staat. IS-Miliz, al-Qaida und die deutschen Brigaden, München 2014.

*Salewski, Michael.* Deutschland und der Zweite Weltkrieg, Paderborn u. a. 2005.

*Sallust.* Werke, lateinisch und deutsch von Werner Eisenhut und Josef Lindauer, München / Zürich 1985.

*Sapper, Manfred / Weichsel, Volker* (Hg.), Gefährliche Unschärfe. Russland, die Ukraine und der Krieg im Donbass, Osteuropa, вып. 9/10, 2014.

*Scabill, Jeremy.* Schmutzige Kriege. Amerikas geheime Kommandoaktionen, München 2013.

*Schadewaldt, Wolfgang.* Die Anfänge der Geschichtsschreibung bei den Griechen. Herodot. Thukydides, Frankfurt am Main 1982 (= Tübinger Vorlesungen. Bd. 2).

*Scheer, Tamara.* «Lebenskonzepte, politische Nationenbildung, Identitäten und Loyalitäten in Österreich-Ungarn und Bosnien-Herzegowina» // *Geyer / Lethen / Musner* (Hg.), Zeitalter der Gewalt. С. 177–198.

*Scherliess, Volker.* Igor Strawinsky. Le Sacre du printemps, München 1982. Schiller, Friedrich: Werke, издано Ludwig Beller-mann. Bd. 4: Wallenstein, Leipzig / Wien o. J. (= Meyers Klassiker-Ausgaben).

– Sämtliche Werke. Aufgrund der Originaldrucke herausgegeben von Gerhard Fricke und Herbert G. Göpfert in Verbindung mit Herbert Stubenrauch. Bd. 2, München 31962.

*Schirra, Bruno.* Isis. Der globale Dschihad, Berlin 2015.

*Schivelbusch, Wolfgang.* Die Kultur der Niederlage. Der amerikanische Süden 1865, Frankreich 1871, Deutschland 1918, Berlin 2001.

*Schlögel, Karl.* «Lob der Krise. Die Ukraine und die Sprachlosigkeit der Historiker» // *Raabe / Sapper* (Hg.), Testfall Ukraine. С. 165–175.

*Schmid, Ulrich.* UA — Ukraine zwischen Ost und West, Zürich 2015 (Schriftenreihe der Vontobel-Stiftung).

*Schmidt, Hans.* «Staat und Armee im Zeitalter des "miles perpetuus"» // Johannes Kunisch (издано в сотрудничестве с Barbara Stollberg-Rilinger), Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit, Berlin 1986. С. 213–248.

*Schmitt, Carl.* Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Ius Publicum Europaeum, Köln 1950.

– Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Berlin 1963.

– Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Köln 1981.

– Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 1985.

*Schnur, Roman.* Revolution und Weltbürgerkrieg. Studien zur Ouvertüre nach 1789, Berlin 1983.

*Schöning, Matthias.* Versprengte Gemeinschaft. Kriegsroman und intellektuelle Mobilmachung in Deutschland 1914–33, Göttingen 2009.

*Schormann, Gerbard.* Der Dreißigjährige Krieg, Göttingen 32004.

*Schorske, Carl.* Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de Siècle, Frankfurt am Main 1982.

*Schreiber, Wolfgang.* «Die Kriege in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und danach» // *Thomas Rabehl / Wolfgang Schreiber* (Hg.), Das Kriegsgeschehen 2000, Opladen 2001. С. 11–46.

*Schröder, Stephen.* Die englisch-russische Marinekonvention. Das Deutsche Reich und die Flottenverhandlungen der Tripleentente am Vorabend des Ersten Weltkriegs, Göttingen 2006.

*Schwabe, Klaus.* Wissenschaft und Kriegsmoral. Die deutschen Hochschullehrer und die politischen Grundfragen des Ersten Weltkriegs, Göttingen u. a. 1969.

*Schwartz, Eduard.* Das Geschichtswerk des Thukydides, Bonn 1919.

*Seidensticker, Bernd.* «Ich bin Odysseus». Zur Entstehung der Individualität bei den Griechen // Berichte und Abhandlungen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 8, Berlin 2000. С. 163–184.

*Siegelberg, Jens.* Kapitalismus und Krieg. Eine Theorie des Krieges in der Weltgesellschaft, Münster / Hamburg 1994.

*Singer, Peter W.* Die Kriegs-AGs. Über den Aufstieg der privaten Militärfirmen, Frankfurt am Main 2006.

*Sloterdijk, Peter.* Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Frankfurt am Main 2006.

*Snyder, Timothy.* Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin, München 2011.

*Sombart, Werner.* Der moderne Kapitalismus, в 3 томах в 6 частях, Leipzig 1902–1926.

– Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen, München / Leipzig 1913.

– Händler und Helden. Patriotische Besinnungen, München / Leipzig 1915. Sorel, Georges: Les Illusions du progrès, Paris 1908.

– Über die Gewalt. Mit einem Nachwort von George Lichtheim, Frankfurt am Main 1981.

*Sösemann, Bernd.* «Die sog. Hunnenrede Wilhelms II. Textkritische und interpretatorische Bemerkungen zur Ansprache des Kaisers am 27. Juli 1900 in Bremerhaven» // Historische Zeitschrift. Bd. 222, 1976. С. 342–358.

*Spencer, Herbert.* Die Principien der Sociologie, в 2 томах, Stuttgart 1887.

*Sprengel, Rainer.* Kritik der Geopolitik. Ein deutscher Diskurs 1914–1944, Berlin 1996.

*Steinberg, Guido.* Kalifat des Schreckens. IS und die Bedrohung durch den islamistischen Terror, München 2015.

*Sternbell, Zeev / Sznajder, Mario / Asberi, Maia.* Die Entstehung der faschistischen Ideologie. Von Sorel zu Mussolini, Hamburg 1999.

*Stevenson, David.* 1914–1918. Der Erste Weltkrieg, Düsseldorf 2006.

*Stone, Norman.* Army and Society in the Habsburg Monarchy, 1900–1914 // Past and Present, № 33, 1966. С. 95–111.

*Stracban, Hew.* «Kontinentales Kernland und maritime Küstenzonen: Zur Geopolitik des Ersten Weltkriegs» // Geyer / Leithen / Musner (Hg.), Zeitalter der Gewalt. С. 67–92.

*Strübel, Michael* (Hg.), Film und Krieg. Die Inszenierung von Politik zwischen Apologetik und Apokalypse, Opladen 2002.

*Sunstein, Cass R.* Gesetze der Angst. Jenseits des Vorsorgeprinzips, Frankfurt am Main 2007.

*Tbukydides.* Der Peloponnesische Krieg. Übersetzt und herausgegeben von Helmuth Vretska und Werner Rinner, Stuttgart 2000.

*Tönnies, Ferdinand.* Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie [1887], Darmstadt 1991.

*Tooze, Adam.* Sintflut. Die Neuordnung der Welt 1916–1931, München 2015.

*Traverso, Enzo.* Im Bann der Gewalt. Der europäische Bürgerkrieg 1914–1945, München 2008.

*Trotba von, Trutz / Klute, Georg.* «Politik und Gewalt oder Beobachtungen und Anmerkungen über das "Kalaschsyndrom"» // Armin Nassebi / Markus Schroer (Hg.), Der Begriff des Politischen, Baden-Baden 2003. С. 491–517.

*Utesch, Philip.* Private Military Companies — die zukünftigen Peacekeeper / Peace Enforcer?, Baden-Baden 2014.

*Virilio, Paul.* Rasender Stillstand, München / Wien 1992.

– Krieg und Fernsehen, München / Wien 1993.

– Ereignislandschaft, München / Wien 1993.

– Fluchtgeschwindigkeit, München / Wien 1996.

– Information und Apokalypse, München u. a. 2000.

– Lotringer, Sylvère: Der reine Krieg, Berlin 1984.

*Voegelin, Eric.* Die Politischen Religionen, издано и дополнено послесловием Peter J. Opitz, München 1996.

*Vogel, Jakob.* Nationen im Gleichschritt. Der Kult der «Nation in Waffen» in Deutschland und Frankreich, 1871–1914, Göttingen 1997.

*Vogt, Ludgera.* Zur Logik der Ehre in der Gegenwartsgesellschaft. Differenzierung, Macht, Integration, Frankfurt am Main 1993.

*Völger, Gisela / von Welck, Karin* (Hg.), Männerbände, Männerbünde. Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich, в 2 томах, Köln 1990.

*Wagner, Thomas*. «Der Vormarsch der Robokraten. Silikon Valley und die Selbstabschaffung des Menschen» // Blätter für deutsche und internationale Politik, 60. Март 2015. С. 112–120.

*Waldmann, Peter*. Terrorismus. Provokation der Macht, München 1998.

*Waltber, Helmut G.* Imperiales Königtum, Konziliarismus und Volkssouveränität. Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Souveränitätsgedankens, München 1976.

*Walter, Dierk*. Organisierte Gewalt in der europäischen Expansion. Gestalt und Logik des Imperialkrieges, Hamburg 2014.

*Walter, Marco*. Nützliche Feindschaft? Existenzbedingungen demokratischer Imperien — Rom und USA, Paderborn 2015.

*Wassermann, Felix*. Asymmetrische Kriege. Eine politiktheoretische Untersuchung zur Kriegführung im 21. Jahrhundert, Frankfurt am Main / New York 2015.

*Weber, Max*. Der Sozialismus, Weinheim 1995.

– Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 2002.

*Weimann, Gabriel / Winn, Conrad*. The Theater of Terror. Mass Media and International Terrorism, New York / London 1994.

*Weiss, Stefani / Schmierer, Joscha* (Hg.), Prekäre Staatlichkeit und internationale Ordnung, Wiesbaden 2007.

*Werber, Niels*. Die Geopolitik der Literatur. Eine Vermessung der medialen Weltordnung, München 2007.

– Geopolitik zur Einführung, Hamburg 2014.

*Wette, Wolfram*. Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen Kultur, Frankfurt am Main 2008.

*Wildman, Alan K.* The End of the Russian Imperial Army, в 2 томах, Princeton 1980/1987.

*Yazuv, M. Hakan / Blumi, Isa* (Hg.), War and Nationalism. The Balkan Wars, 1912–1913, and Their Sociopolitical Implications, Salt Lake City 2013.

*Zamoyski, Adam*. 1812. Napoleons Feldzug in Russland, München 2012.



*Zaretsky, Eli.* Freuds Jahrhundert. Die Geschichte der Psychoanalyse, Wien 2006.

*Zeilinger, Reinhard, u. a. (Red.).* Geopolitik. Zur Ideologiekritik politischer Raumkonzepte, Wien 2001.

*Zielonka, Jan.* Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union, Oxford 2006.

*Zinser, Hartmut.* Religion und Krieg, Paderborn 2015.

*Zweig, Stefan.* Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, Stockholm 1944.

# Благодарности

Вот уже более десяти лет мою научную деятельность обуславливает стремление проникнуть в самую суть процессов, определяющих историю развития военных действий, и обосновать их с теоретической точки зрения. Все началось с книги «Новые войны» (*Die neuen Kriege*), примерный план которой был разработан еще до терактов 11 сентября 2001 года, а после этих событий получил совершенно новое развитие. По мере того как военная сила обретала независимость от государственной власти, в результате чего государства утратили свою монополию на войну, начинает формироваться новая, весьма примечательная, по крайней мере, для Европы форма терроризма, которая воспринимается не как призыв к революции, а как военные действия, происходящие на совершенно ином, подпространственном уровне. Ключевым понятием этих событий служит понятие «асимметрия».

В тот период я сотрудничал с Гуннаром Шмидтом из издательства *Rowohlt Berlin*, который горячо поддержал меня в моем интересе к вопросу трансформации войны, подробно обсудив со мной эту тему и тем самым подтолкнув меня к публикации моих размышлений. То же можно сказать и в отношении данной книги, в которой я пытаюсь увязать четкие ответы со множеством до сих пор открытых вопросов. Каким же четким становится наше понимание многих вещей при обращении к прошлому, и каким же размытым и смутным оно может оставаться в настоящем и будущем. И все же

это взаимосвязанные явления: ведь чем более неясным нам видится будущее, тем больше ответов на наши вопросы о будущем мы надеемся найти в прошлом. Но мы можем и ошибаться, и именно этому посвящена одна из глав этой книги, рассказывающая об уроках Первой мировой войны. Извлеченные уроки также могут оказаться неверными; но это не значит, что нужно отказываться от использования прошлого в качестве учебника, написанного для настоящего и будущего.

Гуннар Шмидт горячо поддержал меня, когда во время одной из наших встреч я рассказал ему о своей идее издать книгу, посвященную эволюции насилия в XX и XXI веке, и не отступил, когда стало понятно, что единого исторического повествования из этого не получится, а сама книга будет представлять собой более или менее точное описание обстоятельств возникновения военного насилия в период между Первой мировой войной и новейшими военными процессами, происходящими в настоящее время в Леванте и на востоке Украины. То, что акцент при этом ставился на первую половину XX века и переход от XX к XXI веку, было понятно на самой ранней стадии создания книги, а это значило, что развитие ядерной стратегии в этой книге никоим образом не рассматривалось. Такой подход вполне оправдан, ибо, на наше счастье, ядерная война пока остается лишь теоретической угрозой, за исключением разве что бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. В «Осколках войны» речь идет о реальных войнах, которые происходили или происходят в настоящее время, а не о тех, что могли бы случиться. Несколько глав посвящено трансформации европейских обществ в контексте их готовности к войне; здесь наряду с военно-технологическими инновациями и наращиванием стратегического потенциала самое значительное для эволюции насилия изменение произошло в прошлом веке: общества, прежде ориентированные на войну, превратились в общества, войну отвергающие и предпринимающие все усилия для ее предотвращения.

Из многих, кто, благодаря своим расспросам и интересу к означенной теме, способствовал более четкому изложе-

нию моих мыслей, упомяну лишь некоторых. В первую очередь выражаю свою благодарность всем тем, кто в 2014 году почтил меня честью быть приглашенным в качестве докладчика на тему Первой мировой войны, рассматриваемой в виде военной зарубки в истории Европы. В моей работе над книгой «Великая война» (*Der Große Krieg*) Герман Данузер, мой коллега-музыковед из Университета Гумбольдта, вдохновил меня на политический анализ балета Игоря Стравинского «Весна священная» (*Le sacre du printemps*), а значит, на более детальное рассмотрение темы жертвоприношения. Идея жертвоприношения красной нитью проходит сквозь некоторые главы этой книги, выходя на передний план в тех случаях, когда речь заходит о героических и постгероических обществах и об этике новых боевых систем. Сотрудничество с Германом Данузери является прекрасным примером интеллектуального обмена среди коллег, пусть даже в междисциплинарных структурах, поддерживаемых за счет спонсорских средств, такого не происходит.

Также моя благодарность предназначена моему коллеге, историку Манфреду Геттлингу, пригласившему меня в Галле на семинар для обсуждения вопросов возможной взаимосвязи между Первой мировой войной и закатом буржуазного мира, при участии местных коллег. Кроме того, я благодарен главному редактору журнала *Internationale Politik* Зильке Темпель, которая «уговорила» меня заняться исследованием трансформации типа воина и специфических форм его самообязательств. То же относится к Грегору Энсте, который пригласил меня на заседание Фонда Генриха Белля, посвященное обсуждению войн высоких технологий, и тем самым побудил меня к дальнейшей разработке моих соображений, представленных на этом заседании. Все три случая привели к появлению текстов, ставших определяющими для некоторых глав этой книги. Моя коллега политолог Анна Гайс изначально поддерживала защиту моей теории «новых» войн от скептических возражений; Лутц Хахмайстер дал мне повод задуматься о роли информационных образов, влияющих на

ход военных событий. Спасибо Манфреду Сапперу из журнала *Osteuropa*, который удержал меня от более детального рассмотрения украинской войны; Мартину Майеру из Цюриха, заставившего меня впервые задуматься об изменении политического пространства в XX и XXI веках.

Моими неизменными собеседниками были слушатели моего курса при университете Гумбольдта и, в частности, участники семинаров «Война и мир в истории политического мышления» и «Теория войны. Новые войны, гуманитарные интервенции, беспилотная война», с которыми я постоянно обсуждал множество тезисов; благодаря их замечаниям, вопросам и возражениям мне удалось придать моим тезисам большую обоснованность либо сделать их более четкими. Посылаю им мою сердечную благодарность. Они представляют собой замечательный пример того, какие результаты может давать университетский курс, проводимый за рамками классического обучения или дидактического материала.

Моя самая большая благодарность, конечно же, предназначена моему секретарю Карине Гофман, которая с большим терпением и аккуратностью разбирала мои рукописные записи, вносила дополнения и производила сокращения, и все это — ни свет ни заря, пока в университете не было ни души, и она могла спокойно заниматься моей рукописью. А затем я, садясь за свой рабочий стол и просматривая правку предыдущего дня, мог вносить необходимые изменения и исправления, чтобы потом вновь возвратиться к своей работе. Без обязательств и самодисциплины Карины Гофман я никогда бы не имел того научного веса, коим обладаю теперь. Она словно воплощает в себе ответы на «Вопросы читающего рабочего» Бертольда Брехта. Для меня очевидно, что изменение манеры написания научных трудов приведет к постепенному исчезновению этого типа университетских работников. И лишь потом мы сможем осознать, как много потеряет научная деятельность и общественные учреждения с их уходом.

# Содержание

*Введение: Эволюция насилия в XX и XXI веках* .....5

## ЧАСТЬ I

### **Великие войны XX века**

1. Лето 1914 года — веха мировой истории ..... 16
2. Эскалация насилия: от Июльского кризиса 1914 года до политики «распространения революционной заразы» ..... 23
3. Мифологизация жертвы и реальные смерти ..... 53
4. Первая мировая война и конец буржуазного мира ..... 77
5. Вторая мировая: война за мировой порядок ..... 103

## ЧАСТЬ II

### **Постгероическое общество и моральный облик воина**

6. Герои, победители, творцы мирового порядка (моральный образ воина и военное международное право в условиях симметричных и асимметричных войн) ..... 132
7. Героические и постгероические общества ..... 157
8. Новые боевые системы и этика войны ..... 174
9. Что же нового в «новых» войнах? ..... 192
10. Информационная война. Роль СМИ в асимметричных войнах ..... 211

## ЧАСТЬ III

### **Классическая геополитика, новые представления о пространстве и гибридные войны**

11. Плюсы и минусы геополитического мышления . . . . .	235
12. Украина и Левант: войны на периферии Европы и борьба за новый мировой порядок . . . . .	242
13. «Пространство» в XXI веке. Геополитические разломы и сдвиги. . . . .	276
14. Актуальность прошлого: попытка оценить события 2014 года через призму начала Первой мировой войны . . . . .	305
Примечания. . . . .	317
Библиография. . . . .	356
Благодарности . . . . .	377

**Герфрид Мюнклер**

**ОСКОЛКИ ВОЙНЫ**

**Эволюция насилия в XX и XXI веках**

*Редактор К. А. Залесский*

*Художественное оформление А. В. Сушковой*

*Компьютерная верстка В. В. Забковой*

*Корректоры Е. Ю. Жукова, Л. А. Куртова*

ООО «Кучково поле»

Москва, 119071, ул. Орджоникидзе, 10, оф. 420

Тел.: (495) 256 04 56, e-mail: [info@kpole.ru](mailto:info@kpole.ru)

[www.kpole.ru](http://www.kpole.ru)

Подписано в печать 4.06.2018.

Формат 125x200 мм.

Усл. печ. л. 20,16.

Тираж 1000 экз.

ISBN 978-5-9950-0891-0

Отпечатано в АО

«Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область,

г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: [www.chpd.ru](http://www.chpd.ru), E-mail: [sales@chpd.ru](mailto:sales@chpd.ru),

тел. 8(499)270-73-59

Заказ 4443



Герфрид Мюнклер, профессор берлинского Университета имени Гумбольдта, член Берлинско-Бранденбургской Академии наук — один из ведущих политологов Германии и Европы, специалист по геополитике и конфликтологии. В своей новой книге он дает ответ на вопрос: почему Европа и весь мир в начале XXI в. вновь оказались в плену страха перед мировой войной? В основе его исследования лежит тема трансформации войны во 2-й половине XX — начале XXI вв. Лишь отказавшись от уходящих в прошлое позиций бинарного мира, опираясь на новейшие исследования, считает автор, можно по-новому оценить процессы, происходящие в настоящее время в мировой политике. А их понимание, в свою очередь, позволяет, в том числе, проникнуть в суть возникающих между Россией и Европой противоречий и, как следствие, оценить возможность их преодоления и достижения мирного сосуществования.



9 785995 008910